

ДЕВЯТЬ ВОЗВРАЩЕНИЙ

МИХАИЛ КОРШУНОВ



МИХАИЛ
КОРШУНОВ



ДЕВЯТЬ
ВОЗВРАЩЕНИЙ





МИХАИЛ КОРШУНОВ

ДЕВЯТЬ
ВОЗВРАЩЕНИЙ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1971



Каждая книга — это разговор автора с читателем. И бывают разговоры простые, сложные, как часто бывает непростой и сложной жизнь. Михаил Коршунов как автор не избегает этих сложных разговоров с читателем, потому что только тогда наиболее активно и полно раскрываются характеры героев, выявляются их поступки, их стремления.

Основные книги писателя, вышедшие за последние годы для школьников, — «Когда замерзли дожди», «Две секунды света», «Антон прилетит завтра», «Школьная вселенная», «День веснушек».

Михаил Павлович Коршунов родился в 1924 году в городе Симферополе. Детство провел в Крыму и в Москве. Служил в Советской Армии. После демобилизации поступил в Литературный институт имени Горького и в 1951 году окончил его. Тогда и написал свою первую книгу.



ДЕВЯТЬ ВОЗВРАЩЕНИЙ

1

Лена и Юра разговаривали на перемене.

— Ты какой-то странный.

— Период искажений.

— Ольге Борисовне по алгебре не ответил. А скоро собрание об успеваемости.

— Благодарствуйте, преуспевайте! — Это он сказал уже зло и отвернулся.

Подскочила Лена-жирафчик. Есть в классе еще одна Лена. Похожа на жирафчика. Глаза удивленные, ласковые. Ее любят и немножко жалеют, потому что любят ее все и никто не любит так, чтобы один. Чтобы больше других.

— Ефремова! Вера Николаевна вызывает!

Неужели в отношении Юры?.. Узнала об алгебре... Журналом командует Лена, и журнал она никому еще не

показывала. Возможно, Ольга Борисовна сама сказала. Надоело шутить, уговаривать Юру.

— Она у себя в кабинете.

— Иду.

Лене хотелось, чтобы Жирафчик оставила ее с Юрой. Но Жирафчик не уходила.

— Юрка, мне сегодня всю ночь на черном фоне красные синусы снились...

— Конкретное мышление.

— Правда?

Лена-жирафчик заморгала своими добрыми глазами и улыбнулась доброй, беззащитной улыбкой. Как на Жирафчика сердиться? Невозможно.

Лена пошла к директору школы. А Лену кто-нибудь любит так, чтобы больше других? Может быть, она сама, как Жирафчик... Только обманывает себя. И с каждым днем все упорнее.

Вера Николаевна сидела на валике дивана сбоку письменного стола. Совсем не по-директорски. Постукивала тоненьким карандашиком о край зубов. На коленях держала схему по внешкольной работе, что-то подчеркивала в ней карандашиком.

— Садись.

Лена села рядом на диван.

— Что у вас в классе?

Сейчас начнет о Юре!..

— В классе? Ничего,— на всякий случай ответила Лена.

— До сих пор не получили приборы по термодинамике, просьбу Василия Тихоновича не выполняете. С малышами не работаете, кроме Вити. На него всё навалили. И потом, кто пойдет в банк? На кого оформлять счет?

— Сережа пойдет. Ваганов. А приборы получим. Обязательно. Честное слово!

Лена обрадовалась — разговор не о Юре.

Вера Николаевна взяла со стола счет, вписала в него Сережу Ваганова. Передала Лене.

— Печать у Любовь Егоровны. Не забудь поставить.

Лена кивнула. Ей не хотелось сейчас говорить о Юре так, как могла бы с ней говорить о Юре Вера Николаевна. Она одна, пожалуй. И не только потому, что директор школы, но и еще почему-то. Лена это чувствует.

Таисия Андреевна теперь часто задумывалась: что же все-таки произошло у нее в жизни?

Причина была в Григории Петровиче, Юрином отце. Только в нем. В его неустроенности и даже в умышленном, преднамеренном желании, чтобы всегда была эта неустроенность. Иначе как было объяснить его поступки?

Не могла же она с ребенком — маленьким и в ту пору болезненным — ездить за Григорием, жить в палатках, землянках. Стоять у керосинки или примуса, рубить дрова, топить печи. И не потому, что никогда этого не делала, а потому, что сама заболела. И как-то устала после болезни — тяжелой, затяжной.

А Григорий не изменил своего ритма, несмотря на ее болезнь. Так ей казалось. Во всяком случае тогда.

Может быть, она оправдывается этим? Свой уход от Григория оправдывает, для него внезапный? А может быть, искала места в жизни? Благоустроенности, устойчивости? А вообще любила она Григория или вышла замуж за него из-за упрямства, потому что его любила другая?..

Совершая в молодости неясный поступок, не понимаешь, что все неясное — не исчезнет, не забудется. Не станет со временем ясным, убедительным. И никогда не думала, что придется встретиться с Верой. Даже попасть в какую-то зависимость от нее.

Сын очень беспокоит. Был маленький — легче с ним было. Взяла и ушла. Он ничего не понимал. А потом начал подрастать. Начал добиваться ответов на вопросы, для нее самой сложные и необъяснимые. А тогда ей казалось, что она всегда сумеет что-то доказать, убедить. И не скоро это должно было быть, когда-то там, в будущем, когда он вырастет.

К сыну приходят ребята. Витя, Сережа, Боря, девочки. Ребята хорошие, приятные. Только вот когда приходит Лена Ефремова, Таисия Андреевна не любит.

Дружба между Леной и Юрой Таисии Андреевне совершенно не нравится. Лена Ефремова выросла почти без родных, с одним дедом. Чрезмерно независимо держит себя, слишком самостоятельна. А Юра легко поддается влиянию, настроению. Стал каким-то резким, насмешливым, замкнутым.

Часто уходит из дому в комнату к Григорию Петровичу на Суворовском проспекте. И что он там находит интересного, в запущенной холостяцкой комнате, в квартире, где торчит соседка, выжившая из ума старуха, и ее внучка. Григорий Петрович — он ведь почти не бывает в Москве.

Неизвестно, что сделает доброго или плохого для Юры Вера Николаевна. Юра находится под ее непосредственной властью: характеристики, аттестация и все прочее. Если будет происходить что-нибудь совсем неладное, Таисия Андреевна попросит Григория поговорить с Верой. Не идти же самой?..

Пробовала перевести Юру в другую школу, чтобы изолировать от всяких влияний и разговоров. Не захотел. Ни за что! Неужели причина в этой девочке?

Летом Юру надо будет отправить в какой-нибудь современный лагерь «Спутник», где много молодежи, или еще лучше с Иваном Никитовичем в туристскую поездку. Это разумный план. И в другую школу, обязательно. Тоже разумный план.

3

Юра сидит над журналом «Наука и жизнь». Решает задачу, как привязать козу, чтобы она какую-то траву съела, а какую-то не съела. Свою... Чужую...

Мать поехала к врачу. Опять начались боли в суставах.

Ивана Никитовича тоже нет. Юра называет Ивана Никитовича — «Вано». Отправился открывать выставку зарубежных фотографов, художников или зарубежной книги. Симпозиум или конференцию.

Юра бросил козу и занялся инспектором Варнике. В каждом номере журнала инспектор Варнике совершает чудеса логического мышления.

«Хорошенькая история! — проговорил инспектор Варнике, выслушав ффрау Пепперих, у которой только что украли гусей...»

Долго не звонит Лена. Затеяла прическу и возится. Будто нельзя пойти в театр без прически, как люди ходят в булочную. Майки Скурихиной влияние. Майка — это не Жирафчик, никакой тебе наивности.

Неужели Ольга Борисовна опять его завтра спросит? Пускай все оставят его в покое. И мать со своими разумными планами. Сама по плану жила? Какой же это план, если разошлась с отцом? А почему?

Отец ничего не говорит. Он мужчина. Юра это понимает. И не отец ушел от матери, а мать ушла от него. Отец не мог ее обидеть — это исключается. Он беззащитный, тихий. Снимет очки и сидит, грустно улыбается, смотрит на Юру. И Юра ни о чем его не спрашивает, боится обидеть. Встречаются они редко. Отец приезжает, чтобы уплатить задолженность за комнату и, может быть, повидаться с Юрой. Но об этом он тоже никогда не говорит. Но Юра так думает, потому что за отца надо думать и, очевидно, даже решать, если потребуется что-нибудь когда-нибудь решать.

Пришла тетя Галя. Она живет этажом ниже. Тетя Галя помогает маме по хозяйству.

— Ты ел?

— Не хочу. Я потом.

— Эгоист к себе, — покачала головой тетя Галя.

Зазвонил телефон. Юра подбежал, снял трубку. Думал, что Лена наконец. Оказалось, Витька Беляев, Тыбик. Он добрый и безотказный. Ему говорят: Витя, ты бы сбежал, ты бы сделал... И Витя сбегает и сделает. Поэтому и кличка — Тыбик. Дружеская, ласковая, как у пенсионеров, которые бегают по магазинам с сумками в поисках какого-то мифического цельного молока.

— ДБС! — закричал Витя.

Это значит — День Безмятежного Счастья. Сегодня в школе нет занятий.

— ДБС, — ответил Юра.

— На каток пойдем? У меня Сережка, Борис.

Юра идет в театр. Днем. Прогон спектакля перед премьерой.

Театр шефствует над школой, и многие ребята ходят на прогоны.

— Ты чего молчишь?

— Не могу на каток.

— Почему?

— Занят. — Не хотелось говорить, что с Леной идет в театр. Витя — друг его и Лены, но у Вити Сережка... Борис...

— А вечером ты чего?

— Позвоню.

Юра положил трубку.

На кухне тетя Галя возилась с грязной посудой. Сама с собой беседовала. Привычка. От одиночества. Мать — одинокая. Отец — одинокий. И Ваню, в сущности, одинокий. Не признаются. Молчат. А вообще для него сейчас что главное? Правильно привязать козу. И выяснить историю с гусями.

Юра прошел на кухню.

— Хочешь чашечку молока? Свежее, из пакета. Только что принесла.

Юра согласился. Он патриот и уважает бумажное молоко. «Здоровый ребенок — гордость семьи! Здоровый ребенок — гордость страны!»

Взял чашку, вылил в нее из пакета молоко и начал пить мелкими глотками.

Гусей украл мотоциклист... Фрау Пепперих, чашка холодного молока решила вашу проблему.

— Ты идешь в театр? — спросила тетя Галя.

Юра кивнул.

Тетя Галя складывала мокрую посуду в сушилку.

— А Лена где? Лена идет?

— Позвонит скоро.

Юра посмотрел на часы. В кухне на цепочке висели — модные квадратные, с красными стрелками и цифрочками.

Подарок. Какая-то фрау Пепперих из делегации женского профсоюза преподнесла Ваню.

И что она думает, эта Лена! Тоже мне Белоснежка!.. Зимняя Грация!..

Часы ударили молоточком по струне. Юра улыбнулся, вспомнил, как в пьесе, на которую они собираются, часы бьют двадцать девять раз, а иногда и пять раз и еще два, а иногда столько раз, сколько им хочется... И еще там двое спорят, что если звонят у дверей, должен быть в этот момент кто-нибудь за дверью или нет?

Юра знает содержание пьесы. Прочитал в информационном бюллетене по культурному обмену «Англия — СССР», раздел — «Театр». У Ваню на столе, в кабинете.

Но что же Лена? Дотянет до последнего, и бежишь потом сломя голову!

И телефон зазвонил. И, как в пьесе, за дверью кто-то появился наконец, так наконец появилась в телефонной трубке Лена.

— Это я!

— Чего опаздываешь! — закричал Юра. Вечно у него так получается: не хочет кричать, а закричал.

— ВВ,— сказала Лена весело. Она не обратила внимания на Юрин сердитый голос. ВВ — Весьма Вероятно.

Юра еще больше разозлился. Теперь уже окончательно.

— Тебя ждешь, всяким идиотством занимаешься — козами, инспектором Варнике,— а ты! Скоро двенадцать!

— Часы бьют столько, сколько им хочется,— опять весело сказала Лена.

И вдруг Юра положил трубку. Почему? Не знает. Характером похож на мать. Неужели правда? Вздорный, обидчивый и несерьезный? Психологи говорят — ситуативный.

Юра подождал — Лена не звонила. Юра еще подождал. Хотя понимал, что должен позвонить он. Схватил трубку, набрал номер.

Никто не подходит.

Ну и ладно! У нее характер, и у него характер. Уж такой, какой имеется.

Юра начал звонить Тыбику. Если ребята еще не ушли на каток, он пойдет с ними.

4

Юра знает, что нужно сказать Лене, когда он неправ перед ней, виноват смертельно. Знает, но не говорит. Не может что-то преодолеть. А ведь, казалось, куда проще — подойти и сказать:

«Ты... того... прости, а?»

Или:

«Тип я и дурак. Прости!»

А можно только одно слово:

«Лёша!..»

Он называл ее так — Лешей... Иногда. Как своего друга. Настоящего, большого. И Леша все поймет. Она сразу все понимает.

Юра хотел сегодня поговорить на большой перемене. Извиниться. Как назло, Варька Андреева прицепилась, потому что Ольга Борисовна не изменила своему чувству юмора и опять спросила его по алгебре.

— Лекомцев, докажите теорему об условном неравенстве.

Юра взял мел, встал у доски. Он видел глаза класса перед собой. И только Леша на него не смотрела.

— Лекомцев, вчера мы доказывали эту теорему. Вы невнимательны.

Юра вдруг совершенно неожиданно подумал, что впервые обращаться к своим подданным на «вы» начал Петр I.

— Лекомцев, позвольте задать вам извечный вопрос: где вы были в то время, когда мы доказывали теорему об условном неравенстве?

— Безусловно, в классе.

— Ответ не очень оригинальный.

Юра и сам понимал, что ответ не очень оригинальный.

— Ты меня огорчаешь,— вдруг совершенно серьезно сказала Ольга Борисовна в допетровском варианте — на «ты».

Юра не вызвал ни у кого сочувствия. Ольгу Борисовну в классе уважали. Никто даже не произнес тоже извечное: «Заковырялся... Окислился...»

Только Майя Скурихина слегка улыбнулась. Вздохнула. В «Ровеснике» был снимок новой прически в Швеции: один глаз закрыт волосами. Майка потихоньку делает так на уроке. Вот и сейчас сидит с одним глазом. Недавно сотворила прическу «Босфор», для чего понадобилось концы волос отгладить утюгом.

Юра сел на место. Витя сказал негромко:

— Плохие ДУ.

ДУ — Достижения Учащегося.

«Лекомцев, когда вы закроете двойки?» — это завуч Антонина Дмитриевна. «Мы не успеваем по Лекомцеву!» — это на совещании «при директоре» Варька Андреева. «Я сойду с ума!» — это мама. «Щелк!» — это Ваню, заперся в кабинете. «Ваша честь, преступник перед вами! Он съел чужую траву!» — инспектор Варнике.

А какая, в сущности, разница для него сейчас — два,

три, четыре, пять?.. Символика. Дифференциация. Он решает более важные проблемы. Жизненные. Только вот какие?

Ну, а на большой перемене, конечно, Варька Андреева и прицепилась: «Тянешь класс... позоришь комсомольскую группу... представь оправдания».

— Нет у меня оправданий.

— Я тебе не частное лицо! Ответственное. Ты за меня голосовал?

— Отстань.

— Нет, ты скажи — голосовал?

— Да.

— Я комсорг?

— Комсорг.

— Изволь подчиняться...

— А я подчиняюсь.

— Нет, ты грубишь, Лекомцев.

— Неуспеваемость — это мое дело. Имею я право на личную жизнь! Я эгоист к себе!

— Ты частица коллектива! Составная часть общества! И на тебя возложены обязанности!

Майка с улыбочкой добавила:

— Товарищ по толпе.

— Надоели вы мне, частицы общества!

Мимо проходил Лось.

— Девятый «А»? Так-так, — кивнул и довольный пошел.

— С тобой всегда одни неприятности, — сказала Варя. — Лось сегодня дежурный по школе. Запишет замечание классу.

— Опять я!

— А кто же?

— Откуда я знал, что он здесь появится!

— А почему ты, Юра, не был на прогоне? — спросила Майя. — И Лена не была. Я вас искала.

— Не захотел, и все.

— Наших много было. Жирафчик, Генка Хачатуров. Девочки из младших классов. Всех велели пропустить. Мы обсмеялись. Там двое спорят, что если звонят у дверей... — Майя начала рассказывать пьесу и смеяться.

Юра повернулся и пошел в буфет. Варя Андреева вдогонку крикнула:

— С тобой разговор не окончен! Только начинается!

Везде эти неоконченные разговоры — дома, в школе!

Юра остановился у вывешенной на стене газеты «Комсомольская правда». Может быть, напечатано что-нибудь новое про загадку озера Хайыр или озеро Несс в Шотландии, где видели странное древнее чудовище, похожее на ихтиозавра. Или что-нибудь о международной федерации факиров, или о поединке «Вирус — клетка».

Сегодня была статья под названием «Двойка в XX веке».

Подошел Сережа, сказал:

— Публицистика.

Юра ничего не ответил и снова направился в буфет. В буфете сидели Витя, Гена и Шалевич из 9-го «Б». Шалевич — капитан баскетбольной команды. Юра купил котлету с капустой и стакан чаю. Сел к ребятам за столик.

Шалевич никому не давал сказать ни слова. Говорил сам. Сейчас работает над мягким броском — кистевым. И у него получается. А у Генки не очень получается, но он, Шалевич, научит Генку, потому что Генка не без способностей.

Он в защите надежный. У него наиграна защита. А он, Шалевич, и в защите может и под кольцом. Потому что у него и защита наиграна и кольцо.

Шалевич взял со стола пустой стакан, подкинул его и поймал. Потом дал стакан Генке.

— Подкинь.

Гена подкинул. Шалевич поймал.

— Выше подкинь!

Гена подкинул стакан выше.

Шалевич поймал одной рукой. Буфетчица Стеша Ивановна высунулась из-за прилавка, сказала:

— Посудой балуетесь? Кидальщики! Чистые скатерти постланы!

Шалевич взял у Юры стакан с чаем и поставил на голову. Начал приседать с полным стаканом на голове («...она по проволоке ходила...»). А потом на стакан положил блюдце и начал приседать со стаканом и блюдцем («...махала белою рукой»).

В буфете все смотрели на Шалевича. Младшие затаи-

ли дыхание от восторга. Стеша Ивановна боялась крикнуть.

В этот момент появился Лось. Снял у растерявшегося Шалевича с головы блюдце и стакан.

— Твой чай?

— Его,— показал Шалевич на Юру.

— Лекомцев. Так-так...

— А что я? — разозлился Юра.

— Кто поставил на голову чай?

— Я сам себе поставил,— сказал Шалевич.

— Он же ничего не разбил,— вступился за Шалевича

Витя.

Лось подошел со стаканом чая к Стеше Ивановне.

— Этот чай я арестовал.

— Что?

— Пускай стоит у вас как доказательство.

Стеша Ивановна опять ничего не поняла:

— Он же остынет.

— Это не имеет никакого значения.— И Лось вышел из буфета.

— ОВП,— сказал Витя.— Отсутствие Всякого Присутствия.

5

Лена еще немного постояла, когда Юра бросил трубку. Надела шапочку, пальто и ушла из дому.

Был светлый зимний день. Падая снег, очень легкий и сухой. Около киосков «Союзпечати» люди разворачивали, смотрели газеты, которые только что купили. Снег падал к ним в газеты. Люди их складывали, прятали в карман и уносили снег с собой в газетах. Снег падал на желтые стеклянные стрелки «Переход» и вспыхивал вместе с надписью желтым светом. Проникал во фруктовые киоски и лежал на яблоках и апельсинах. Наполнил большие раковины фонтанов.

Лена шла по городу. В городе никогда не бывает скучно. И даже грустно не бывает, если перед этим и было здорово грустно.

Поссорилась с Юрой! Да. Он поссорился. Юра странный теперь.

Мальчишки странные в девятых классах: перестают

быть ребятами, но и взрослыми им никак еще не удастся стать.

Девочки гораздо лучше во всем разбираются, но помалкивают, не философствуют. Не говорят красиво.

Лена отыскала в кармане пальто двухкопеечную монету, вошла в будку телефона-автомата. Набрала Юрин номер.

Трубку сняла Таисия Андреевна.

— Вас слушают.

Лена растерялась: она надеялась, что подойдет Юра. Надеялась, и все. Необъяснимо даже почему. А тут — мама... Да еще такая мама, как Таисия Андреевна.

— Здравствуйте,— сказала поспешно Лена.— Можно Юру?

— А кто со мной говорит?

— Лена Ефремова.

— Здравствуй, Лена.— Голос Таисии Андреевны прозвучал вполне лояльно. Это Витя так бы сказал: «лояльно».

— Юры нет. Он ушел.

— Да. Я знаю,— вдруг сказала Лена.— Он должен был уйти.

Она подумала о театре. Значит, Юра будет ждать ее там. Но Таисия Андреевна словно почувствовала, о чем подумала Лена, и сказала:

— Он ушел на каток.

И Лене стало больно. Зачем позвонила? Не надо было этого делать. Таисия Андреевна знает, что они собирались в театр и что эта пьеса им нравится. Вот почему и ответила про каток с какой-то, ну, совсем незаметной, но все-таки радостью. Девочки в девятих классах понимают взрослых уже совсем по-взрослому.

Таисия Андреевна спросила:

— А разве ты не собиралась с ними на каток?

С ними? Юра пошел с кем-то. И спросила так Таисия Андреевна нарочно; она понимает: если Лена звонит и спрашивает Юру, значит, она не на катке.

— Нет. Я собиралась в театр.— Лену уже душили слезы.— До свидания. Я пойду.

— До свидания.

Таисия Андреевна обидела незаслуженно, несправедливо и как-то незаметно вроде бы. Но для Лены это было заметно.

Лена все еще стояла в будке автомата. Лене хотелось, чтобы прошли слезы, затихли.

И вдруг она позавидовала Майке Скурихиной. Майка хорошо одевается: платки «мохер», пуловеры, сапоги «аляска».

Была бы у нее возможность одеваться! Вот бы прийти к Таисии Андреевне в какой-нибудь отчаянно модной шубке. «Юры нет дома? Ушел на каток? Разрешите, я его подожду!..»

Таисия Андреевна смотрит, удивленная, на ее шубку. Шубки модные называются вроде «бибифок». Так вот, чтобы была эта шубка «бибифок». Как бы заговорила Таисия Андреевна!.. Да, Таисия Андреевна, у меня есть возможность одеваться и быть красивой.

Лена вышла из автомата. Почему-то было обидно уже не только за себя, а и за маму. Она прожила жизнь тоже без всяких этих возможностей.

Мама работала кассиршей в кинотеатре «Уран». Лена была еще маленькой и гордилась, что ее мама занимает такой ответственный пост,— около кассы вечно толпился народ. Лена никогда не могла пробиться к маме из-за толпы, и это ее не огорчало, а даже радовало. Вечером мама приходила домой уже тогда, когда Лена спала. И это тоже Лену не огорчало. Но теперь она понимает, что так и не успела разглядеть как следует свою мать, которая, кажется, всегда ходила в стареньком светлом платье и в таком же стареньком светлом пальто. Была, очевидно, нерешительной, безвольной, робкой. И мучилась от этого. Потому и Лена нерешительная, безвольная, робкая. И мучается от этого. А Лена уверена, что она характером в мать. И ей будет нелегко, как было, конечно, нелегко и матери. Лена так думает. Ей хочется думать о матери, как о себе. Так ей легче оправдывать свой характер, поступки, чаще всего не доведенные до конца и поэтому не очень похожие на поступки.

Кто-то схватил Лену за руку. Инна, внучка бабушки Фроси из квартиры Григория Петровича, Юриноного отца.

— Ты куда?

— Гуляю.

— Пошли к нам.

Лена согласилась.

Инна была оживленной, веселой. В плетеной сумке не-
сла апельсины. Те самые, присыпанные снегом.

— Чего давно не приходили? — Это она имела в виду не только Лену и Юру, а всех остальных ребят. Они часто приходили в комнату к Григорию Петровичу: то редколлегия стенгазеты, то готовились к контрольной работе, то обсудить план лыжного похода, то просто так отогреться, попить чаю.

— Много задают уроков, — неопределенно ответила Лена.

— А у меня была курсовая работа. — Инна училась в технологическом институте. — Просидела неделю не разгибаясь. Ночью линейный ускоритель снился.

— Конкретное мышление, — улыбнулась Лена. — Библиотека снов.

Инна продолжала рассказывать о курсовой работе, которую она сдала самому профессору Зайцеву, а сам профессор Зайцев во время лекции сказал на всю аудиторию, что студентка Корнилова блестяще доказала чувствительность радиоактивационного анализа.

— Да ты не слушаешь?

— Извини.

— В школе чего-нибудь?

— И в школе.

— Грустить вредно — морщинки от этого.

— И улыбаться вредно — тоже морщинки.

— Придем домой — апельсинами угощу. Стипендия... Долги отдали.

— Возможности... Инна, ты не знаешь, что такое «бифок»?

— Шубы из детенышей нерпы.

— Из детенышей?

— Да. Как будто.

— А правда, что айсберги рождаются в полнолуние? Откалываются и плывут. — Лена говорила, лишь бы о чем-то говорить.

Юра подошел к Лене:

— Ты... того... прости, а?

Лена подняла глаза.

— Тип я и дурак.

Лена ничего не ответила. Не из-за упрямства. Было приятно услышать от Юры эти слова. Она смотрела на него: наконец перед ней Юра такой, каким она его знала. С каким дружила.

Юра помолчал, а потом еще сказал:

— Леша!..

Глупый, глупый Юра. Она простила его сразу, как только он подошел.

Лена догадалась, почему Тыбик вертелся сегодня около нее: вел подготовку, как она — не сердится на друга? Можно подойти к ней?

Конечно, можно. Всегда можно. Ох эти неотмоделированные мальчишки в девятых классах!..

— Леша,— повторил Юра, но тут зазвенел звонок к началу урока.

— Никогда не бросай трубку. Ладно? — просто сказала Лена.

— Не буду. Я потом звонил. И вечером... тебя не было.

— Я ходила к Инне.

— А в театр?

— Нет.

Опять зазвенел звонок.

— Когда звонят,— сказал Юра,— с той стороны кто-нибудь есть.

— Да. Большею частью.

Подошел Тыбик. Конечно, чтобы проверить, как идут дела у Юры и Лены. Помирились или нет. Увидел, что все в порядке.

— ДБС!

Ну до чего Витя добрый и внимательный. Не случайно лучший вожатый в районе. Лучшее ответственное лицо. Слуга народа!

— Ты знаешь,— сказал Юра,— мы пошли на каток, а там вся его компания малышей. Как начали вокруг носиться, падать, вскакивать... У меня голова закружилась.

— Привыкай работать с массами,— сказал Тыбик.

В конце коридора показался учитель физики Василий Тихонович. Ребята шмыгнули в класс.

И тут Лена вспомнила, что не принесла журнал из учительской. Вдруг почувствовала — кто-то подсовывает его под руку.

— Я предусмотрела,— улыбнулась Жирафчик.

7

После уроков Лена осталась в классе заполнять дневники.

В классе тихо. И в школе тихо. «Синтез самого себя». Юра придумал. Кричал: «Запиши в тетрадку!» Специально придумывает для ее тетради высказывания на современном уровне.

Юра пошел домой — надо помочь тете Гале отвезти в починку пылесос. Потом зайдет в школу.

Лена раскрыла журнал и начала переносить из журнала отметки в дневники.

Селиванова (это Жирафчик)... По истории — три, по алгебре — четыре. Борис Ярочкин... По обществоведению — три (Лось двойки не ставит, но сплошные тройки), по географии — пять, за сочинение-миниатюру — пять и добавлено: «в превосходной степени» (Александра Викторовна, кто же еще, это она ставит такие отметки — «пять в превосходной степени»). Борис — редактор стенгазеты. Умеет сочинять миниатюры. Скурихина Майя... По обществоведению — четыре (Лось раскошелится на четверку!), по астрономии — тоже четыре. А по акробатике — пять. Майка здорово занимается акробатикой. Фигурка у нее хорошенькая, ничего не скажешь. И лицо хорошенькое. Вырезала овалы и круги из бумаги и прикладывает к ушам. Считает, уши у человека некрасивые, надо усовершенствовать. Придумала локти в таз с горячей водой опускать, чтобы не огрубели за зиму. На парту лишний раз не поставит. Мисс «Школа № 74»!

Лена продолжала переносить в дневники отметки и записываться в графе за классную руководительницу. Самоуправление. Никаких локтей не хватит!..

Витька Тыбик распустился, не заполняет дневник со-

всем. На старосту надеется. Лена заполнила дневник и написала: «ОВП» — Отсутствие Всякого Присутствия.

В коридоре затарахтели ведра. Это дежурные мыли полы. Труднее всего отмывать нижний зал и коридор: там бегают малыши и за день извозят даже стены.

Сегодня главный дежурный Лось. Будет принимать от ребят школу.

Что-то не идут дежурные по классу. Майя — ответственная. Сидит в радиорубке, слушает «музыкальные консервы». А пора бы приступить к уборке. Лось, он ничего не скажет, а запишет на бумажку. Хотя он Майку любит. Обеспечена удовлетворительная оценка за уборку.

Лена раскрыла дневник Юры. Вот уж не хотелось раскрывать... Надо поставить двойку по алгебре и двойку по химии. Событие на грани скандала! Для класса, для Юры и для нее, конечно, для Лены. С Юрой нельзя ни о чем сейчас говорить. Не слушает, не хочет. Или отшутится, или нагрубит. Может быть, только Вера Николаевна...

Лена вздохнула и поставила двойки. Незаметно, в углу клеточек. Расписалась. Что она еще может сделать?

Пришла Майя с остальными дежурными.

— Цитрона!.. Цитрона!.. Цитрона!.. — пропела Майя. — Ленка, на первом этаже один родитель парту красит. Интеллигентный вид, в очках, пиджак снял и в нейлоновой рубашке. Сын исцарапал парту, а родитель пришел красить. Вера Николаевна заставила. Если, говорит, ваш сын не в состоянии этого сделать, то красить будете вы. Он и пришел. Думал, шуточки, а ему — кисть в руки и банку с краской... Ребята! — тут же закричала Майка. — А давайте класс мыть снегом! Чего воду таскать! Откроем окна — и снегом. Вон сколько его на подоконниках и в каптерке на флигеле!

Класс 9-го «А» соединен дверью с небольшой комнатой, которую ребята называют «каптеркой». В каптерке сложены старые чучела зверей, швабры, ведра, а посередине стоит аквариум. Тоже очень старый, с полупрозрачными стеклами. В аквариуме постоянно горит лампочка.

Ребята чего только для Майки не сделают! Открыли окна и начали сгребать с подоконников снег и рассыпать по классу. А в каптерке открыли окно и там тоже начали сгребать снег с крыши флигеля, который вплотную пристроен к школе.

— Теперь швабры! — командовала Майка. — Разотрем, и все!

— Будет вам всё... Лось дежурный, — напомнила Лена.

— Вадим Нестерович — душка!

В классе приятно запахло снегом. Майка накрыла плечи Лены шарфом, который лежал у нее в парте.

— Замерзнешь с дневниками.

Шарф был нежный, легкий и очень теплый. Лена завернулась в него.

— Майя, а ты бы надела шубу «бибифок»?

— Конечно! У моей мамы такая.

— А я бы не надела.

— Почему?

— Не надела бы, — уклончиво ответила Лена.

— Приходи, дам померить. Чудо!

— Нет. Не надо.

Майя схватила классный журнал.

— Как брошу! В окно!..

— Майка! — испугалась Лена и подскочила к окну.

Во дворе стоял Юра. Он удивленно смотрел на открытые окна класса. Лена махнула рукой: иду!

Юра кивнул в ответ.

Лена отобрала у Майи журнал, сунула ей шарф, собрала дневники и побежала в канцелярию. Дневники она допишет вечером. Зайдет в школу и допишет.

На первом этаже в классе увидела мужчину без пиджака, в нейлоновой рубаше. Мужчина красил парту.

Лена улыбнулась и побежала дальше.

— Цитрона!.. Цитрона!.. Цитрона!..

8

Вера Николаевна сидела у себя в кабинете, прослушивала запись на магнитофоне утренней физзарядки. Вошла завуч Антонина Дмитриевна.

— Ящик «вопросов и ответов» полон. Как будем отвечать? — Завуч положила на стол пачку записок.

— Я просмотрю. Спасибо.

С Антониной Дмитриевной отношения официальные, служебные. Она не очень одобряет идею «вопросов и ответов».

Антонина Дмитриевна ушла.

Вера Николаевна начала читать записки. Вопросов было много: и о генетике, и о лауреатах Нобелевской премии, о комбинаторике, о гербах древних русских городов, о каком-то порошке молодости, об обращении «сударыня» в магазине к продавщице... Создает ли привычка поступок, поступок — характер, характер — судьбу? Каждый человек — свой собственный конечный авторитет или это неверно? Что такое здравый смысл?

Вера Николаевна с удовольствием прочитывала записки. Ребята спрашивали и требовали ответов — ясных, конкретных, полных.

Были вопросы о «Песни песней Соломона» из библии, как примере романтической любви. Это Миша Воркутинский из десятого, выпускного. Он читает древние тексты. Разбирается в живописи. И гербы древних русских городов, наверное, знает. Грамотный мальчишка!

А это, конечно, Эрик Харжиев: «Что можно узнать нового о резиновых надутых самолетах?»

А были и прямые предложения по реконструкции школы. Отменить текущие оценки и выставлять только в конце четвертей, итоговые, как в институтах. Назначить «эстетический патруль». Он должен контролировать эстетику быта в школе. Включить новые предметы — стандартизацию, например, или машиноведение. Следят ребята за дискуссиями!

Какого цвета должна быть доска — черного, коричневого или зеленого? Какой должна быть форма для старшеклассников и, главное, для старшеклассниц? А прическа? А туфли?

Вера Николаевна вложила записки в дневник школы — пускай ознакомятся учителя. Кстати, за последнее время в дневнике появились интересные записи. Василий Тихонович — за большую самостоятельность учеников. Татьяна Акимовна настаивает на изменении изучения химии в девятых классах: начинать предмет с современного строения атомов элементов. Ольга Борисовна пишет: «Надо создавать на уроках проблемные ситуации». Александра Викторовна Ракузина добавляет в записи Ольги Борисовны, что «знания должны приобретаться не памятью, а мыслью» и что надо навсегда покончить с «футлярной педагогикой».

«Шевелитесь — не то вас заменят кнопкой!» Кто это — Юра или Миша Воркутинский? Мастера афоризмов.

В дверь заглянула секретарь комитета комсомола Нина Гриценко.

— Заходи. У тебя что — нет занятий?

— Контрольная. Уже написала. Вера Николаевна, ребята просят устроить бал. Эскиз бала, новогоднего. Деньги есть — заработали на овощной базе и на почте.

В дверь всунулась голова Артема, заведующего сектором культмассовой работы.

— Входи. Тоже написал контрольную и свободен?

Артем кивнул и сказал:

— В плане записано: к каждому мероприятию должен быть составлен эскиз. Новогодний бал — мероприятие? Эскиз надо составить? Надо. Закон. Давайте и составим, чтобы достойный нашей школы!

— Законники, — улыбнулась Вера Николаевна.

— Чтим и выполняем, — парировал Артем.

— Что предлагаешь?

— Съезд гостей. «Кто там в малиновом берете с послом испанским говорит?..» Старинные фонари навесим. В подвале валяются. Цветов накупим живых. Лотерею устроим. Деньги есть, заработали!

— Вам что, эти деньги руки жгут?

— Жгут, Вера Николаевна.

В кабинете директора за столом сидит вовсе не директор, а девчонка из 9-го «А». И сидит-то она не за столом, а на валике дивана. Постукивает о зубы тоненьким карандашиком. Директор боится этой девчонки, потому что девчонка согласится на этот гала-эскиз. Фонари старинные... Съезд гостей... «Кто там в малиновом берете...» Права Антонина Дмитриевна, что относится с осторожностью.

В кабинет вошел Вадим Нестерович Лось.

— Простите, — обратился он к Нине и Артему. — Мне надо поговорить с директором.

Ребята вышли.

— Хочу сообщить результаты моего дежурства по школе. Ученик Лекомцев ведет себя недопустимо. Грубит мне как преподавателю. Я прошу довести до сведения родителей. Мог бы не беспокоить вас, но в девятом «А» нет классного руководителя. Самоуправляются. Так сказать, бесклассовое общество...

Вера Николаевна стояла у окна, смотрела на школьный парк. Она любит свой кабинет в эти вечерние часы. Где-то раздается стук молотка: школьный плотник Романушкин подгоняет осевшую дверь или ремонтирует перила.

Подъехал грузовик. Из кабины выпрыгнула Любовь Егоровна. И тут же ей навстречу выбежали ребята. Начали выгружать из грузовика новые парты.

Директор спустилась вниз, вышла на крыльцо.

— Всем одеться!

— Нам не холодно!

— Марш! Марш!

— А вы сами без пальто?

— Я директор. Мне можно.

Она вернулась в школу. Пошла посмотреть, чем занят Романушкин. Он долбил в одном из младших классов стену.

— Романушкин?

Романушкин поднял голову. Перестал стучать.

— Что вы делаете?

— Выполняю заказ.

— Чей заказ?

— Паренька. Побежал на улицу.

Вера Николаевна решила обождать — выяснить, что происходит.

Вскоре явился Тыбик.

— Понимаете, жалуются маленькие — утром плохо видно, что написано на доске. Не проснулись как следует. Я и придумал — укрепить лампу. Конструкторскую, на гармошке. Можно поворачивать, освещать доску.

Вера Николаевна посмотрела на Тыбика. Улыбнулась. Вадим Нестерович говорит, что в наше время нет настоящих ребят. Что все они скептики, отрицатели...

— Где лампу достанешь с гармошкой?

— Есть уже. Я бы и пробки для нее сам забил. Шлямбура нет. Романушкина пришлось просить.

— Готовы тебе пробки. — Романушкин собрал инструмент и ушел.

Витя откуда-то из угла вытащил лампу с гармошкой. Приставил к пробкам.

— Удобно? Шнур поверху натяну, где филенка.
 — Мы и в других классах сделаем. Отличное будет
 ДУ. Достижение Учащегося,— сказала Вера Николаевна.
 Витя смущенно улыбнулся:
 — ВВ. Весьма Вероятно...
 — Ты дружишь с Юрой Лекомцевым. Какие у него
 отношения с отчимом?
 — По-моему, нормальные.
 — А где сейчас отец?
 — На Севере. Далеко. Забыл, как называется место.
 — Пишет Юре?
 — Пишет. Редко.— Витя подумал и добавил: — По-мо-
 ему, редко. Почта оттуда...
 — Узнай, пожалуйста, адрес и скажи мне. Хорошо?
 Узнай тактично. Не у самого Юры и не у мамы.
 — У бабушки Фроси спрошу. Мы у нее завтра собира-
 емся. Редколлегия.

Вернулся Романушкин.

— В девятом «А» надо менять парты. Когда будем?

— Во всех классах уже поменяли?

— Во всех.

Вера Николаевна медлила с 9-м «А». И каптерку надо переоборудовать, отдать Василию Тихоновичу под дополнительный кабинет физики.

* * *

Однажды Лена застала в классе Веру Николаевну. Лена пришла со стопкой дневников и классным журналом.

— Вы проверяете чистоту?

— Нет, Леночка.

— Свет зажечь?

— Зажги.

Лена положила на стол дневники и журнал. Зажгла свет.

Доска была густо исписана иксами, зетами в кубе, в четвертой степени.

— Саша Троицкий. Решает великую теорему Ферма.

— В наше время тоже решали теорему Ферма. И на этой самой доске.

— Как?
— Я училась в этом классе.
— Как? В нашем классе? Вы? Правда, Вера Николаевна?
— В девятом «А». Перед войной.
— Свет погасить? — вдруг спросила Лена.
— Я на минутку. Ты садись, занимайся делами. И у меня дела. Я пойду.
— Вера Николаевна, в классе все так же было, как сейчас?
— Да.
— Каптерка? Чучела стояли? Аквариум?
— Все так же было.
— А Григорий Петрович, он с вами учился? Витя его нашел со своим отрядом. Как героя войны. Совсем недавно. — Лена смутилась. — Мы к нему ходим — и не знали. Он тоже учился в нашей школе?
— Учился.
— А мама Юрина?
— И она, — кивнула Вера Николаевна как-то поспешно.

И Лена вдруг поняла, что не надо было задавать этот вопрос и вообще расспрашивать обо всем этом. Вера Николаевна сама могла бы рассказать Тыбику о Григории Петровиче и о других. Но ничего не рассказала. Может быть, поэтому и с Леной говорит о Юре так, как никто другой в школе?.. Есть причина? Лена это давно почувствовала и не ошиблась, значит.

И ей вдруг показалось невежливым оставаться дольше в классе.

— Я пойду. — И еще раз спросила: — Свет погасить?
— Как тебе хочется.

Лена свет погасила и тихонько вышла из старого 9-го «А», в котором осталась сейчас Вера Николаевна.

Только что закончилось классное собрание. Кричали, спорили. Лена боялась собрания, потому что будет разговор о Юре — правда, не об успеваемости, а о дисциплине. Поругался с Лосем. Наговорил ему такое, что Лось напи-

сал в дневник школы и еще куда-то. Требуется решительных мер.

Двоек у Юры нет. То напoлучал двоек, то все исправил. Ольга Борисовна поставила ему недавно пять за ту же самую теорему об условном неравенстве и сказала: «Лекомцев, надеюсь, с вашим двоечным юмором покончено».

Юра кивнул и ответил, что повторяться в шутках — это уже неинтересно, он понимает. Поэтому придумает что-нибудь новенькое, хотя бы с теми же пятерками. Этот пятерочный юмор.

Ольга Борисовна засмеялась и сказала в допетровском варианте, на «ты»: «Лекомцев, ты прекрасен в своей дерзости!»

И с Татьяной Акимовной у Юры состоялся разговор. Татьяна Акимовна — человек другого плана. Редко шутит. «Прошу доказать, что в состав соляной кислоты входят ионы водорода, ионы хлора. Прошу отметить физические свойства галогенов». И все это без улыбки. И только однажды слегка улыбнулась, когда прочитала в сатирическом листке: «Вы не видели Натрий? Ушел с Хлором к Сере...» Юра сумел ответить Татьяне Акимовне на все «прошу». Татьяна Акимовна, удовлетворенная, кивнула и сказала: «Прошу учиться нормально».

За столом президиума сидели Варя с Леной и секретарь комитета комсомола Нина Гриценко. Она пришла на собрание.

— Лекомцев, что у тебя произошло с Вадимом Нестеровичем? — спросила Варя.

— Частная беседа.

— То в коридоре, то в буфете... А теперь ещё в раздевалке.

— А у вас с ним ничего не происходит?

— Что ты имеешь в виду?

— А все!

Ребята зашумели: Лось не вызывал симпатии.

— Но ты ведешь себя недостойно. Так не спорят и не доискиваются истины.

— Шалевич сам водрузил чай на голову, — вмешался Витя. — И потом, все это ерунда. Не серьезно.

— А в раздевалке? — настаивала Варя. — Тоже ерунда по-твоему, Беляев?

— Я не знаю, что было в раздевалке.

— Девочки,— вдруг сказала Майка,— чтобы иметь правильную осанку, надо положить на голову книгу и ходить.

В классе засмеялись. Даже президиум засмеялся.

— Майка! — спохватилась Варя.— Прекрати!

— Я прекратила.— И Майка сделала невинные глаза.— Я в порядке ведения собрания.

— Скурихина! Прекрати наконец!

— Молчу, Варечка.

— Хотите доискаться истины, пригласите Вадима Нестеровича,— сказала Нина Гриценко.

— Истина, где ты?

— Лекомцев, Беляев! Ефремова! Остановитесь!..

— Логическое мышление... Инспектор Варнике.

Жиравчик засмеялась.

Варя поглядела на Нину: «Я же предупреждала, что с этим вопросом будет трудно». И Нина знала, что с этим вопросом будет трудно. Она говорила Вере Николаевне.

А Вера Николаевна сказала, что Вадим Нестерович человек сложный и ей тоже бывает нелегко его понять, но она стремится это сделать. И они должны.

Юру строго предупредили за некультурность поведения в общественном месте, а именно — в раздевалке. Юра выслушал предупреждение, потом встал и направился к выходу.

— Привет, пескодоры!

Ну что с ним делать? Он всегда так... А теперь еще при Нине Гриценко.

Сашка-ферматист закричал:

— Вернись! Нехорошо, Юрка!

Юра улыбнулся:

— Ку-ку, Сашенька. Один бухгалтер приближается к премии.

Тому, кто докажет или опровергнет теорему Ферма, будет вручена премия в сто тысяч марок. Ольга Борисовна рассказывала.

Юра ушел.

Варя взглянула теперь на Лену: «Выручай, что-нибудь придумай». Лена ничего придумать не могла. И Варя продолжала вести собрание.

- Сережа, у тебя двойка по географии.
- Я занимаюсь, но оно как-то все мимо.
- Предупреждение было?
- Было.
- Надо исправлять двойку.
- Обидно, когда плывешь, а берега не видно,— вздохнул Гена Хачатуров.
- «О мать Нейт! Простри над нами свои крылья!..»
- Дополнительный вопрос по географии: с какой полосы начинается зебра?
- Комбинаторика!
- Лена! Ефремова! Скажи ты им...—взмолилась Варя.
- Ребята, перестаньте!
- Хачатуров все. Тайм-аут.
- Мне врач сказал, у меня соки в рост идут. Не могу нормально учиться. По некоторым предметам...— улыбнулся Борис.
- Так я тоже расту! — закричал Сережа, подмигнув Борису.— И соки у меня тоже!
- Борис учится нормально по всем предметам. Сказал это для того, чтобы выручить друга. Обратить все в шутку.
- Человек современного общества должен развиваться в комплексе,— буркнул Сашка-ферматист. Он сидел, считал на логарифмической линейке.
- Где достать царский трон? — вдруг спросил Витя.
- Ты что?
- Мои ребята ставят сказку.
- Сходи в театр.
- Верно. Из головы вылетело.
- Опять отвлеклись от темы! — постучала рукой о стол Варя.
- «Меж ими все рождало споры и к размышлению влекло...»
- Борис!
- Девятый «Б» пишет сочинение в стихах!
- Врешь!
- Честно! Ходят, рифмы ищут.
- Мы первыми должны были писать. Александра Викторовна обещала.
- Напишу пьесу,— заявил Борис.— Действующие ли-

ца и исполнители: мать Гамлета — Вера Николаевна, Офелия — Майя Скурихина. — При этом Борис встал и поклонился в сторону Майки.

Майка в ответ тоже встала, поклонилась и положила на голову книгу.

Класс засмеялся.

— Первый могильщик... — Боря не успел ничего сказать, как класс хором закричал:

— Вадим Нестерович Лось!

Дверь открылась, и на пороге появился Лось. Рядом с ним Юра. Это было настолько неожиданно, что все — кто где стоял и сидел — застыли на местах. Майка — с книгой на голове.

Наступила тишина. Она повисла в воздухе живая. Ощутимая.

Лось тоже молча повернулся и вышел. Когда дверь за ним закрылась, ребята накинулись на Юру:

— Не предупредил! Ну надо же, а!.. Теперь — метеоритная обстановка! Борьба миров!

— Я сам его привел... Вы же говорили...

Витя, Юра и Лена шли вдоль Москвы-реки.

Большой Каменный мост горел голубоватыми огнями. Над открытым плавательным бассейном клубился пар. Поблескивали в снежном сумраке купола кремлевских церквей. На углу высокого серого дома горела надпись из красных стеклянных трубок: «Театр эстрады».

— Кто по барьеру до Большого Каменного?

— Скользко, Юра, зимой, — сказал Витя.

— Глохни.

И Юра впрыгнул на парапет набережной. За Юрой вскочил Витя. Дал руку Лене. Она тоже поднялась на парапет. Отправились гуськом, балансируя портфелями. Вдруг кто-то кричит:

— Лекомцев! Беляев! Ефремова! Остановитесь!..

Ребята остановились. К ним подошла Вера Николаевна.

— Что за выдумка? А у тебя, Лена, нога слабая. Забыла?

Ребята спрыгнули с парапета.

- У меня лучше нога.
- Лена растянула связки. И серьезно. Мальчишки, безответственные вы!
- Так она молчит.
- Ленка, чего ты молчала?
- Отправляйтесь, — кивнула Вера Николаевна. — По тротуару, как нормальные люди.
- И они отправились в смущении.
- Вас смутишь.
- Нет, почему же... Иногда...
- Не выдумывайте!

Ребята засмеялись и отправились по тротуару, как нормальные люди.

Около театра толпился народ: официальная премьера того самого спектакля — двое спорят...

- Я пошел, — сказал Витя.
- Куда?
- За троном. Договориться надо.
- Не пробьешься.
- Пробьюсь.

И Витя врезался в толпу.

— Василий Тихонович говорит, что работают установки, которые уничтожают тучи, туман. Облака уничтожают. А мне жаль, — сказала Лена.

— Облака?

— И облака, и снег. Тогда его не будет. Я и дождь люблю.

— Дождь не люблю, а снег люблю. — Юра положил на сугроб портфель и сел на него.

Лена положила портфель рядом и тоже села.

К театру подъехало такси, и из такси вышел известный артист.

Народ узнал, захолопал.

Его любили.

— Мне он нравится, — сказала Лена.

— И мне.

— Как ты думаешь, кого будет играть?

— Одного из тех двоих, конечно.

И вдруг совершенно неожиданно Юра спросил:

— Когда была жива твоя мама... ну, ты прости... она с тобой часто разговаривала?

— Что? — не поняла Лена.

— Разговаривала нормально, понимаешь?

Лена помолчала, потом сказала:

— Почему обижаешь Витю иногда?

На вопрос Юры она не ответила.

— Он всегда прав.

— И меня поэтому обижаешь? — Последние слова Лена сказала совсем негромко.

— Я свинья, Леша! — Юра вскочил. — И мать я свою не люблю! Ее никто не любит!..

— Зачем ты так?

— А что? Она и тебя не любит. И отца не любила. И Ваню не любит. Она себя любит!

— Юра! — Лена тоже встала с сугроба. — Ты не смеешь так о матери!

— Смею!

— Нет! — Лена взглянула ему в лицо. — Часто говоришь и делаешь такое, о чем потом жалеешь.

Юра ничего не ответил.

— Ждешь писем?

Юра молчал.

— Инна обижается, что не приходишь. И бабушка Фрося.

— Странно. Мой отец учился в этой же школе, а я не знал. Странно. Верно, Леша?

Она сняла перчатку, подула на пальцы.

— И мать училась. В параллельном. И тоже молчала.

Лена сказала:

— Давно было. Как и война давно была.

— Чего о войне заговорила?

— Девятый «А» ищет девятый «А».

— Сейчас придумала?

— Да. Но так должно было быть. А то один Витя со своими следопытами.

— Надень перчатку.

Лена надела перчатку.

— Замерзла?

— Нет, что ты!

— Великий ученый Шампольон еще мальчиком сказал: «Я прочту это, когда вырасту». И первый в мире прочел египетские письма.

Лена улыбнулась.

— А мои письма ты читаешь в своем дневнике?

— Прочту, когда вырасту! — закричал Юра, схватил Лёну и посадил в сугроб рядом с портфелями.

— Ты с ума сошел! Юрка!

— Ничего подобного! — продолжал кричать Юра и сам повалился в сугроб. — А великий ученый Шлиман еще мальчиком сказал: «Я найду Трою». И нашел ее!

Лёна сидела, мотала головой, отряхиваясь от снега. Громко смеялась.

— И вообще, Майка Скурихина перед тобой просто факера Милосская! И ничего больше!

— Юра, перестань. К нам, кажется, идет милиционер.

— Не милиционер к нам идет, а Витька.

К ним шел Тыбик.

— Чего сидите в снегу и орете?

— Диктую высказывания ученых. От формации к формации.

11

— Ваню, можно к тебе?

— Да, конечно.

«Ваню» — это была видимость дружеских отношений со стороны Юры, потому что сам Иван Никитович хотел быть с Юрой в настоящих дружеских отношениях. Но он понимал, что не имеет права добиваться этого. Этому должен был захотеть Юра.

Ваню в теплом замшевом пиджаке сидел за своим рабочим столом, читал информационный бюллетень по культурному обмену. Значит, будет очередная встреча: «Дамы и господа, мы собрались, чтобы...»

— Ваню, ты любишь мою мать?

Некоторое время Ваню продолжал сидеть неподвижно. Потом медленно закрыл бюллетень. Сейчас скажет: «Не понимаю тебя».

Ваню поднялся из-за стола.

— Мне бы хотелось, чтобы наш первый серьезный разговор начался не с подобного вопроса, — наконец ответил он.

И действительно, у Юры с Ваню никогда не было серьезного разговора.

— А с какого?

Юра был несправедливо агрессивен.

— Я знал, что ты спросишь у меня обо всем, что случилось. Вырастешь и спросишь. Вот ты и вырос, если спросил.

— Но я спросил тебя не об этом?

— Ты спросил меня об этом, Юра.

Юра промолчал, потому что на самом деле спросил об этом. И Ваню поступил честно и не сказал: «Я не понимаю тебя». Так бы ответила мать.

Юра продолжал стоять посредине комнаты. Он ждал.

На кухне совсем мирно разговаривала сама с собой тетя Галя. Мамы дома не было, она ушла.

Ваню подошел к Юре и положил ему на плечи руки. И вдруг Юра понял, что на честность Ваню он должен ответить тоже мужской честностью. Он поставил Ваню в затруднительное положение, и Ваню не испугался, не начал отговариваться пустыми фразами.

— Я знаю: ты не виноват, Ваню.

— Юра, здесь нет правых и неправых.

— Есть.

— Нет, Юра. Ты не ищи. Я вижу — ты ищешь. — Иван Никитович опустил руки, взглянул на Юру.

— Мать виновата перед отцом.

— Это ты так решил?

— А перед кем она виновата?

— Я повторяю тебе: здесь нет правых и неправых.

— Скажи, Ваню, а какое отношение имеет Вера Николаевна к моему отцу? Она училась в одном с ним классе? Перед войной?

— Училась. Да.

— Мать никогда не говорила. Почему? И она из этой школы, только из другого класса. Параллельного.

— А отец? Говорил?

— Нет.

— И ты хочешь, чтобы я...

— Ты сам сказал, что когда-нибудь спрошу у тебя, что случилось. Вот я и спрашиваю. А ты говоришь: здесь нет правых и неправых.

— Юра... — позвала мать. Она стояла в дверях. Она вернулась из города.

Юра поглядел на нее. Морщины стянули глаза. Снег

растаял на волосах, и мокрые волосы прилипли к щекам. Лицо от этого сделалось особенно худым и бледным. Уголки губ дрожали. Недокрашенные помадой, они тоже были особенно бледными.

Она слышала конец разговора между Юрой и Ваню.

— Если ты ищешь виноватых, то это я. Одна я! И не надо ни о чем спрашивать Ивана Никитовича.

«Ты часто говоришь и делаешь такое, о чем потом жалеешь...» — И Юра выбежал из кабинета.

Он не хотел больше ничего знать!..

12

Василий Тихонович дал программированные вопросы по инфразвуку и молекулярному движению. Кто закончил отвечать, мог заниматься чем хотел.

Лена писала письмо Григорию Петровичу, отцу Юры. Как староста класса.

«Мы все очень любим Юру и поэтому беспокоимся за него. Он такой...» Лена подумала и написала: «неровный», и прибавила: «сейчас». И потом дальше: «Мальчики, они неровные в эти годы. Оправдываются, что...»

Лена остановилась, подумала и зачеркнула «оправдываются, что...».

Вера Николаевна просила Лену написать письмо. Вначале хотела сама, а потом передумала. Вызвала Лену. О письме никто не должен знать. Ни в классе, ни вообще.

Лена и Юре ничего не сказала. А зачем? Начнет кричать, что опять вмешиваются в его личную жизнь...

Когда человек не может разобраться в близких ему людях, в их поступках и тем более когда эти близкие собственные отец, мать и отчим, он мучается сам и мучает других близких, хотя бы друзей по школе.

Лена достала из портфеля тетрадку, в которой собирала высказывания писателей, ученых и общественных деятелей. Нашла слова Хемингуэя и переписала их в письмо: «Каждый, кто ходит по земле, имеет свои обязанности в жизни». Она уважала Хемингуэя, и он должен был помочь ей. И еще она уважала Сент-Экзюпери. «Любить — это значит не смотреть друг на друга, а смотреть вместе

в одном направлении». «В любви нет больше и меньше» (Л. Толстой). «Смейся, и я скажу, кто ты» (М. Ларни).

Много хорошего в тетрадке.

Юра не пришел в школу. Может быть, заболел, а может быть, не подготовился к вопросам по физике.

Занятие Василий Тихонович проводил совместное — 9-й «А» и 9-й «Б». Неподалеку от Лены сидел Шалевич. Около него — Генка Хачатуров. Ответы на программированные вопросы они уже закончили и тихонько говорили о своем. Конечно, о баскетболе.

— Надо сдублировать противника. Создать сборную из своих игроков, вроде это противник, и играть с ней.

— У них в зале жесткие кольца. Мы не привыкли. И стартовая пятерка была не та.

— Смотри, у меня таблица. Я сделал. Штрафные броски — сорок восемь процентов, броски со средних дистанций — двадцать пять процентов, подбор мячей на чужом щите — тридцать процентов.

— Наша команда не дошла до пика спортивной формы.

«Опять проиграли, оправдывается», — подумала Лена.

Василий Тихонович ушел из класса. Сказал: кто не закончил ответы — пускай заканчивает и принесет в учительскую.

В школе дискутировали, как лучше все делать, по-новому, по-современному. А Василий Тихонович уже не дискутировал, а поступал так, как считал правильным. Ввел программирование. Собирал на свои занятия оба класса — 9-й «А» и 9-й «Б».

«Настоящий современный ученик, — говорил Василий Тихонович, — школьную программу-минимум должен пройти быстро и работать самостоятельно над внепрограммными темами. Учиться надо в будущем времени! Наши несовершенства — это испытание нашей жизнеспособности!»

Он не запрещал Саше заниматься на своих уроках решением теоремы Ферма. И даже спорил с Сашей о теории чисел и о пифагоровых тройках. Саша не сдавался и выдвигал свою теорию чисел и пифагоровых троек. Говорили, что на педсоветах завуч Антонина Дмитриевна жаловалась на Василия Тихоновича — он объединенными занятиями путал ей расписание.

И в дневнике школы он делал свои резолюции. Подме-

нял директора этими резолюциями. Вера Николаевна только смеялась, постукивала о зубы тоненьким карандашиком. Ведь никто не знал, что это смеялась и девчонка из 9-го «А»...

К Шалевичу и Хачатурову подошла Майя. Поглядела на их баскетбольные проценты:

— Жалобы турка!

— Знаешь что... — закричал Шалевич. — Знаешь что...

— Ап! — засмеялась Майя и подошла к Лене: — Не кончила?

— Кончила. Письмо пишу. Деловое.

— Бал будет. Слыхала?

Лена убрала письмо. Если подошла Майка, то уже не напишешь ничего.

— Платье сошью. И туфли к нему золотые.

— Как — золотые?

— Покрашу бронзовым порошком. Продается в нефтяных лавках.

— Ну Майка!..

— Старенькие летние туфли покрашу, и все. Эскиз. Только ты молчи.

— Лена, — толкнул Лену сзади Сережа, — электроноволты в эргах?

— Соображай, ребенок! — засмеялась Майка.

— У меня все соки в рост, Маечка.

— Шалевич возьмет в команду. У них с процентами что-то.

— Опять! — вскипел Шалевич. — Выкатывайся из класса и не мешай...

— «На тебе сошелся клином белый свет...» — пропела Майка.

Потом снова начала говорить Лене о платье и туфлях.

— Летом у меня были сиреневые с полосатым каблук. Это я сама. Акварельными красками.

— О чем вы здесь, девочки? — подсела на край парты Жирафчик. Она тоже закончила работу.

— О платье. Для бала.

— Придумай для меня платье, Майя.

Сзади спросил Сережа:

— Поправочный коэффициент четыре в последнем вопросе?

— Четыре,— быстро сказала Майка.— И как только тебе доверили в банк ходить?

— А я там палец прикладываю.

— Платье видела в журнале мод,— продолжала Майка.— Из темно-желтых кружев и белых. И бусы сделаны в тон: половина низки белая, половина — темно-желтая. А пуловер видела — черный с красным по бокам. Руки опущены — красного не видно. Поднимаешь руки — видно... И неожиданно получается.— Майка развела руки, чтобы было понятно, где по бокам красное и как это видно.

— Научусь вязать,— сказала Жирафчик.— Моя мечта.

— Свитер еще, с рисунками с картин Пикассо.

— Меня все это не волнует,— сказала Лена.

— Что ты? — удивилась Жирафчик.

— Какая-то равнодушная. Не знаю.

— Может быть, и бал не волнует?

Бал волнует.

— Тебя, Ленка, я одену — любишь или не любишь одеваться. И Жирафчику милому придумаю что-нибудь!

— Работаете над внепрограммными темами? — сказал Сережа.

— Молчи, коэффициент!

Майка учится легко, и все у нее в жизни всегда легко — ап!..

13

Работали весело — выносили из класса старые парты и ставили вместо них новые. Это были уже не парты, а современные столы из светлого полированного дерева.

Менялась мебель и в каптерке. Появились новые шкафы, скамеечки, которые вращаются, верстак, стеллаж для папок и чертежей. Приборы по термодинамике, скорости света, интенсивности излучения частиц.

Завхоз Любовь Егоровна переживала: сколько потрачено денег!..

— Деньги надо тратить,— утешали ее ребята.— Народ-нохозяйственный оборот!

Старые парты складывали во дворе. Их скопилось много из всех классов. Они стояли высокой горой.

В классе к каждому столу подводили электричество,

чтобы можно было включать различные приборы. Руководил монтажом Витя. В этом он разбирался: недаром полностью электрифицировал класс своих малышек. Даже из роно приезжали и смотрели: дополнительное освещение доски, розетка для фильмоскопа, импульсная лампа, которая включалась на ночь и убивала микробы, дезинфицировала класс. Вите помогали тогда заниматься монтажом Юра, Боря и Сережа. Работали с «массами». А Гена Хачатуров попутно занялся преподаванием спорта: надо ведь растить смену. В баскетболе. Начал с того, что взвесил башмаки с ботами, в которых малыши ходили, и выяснил, что каждый ботинок с ботом весит килограмм. Разве вырастишь смену, когда на ногах у нее килограммы!

В 9-м «А» постепенно так увлеклись переоборудованием, что вообще начали делать ремонт. Взяли у Любовь Егоровны кисти, банки с краской (как тот родитель в нейлоновой рубаше) и покрасили двери, подоконники, батареи. Линолеум настелили. Цветной, модный, с рисунками.

Майка говорила: «Пикассо. Эстетика быта».

Оставили только старую доску, хотя очень хотелось заменить на новую, зеленую. Пикассо так Пикассо!..

Но Любовь Егоровна все-таки доказала, что зеленая доска — это лишние затраты, и ребята уступили.

И в других классах начали ремонтировать, что-то перестраивать. В кабинете химии у Татьяны Акимовны «усовершенствовали» периодическую таблицу: сделали фотографии с портретом Берцелиуса, Глаубера, Деви, Фаворского, Ленца, Бора и приклеили около элементов в таблице. Очень здорово получилось — настоящее наглядное пособие.

В классе математики Ольга Борисовна повесила высказывания. Глаусс: «Арифметика — царица математики». Пушкин: «Вдохновение нужно в поэзии, как в геометрии». Ломоносов: «Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит». Галилей: «Математика — наука опасная: она разоблачает обманы и просчеты».

Юра был уверен, что это не обошлось без тетрадки Лены.

И вдруг случилось то, чего уже никто не ожидал: Вадим Нестерович потребовал у Веры Николаевны, чтобы

был организован кабинет обществоведения. И должна быть написана история школы. А история у школы есть. Это может подтвердить сама Вера Николаевна, настаивал Вадим Нестерович. Она здесь училась и многое знает. А Виктор Троицкий? Он со своим юным отрядом собирает материалы об учениках, которые участвовали в Отечественной войне. «Вы собираете, Виктор?» Тыбик сказал: да, собирает. У него есть гвардейские значки, письма, нашивки за ранения, фотографии.

Собранные экспонаты будут храниться в комитете комсомола.

Лось проявлял теперь интерес ко всему новому, хотя и продолжал соблюдать какую-то сдержанность. Не отказался до конца от своих принципов обыкновенного человека, обыкновенного учителя. Новое еще не обрело для него прочную и оправданную форму. Но жизнь школы тормозила его и даже веселила. Он вместе со всеми смеялся, когда Витин отряд принес из театра царский трон.

С этим тронном началась потом история для истории школы.

Никто не знал, куда его поставить, чтобы случайно не сломать. Ребята постарше начали всем его показывать. Все садились, примерялись. А сзади ходил артист, который должен был играть царя в сказке, и требовал, чтобы старшие отдали трон, потому что он, сам «царь», ни разу еще на нем не сидел.

Трон в конце концов забрала Любовь Егоровна и заперла на складе.

Представление сказки должно было состояться на приступочке в 9-м «А».

Витя занимался репетициями. Но пока без трона, чтобы не таскать со склада и на склад. И «царь» пока сидел на обыкновенном стуле и очень горевал.

Майка приставала к Вите — она сыграет в сказке царицу-мать. Платье для бала готовится и вполне сойдет для царицы. Тем более Борис так и не написал своего «Гамлета».

Витя отмахивался от Майки, но Майка не отставала. Нельзя царицу, тогда, может быть, волшебница нужна или еще кто-нибудь. Она желает поработать с «массами», с «начальной школой». У нее проснулось сознание.

Лена слушала Майку и смеялась. Она и сама была не

прочь посидеть на троне в длинном платье, и чтобы перчатки выше локтя, и на перчатках браслеты. И чтобы туфли золотые, даже из нефтелавки. И пускай Юра смотрит, удивленный и притихший. Пускай восторгается, говорит стихами, теми самыми хотя бы, которыми написал сочинение по заданию Александры Викторовны.

В класс пришла начальная школа, которая должна была репетировать сказку, и собственноручно притащила трон. «Царь», очевидно, их заставил. Надоело ему сидеть на стуле. Добился наконец своего.

Майка сказала Вите:

— Ну и занимайся просветительством.

Ей нравился Тыбик. Лена это знала. И Майка сердилась на Витю, что он вечно возится с малышами. А теперь еще этот царский трон появился...

— Ты куда сейчас? — спросила она Лену.

— К Антонине Дмитриевне. Василий Тихонович расписание сбил.

Антонину Дмитриевну Лена нашла возле ящика «вопросов и ответов». Здесь были и Вера Николаевна, и Василий Тихонович, и Лось. Перед ними выступал Шалевич. Вертелся, подпрыгивал, клал что-то на голову. Это он оправдывался за очередное поражение баскетбольной команды.

Вера Николаевна смеялась. Громко, как девчонка из 9-го «А». И Антонина Дмитриевна смеялась, но как завуч, потому что стыдливо прикрывала рот дневником школы, с которым опять, наверное, шла к Василию Тихоновичу выяснять, почему он очередной своей резолюцией подменил Веру Николаевну.

Василий Тихонович недавно сказал Антонине Дмитриевне:

— Беспокойтесь за авторитет директора, посадите ее на царский трон.

А когда встретил в коридоре Любовь Егоровну, шепнул ей, что Антонина Дмитриевна якобы велела царский трон поставить в кабинет к Вере Николаевне. Там для трона надежное место. Любовь Егоровна поверила и заставила ребят нести трон к Вере Николаевне.

После этого случая Любовь Егоровна обиделась на Василия Тихоновича и даже отказалась для его нового кабинета доставать еще кое-что из оборудования. Но надо

знать Василия Тихоновича: он отправился к Любове Егоровне мириться в тот самый день, когда она составляла ведомость на зарплату по новой тарификации и была, конечно, в прекрасном настроении. Василий Тихонович тут же помирился с ней, а вскоре получил и дополнительное оборудование.

Лена решила сейчас не спрашивать у Антонины Дмитриевны в отношении физики, потому что хватит и того, что Василий Тихонович огорчен проигрышем баскетбольной команды. А тут еще ему придется поспорить с Антониной Дмитриевной и опять огорчиться, что она вроде бы симпатичная женщина, но педант. Хотя и сам Василий Тихонович понимает, что в работе завуча должен быть педантизм.

Василий Тихонович увидел Лену, отозвал в сторону и сказал, что в конце недели будет сводный урок для девятых и десятых классов. В актовом зале. Приедет профессор Зайцев. Неужели тот самый, которому Инна сдавала курсовую работу?.. Любопытно будет у него спросить об этом... линейном ускорителе. Может быть, скажет об Инне что-нибудь? Старост других классов Василий Тихонович, оказывается, уже предупредил. Теперь говорит ей.

Лена улыбнулась.

— Ты что?

Лена сказала, что теперь Василий Тихонович подменяет Антонину Дмитриевну.

— Надо в каптерке кое-что подобрать для встречи с профессором. Приборы, таблицы. Собирался заняться, да вот этот...— Василий Тихонович показал на Шалевича, — расстроил меня. Пойдем, поможешь.

И они пошли по коридору к классу. На пути попался кто-то из баскетбольной команды. Увидел физика и мгновенно исчез. Все знали, как он болезненно относится к спортивным неудачам.

Когда Лена и Василий Тихонович вошли в класс, то в классе уже не было начальной школы, а была Майка. Она сидела на царском троне. И был еще в классе Витя, который сидел на стуле и слушал то, что говорила ему Майка. Она, конечно, прервала репетицию, выгнала «царя» и захватила трон.

Лена незаметно от Майки подмигнула Вите и тихонько сказала:

— Плохи твои дела, Витя.
Тыбик смущенно улыбнулся в ответ.
А Василий Тихонович, когда увидел трон, сказал:
— Он уже здесь.
Майка весело крикнула:
— А правда он мне идет, Василий Тихонович?
— Кто?
— Трон.
— Н-да,— сказал Василий Тихонович.— Плохи твои дела, Витя.
Василий Тихонович услышал слова Лены. Понимает! Хитрый старик.

14

Тетя Галя, растерянная, стояла перед Таисией Андреевнй.

— Вы знали, что он уедет?

— Я не знала.

Тетя Галя действительно не знала, для чего Юра взял у нее деньги. Сказал — вскоре отдаст. Вот и все. Но разве сейчас можно было убедить в этом Таисию Андреевну? Она была уверена, что и Лена помогала Юре уехать к отцу, ну, если не помогала, то знает, во всяком случае, для чего он это сделал. Таисия Андреевна послала в школу к Лене Ивана Никитовича.

Лена заполняла дневники. Сидела одна, грустная, в классе. Юры не было уже несколько дней. Лена звонила к нему домой (она староста и должна знать, почему учащиеся пропускают занятия), но к телефону все время подходила Таисия Андреевна, и Лене не хотелось с ней говорить.

За Леной в класс прибежал «царь», сказал, что ее спрашивают внизу, просят спуститься.

Лена подскочила к окну, глянула вниз во двор, думала, что это наконец Юра. Ждет ее. Он часто исчезал и потом появлялся. Он ведь такой. Уплыл один на речном трамвае и где-то провел два дня, на каком-то острове. Все переволновались дома, а он вернулся и пришел прямо в школу. Вызвал вот так Лену. Может быть, и сейчас сидел на каком-нибудь острове?..

Во дворе Юры не было. Лена побежала вниз. Внизу

стоял Иван Никитович и разглядывал стенгазету, которую они недавно выпустили: сатирический листок.

Иван Никитович кивнул и сказал:

— Простите, вы не сможете пройти к нам домой?

— Юра просил?

— Таисия Андреевна вас просит зайти.

— Я сейчас.

Лена поднялась снова в класс, взяла журнал и дневники и понесла в канцелярию. Канцелярия была заперта. Лена заглянула в кабинет к Вере Николаевне:

— Я положу у вас.

У Веры Николаевны стоял старый шкаф (из каптерки), в который учителя складывали теперь свои учебные вещи, когда канцелярия была закрыта. Вера Николаевна допоздна сидела в школе.

— Что-то с Юрой случилось,— сказала Лена. Она понимала, что должна сказать об этом Вере Николаевне.— Иван Никитович пришел за мной.

— Юра давно в школу не ходит?

— Со среды. Иван Никитович говорит, что Юра уехал к отцу.

Лена и Иван Никитович вышли за ворота школы. Лена машинально взглянула на окно Веры Николаевны. Вера Николаевна стояла в окне и смотрела им вслед. И Лена поняла, что она идет узнавать о Юре не только от себя лично, но и от Веры Николаевны. Лена даже забыла, что Иван Никитович сказал, что Таисия Андреевна сама хочет что-то узнать от Лены о Юре...

15

С каждым днем все ближе школьный бал.

Ответственными комитет комсомола назначил Нину Гриценко и Артема.

Заказали в цветочном магазине цветы — тюльпаны и левкой. Цветы дорогие, самые лучшие. Купили всякие смешные игрушки из дерева, керамики и черного металла. Сувениры для беспроигрышной лотереи. Купили еще бенгальский огонь и хлопушки. В особенности все обрадовались хлопушкам, потому что они были заряжены «сюрпризами».

Татьяна Акимовна, когда узнала, что купили бенгальский огонь, предложила сделать самим «мерцающие звезды». Немедленно нашлись добровольцы, которые заперлись в химическом кабинете и приступили к изготовлению «звезд».

Лена-жирафчик попросила учителей не приходить с утра в нарядных платьях, а прийти вечером, чтобы чувствовалось, что они пришли на бал. С утра в школе еще рабочее настроение, отметки текущие будут ставить. Ольга Борисовна засмеялась: обязательно!

Предложение Жирафчика всем понравилось. И Вера Николаевна тоже сказала, что это правильно. И только Василий Тихонович запротестовал: он будет в своем обычном костюме и днем и вечером. Потому что привык к нему. А вот отметок он в этот день ставить не намерен! Бал так бал! Да-с!.. Миша Воркутинский оценил это как человеколюбие.

Артем достал у бабушки Фроси настоящий самовар и древесных углей: вместо традиционного кофе будет русский чай. Зав. сектором культмассовой работы. Вот он, конечный авторитет! Самовар Любовь Егоровна заперла на складе, как и царский трон.

Ребята решили записать на магнитофон музыку для танцев. Новую. Музыку запишут Боря и Сережа. Пойдут к Майке. У нее много пластинок. Майка сказала, что принесет пластинки в школу. Но ребята сказали: не надо, лучше перепишут. А то можно случайно разбить. Бал все-таки!

Майке очень хотелось, чтобы пришел переписывать пластинки Витя. И тут ей помогла Лена. Узнала день, когда Боря и Сережа собирались к Майке, и тоже пошла и привела с собой Витю. А потом незаметно ушла без Вити. Это Майя для него надевает свои «аляски» и шарфики. Гладит волосы утюгом. Платье на бал готовит. А Витя, он ничего не видит. Или делает вид, что не видит, не замечает.

Если он не с Леной и Юрой, то возится с малышами. Все говорят, что Вите надо идти в педагогический институт. Он и сам об этом подумывает. Вера Николаевна сказала, что педсовет выдаст ему специальную производственную характеристику.

Витя в своей работе с малышами прошел через все:

через подтрунивания, насмешки, снисходительные улыбки, через дружеские шаржи и карикатуры в сатирическом листке: «Кому каждая подворотня в районе говорит «здравствуй»?»

Майка, та просто негодовала, если шла с Витей. Малыши здоровались, а потом говорили:

— Можно с тобой, Витя, пройтись?

Один раз столько набралось этой начальной школы, что Майка от злости впрыгнула на парапет набережной и побежала.

— И ты думаешь, он за меня испугался? — рассказывала потом Майка. — Нет. За них. «Непедагогично. Будут подражать и тоже лазить». Идет и говорит: «Брось ретроспективный взгляд на свой поступок...» А я говорю: «Не буду бросать никаких взглядов». Применила прессинг против его компании!

...Ретроспективный взгляд... Юра теперь далеко. У отца. Какое он примет решение? Останется или вернется? Там сейчас друзья Веры Николаевны и Григория Петровича. Случайно выяснилось. Бывшие ученики бывшего девятого «А». Строят электростанцию на берегу моря.

Лена видела, как в школу пришла Таисия Андреевна. После разговора с Леной. Очень долгого и грустного. Лена впервые пожалела Таисию Андреевну. Неожиданно для себя. Таисия Андреевна сказала, что в свое время не помогла Григорию Петровичу, а теперь не может помочь сыну. Лена ожидала, что Таисия Андреевна будет сердиться, даже обвинять Лену, но Таисия Андреевна вдруг заговорила о себе. Она вмешалась в чужую жизнь, а вмешиваться нельзя. В чужую дружбу, в чужую любовь...

— Нельзя! Нельзя! — повторяла она с каким-то отчаянием. — Нельзя ничего разрушать!..

Лена сидела робкая. Юрина мама впервые с ней разговаривала, и вот так. Обычно не замечала. Это в лучшем случае. И Лена старалась ходить к Юре в дом как можно реже. А теперь вот сидит, когда Юры нет, когда он ушел отсюда, и слушает Таисию Андреевну. И понимает, что нужна сейчас Таисии Андреевне.

— Иван Никитович считает, что виновных нет. А я знаю, что виновата я! И сказала об этом Юре! Пусть принимает решение, какое найдет нужным...

— Почему вы никогда не приходите к нам в школу?— вдруг спросила Лена.

Таисию Андреевну удивил вопрос. Неужели эта девочка не поняла, о чем ей только что она говорила?

— Я виновата не только перед Юриным отцом.

— Я знаю. А вы все-таки придите,— настаивала Лена.— Вам будет легче...

И Таисия Андреевна пришла. И Лена видела, как это было. Сняла шубу в раздевалке. «Бибифок». Во всяком случае, Лена такой представляет себе эту модную шубу. У Таисии Андреевны шуба должна быть самой модной.

В раздевалке был Вадим Нестерович. Он спросил у Таисии Андреевны:

— Вы к кому?

— К директору. Я мать Юрия Лекомцева.

— Вам давно следовало прийти.

— Да,— покорно ответила Таисия Андреевна.

Лена испугалась — вдруг Лось скажет еще что-нибудь такое, некстати. Ведь он ничего не знает...

Но Вадим Нестерович ничего больше не успел сказать, потому что с криком и воем прибежали в раздевалку малыши из группы продленного дня. Вадим Нестерович спустился вниз, чтобы присутствовать при одевании маленьких. И ему пришлось вмешаться и наводить порядок. А Лена спустилась вниз, потому что из окна увидела Таисию Андреевну. Хотела к ней подойти, но помешал Лось. И Лена как-то растерялась и не подошла.

Спустился в раздевалку и Витя. Помогал в какой-то группе продленного дня, создавал, очевидно, новую постановку. Сказку уже «сыграли», и трон был возвращен в театр.

Лена хотела поговорить с Витей о Таисии Андреевне, но когда ты окружен начальной школой, толком не поговорить. Необходим прессинг, Майка права.

Лена идет одна из школы.

Устала. Вместе с Варей они переделали кучу дел: помогали Антонине Дмитриевне переписать расписание, привели в порядок ведомость по сбору комсомольских взно-

сов, а потом пришел уполномоченный по вторсырью и Лена объяснялась с ним (ей поручил Витя, потому что спешно куда-то ушел), сдавала тюки макулатуры, которую собрали его малыши. Похоже, они тоже начали заниматься финансовыми операциями.

Попробовала сегодня рассказать классу, куда и зачем уехал Юра. Хотела, чтобы это сделал Витя, но потом решила сама. Лучше ее никто не объяснит. И Варя посоветовала. А может быть, Вера Николаевна сказала Варе, чтобы так было? Лене не сказала, а Варе сказала? Потому что Вера Николаевна сама никогда не говорила о Юре с Леной.

Класс слушал внимательно и напряженно. Надо решать, что делать. Юра пропускает занятия «без оправдательных причин». А тут в «Комсомольской правде» начали еще обсуждать какого-то «конфликтующего Пашку» из одной московской школы. Этот «конфликтующий Пашка» своим поведением очень напоминал Юру. То обзинул класс в узости и пассивности интересов, кричал: «Эй вы, инертники!», то написал домашнее сочинение всего из двух слов: «Нет темы», то, начитавшись непрограммных книг, получал сплошные пятерки, то ничего не читал и получал сплошные двойки. Газета спрашивала: что это — самобытность или тщеславие?

В классе думали вначале, что Юра тоже выкинул свой очередной номер. Он ведь всегда конфликтующий. Но потом поняли, что Юра в настоящем конфликте. И дело здесь не в самобытности или тщеславии. Даже Сашка выступил за Юру:

— Человек должен сам понять свою жизнь целиком, без всяких поправочных коэффициентов!

А Жирафчик встала и сказала:

— Юра все преодолееет. Юра... он... — но тут она, смущенная, замолкла.

Класс постановил: не выносить никакого решения, ожидать, что Юра сам предпримет.

Юра сильный. Лена знает и верит в него. И ребята верят. Они его тоже знают. И поэтому вынесли такое решение. Сказали Вере Николаевне.

...Большой Каменный мост горит голубоватыми огнями. Кружит метель. Снег летит густой, быстрый. Сегодня его не унесешь в газетах!

Лена пла и смеялась. Она верила в хорошее. ВВ — Весьма Вероятно.

Все бегают, совещаются в отношении бала. Приглашен духовой оркестр. Лось по своей инициативе связался с училищем военных дирижеров, и оттуда придут курсанты, у которых сейчас практика на духовых инструментах.

Майка веселилась:

— Я говорила — Вадим Нестерович душка! Пригласил военных!

Права Вера Николаевна — Лось человек сложный. И понять его нелегко, но надо стремиться это сделать.

Девушки решили обзавестись книжечками для танцев, записывать, кто с кем будет танцевать какой танец. Бал ведь на высшем уровне, без «музыкальных консервов». Магнитофон с пленками теперь не нужен.

Боря предложил просто расписать «все это дело» по дневникам. И пускай «это дело» распишут старосты классов, кто с кем танцует.

В кабинете химии, соблюдая секрет приготовления, по-прежнему создавались «мерцающие звезды». Федерация факиров! Парапсихология! Татьяна Акимовна ходила совсем загадочная и неприступная. Консультировалась о чем-то с Василием Тихоновичем. Межпредметные связи.

А буфетчица Стеша Ивановна купила к «самовару» метров десять на веревочке баранок. Если уж русский чай, то пусть он будет таким, каким положено.

Антонина Дмитриевна смеялась, говорила, что для обслуживания бала надо создать бригаду «натянутых троечников». Это значит: методикой осторожного опроса из двоечников сделать троечников, которые в знак благодарности будут выполнять любую черновую работу. Может быть, даже самовар ставить.

Навстречу Лене попадают Витины малыши. Они повсюду. Только и успеваешь здороваться. Они полюбили Лену, потому что она теперь часто помогает Вите заниматься с ними. А то и сама занимается. Просветительская работа. В особенности ей нравились Маша и Ванечка. Маша уже читала солидные книжки, только с полоской бумаги, которая помогала ей не перескакивать со строки на строку, а Ванечка мечтал быть прачкой. И еще Лене нравится «царь». Он ревновал Витю к Майе, и это было очень

смешно наблюдать. Он даже Майкин прессинг выдерживал.

Возле Театра эстрады толпился народ. Выступали польские артисты.

Лена подошла к сугробу, который дворники наметают на одном и том же месте, и плюхнулась в него. Это был тот самый сугроб, в котором они сидели с Юрой.

Лену окликнул Витя. Он вышел из подъезда театра.

— Ты чего здесь в снегу сидишь?

— Сажу и сажу. А ты чего в театре делал?

— Так. Одну вещь заказал...

— Опять?

Витя ничего не ответил, помог Лене встать из сугроба. Лена взяла портфель и пошла с Витей.

Снег летел густой, быстрый и там, где мост, тоже голубоватый.

17

У дверей кабинета стояла женщина. Она повернулась на звук шагов, и Вера Николаевна тут же ее узнала.

— Я пришла к тебе, — сказала Таисия Андреевна.

— Конечно, — ответила Вера Николаевна, как будто они расстались недавно. Хотя не встречались с тех пор, как все вместе — Тая, Гриша и она — стояли на площади Свердлова на том месте, где когда-то складывали сбитые немецкие самолеты.

Гриша был в старой, без погон шинели и в старых кирзовых сапогах. У ног лежал вещевой мешок.

Никакого разговора тогда не произошло. Вера Николаевна и так все поняла. Она повернулась и пошла. И Гриша даже не окликнул ее, не задержал, не остановил! Он уже не вправе был этого сделать...

Таисия Андреевна вошла в кабинет к Вере Николаевне, села в кресло.

На столе у Веры Николаевны, как всегда, лежали конспекты, дневник школы, который Вера Николаевна взяла из учительской, чтобы просмотреть записи, лежали схемы по внешкольной работе, свежая почта.

Таисия Андреевна сказала:

— Приятно быть учительницей.

— Да, — кивнула Вера Николаевна.

— Это все заново.

— Да. Все заново.

О ком начнет Тая говорить? О себе? О Грише? О Юре?

Вера Николаевна уже позаботилась о Юре. Даже не она, а бывший девятый «А». Друзья ее и Григория. Они помогут Юре и Григорию. Не столько Григорию, сколько Юре, потому что понять отца — это не значит приехать к нему и, может быть, остаться с ним. Это значит — понять его жизнь, трудную и несложившуюся. Понять и свою мать. Их обоих.

У Таисии Андреевны жизнь тоже не сложилась. Она тоже несчастная женщина, если сидит здесь, у Веры Николаевны. Если она пришла к ней.

У каждого свои представления о прошлом. Своя память. У каждого прошлое уже зависит от его настоящего. А если не зависит и он ближе всех к прошлому, то неизвестно, счастлив ли он от того или наоборот — несчастлив, потому что не ушел оттуда, откуда другие уже ушли. А может быть, все-таки счастлив, как был счастлив в своем девятом «А»!..

18

Лена заметила, что дед участвует в каком-то заговоре с Витей и его малышами. «Царь» приходил два раза, и Маша с Ванечкой. Дверь им открыла Лена. Ребята смущались и говорили, что они к деду.

— Проходите.

— Нет. Пусть он выйдет на площадку. Сюда.

— Не выдумывайте! — сердилась Лена.

Но дед, услышав голоса ребят, сам спешил к ним. И потом они стояли на лестничной площадке и о чем-то разговаривали.

— Ты что, дед? — спрашивала Лена, когда ребята уходили.

— Шефство надо мной.

— Странное какое-то шефство.

— Ничего странного. Ты занята, а они свободны и приходят. Газеты, журналы покупают.

Дед совсем недавно рассматривал журнал. Иностранный. Лена заметила: журнал мод. Лена была поражена — зачем он оказался у деда?..

В школе Лена спросила у Майи, где ее журнал, тот самый, который она обещала показать?

— Кто-то взял, когда приходили музыку переписывать.

Лена промолчала. Явно этот журнал она видела у деда, потому что в нем были те самые пуловеры и платья, о которых рассказывала Майя.

— Ты не волнуйся,— сказала Майя.— И без журнала все помню. Скоро начнем шить. Ты, я, Жирафчик, Варя. Все вместе. С закройщицей уже договорилась.

— Я не волнуюсь.

А потом начались и еще странности — пропала из дома материя, которую дед подарил ей на платье.

— Ты что ищешь? — спросил он Лену.

— Материю. Где она?

— У меня ее попросили... — замылся дед. — На время Скоро отдадут.

— Что все-таки происходит?

— Ничего.

— Как ничего? А ну-ка, признавайся!

— Этот взял... «царь»...

— «Царь»? — Лена была совсем поражена. — Зачем, дедушка?

— Сбор у них какой-то, и он взял.

— На вторсырье, что ли? — засмеялась Лена.

Конечно, это был заговор. И Лена в этом больше не сомневалась.

* * *

Любовь Егоровна жаловалась, что она погибает теперь от телефонных звонков. В школу звонили из училища военных дирижеров, из театра, из цветочного магазина, пошивочного ателье, столов заказов и бюро доставок. Требовали к телефону Нину, Витю, Артема, Мишу Воркутинского, Майю... Срочно, немедленно! Вот и изволь отыскивать каждого на перемене.

Витя прикомандировал к Любови Егоровне своих малышей из группы продленного дня. И они бегали по школе — фельдъегери. «Натянутых троечников» Вера Николаевна все-таки запретила создать.

Даже Романушкина требовали часто к телефону. Он доставал для бала огромную доску: Артем придумал под-

весить большие качели, бал ведь будет в физкультурном зале. И после танцев можно будет покачаться на качелях. Зав. культмассовой работой, конечный авторитет...

Стеша Ивановна, кроме десяти метров баранок на веревочке, купила апельсины и конфеты.

Деньги выделил родительский президиум. Сережа Ваганов сходил в банк и получил.

Чем ближе бал, тем Лене становилось грустнее. Она не поддавалась грусти, а становилось грустнее, и все. Юра по-прежнему далеко, где-то там, где рождаются айсберги. И писем от него нет. И вообще никаких сообщений. Письмо Григорию Петровичу Лена так и не послала. Откладывала со дня на день, со дня на день. И правильно, наверное, все-таки сделала. Юра теперь сам поехал к отцу.

Сувениры, викторины, книжечки для танцев, качели, военный оркестр, польские артисты, которые приглашены,— вдруг все это перестало радовать, как радовало совсем недавно. Хотя бы вчера... И нога начала болеть. Лена прихрамывала немного. Даже о платке она как-то не заботится. Материю унес Витя, и ладно. С Майкой, очевидно, о чем-то договаривается.

Но тут Майка сама подошла к Лене, спросила, почему не приносит материю. Уже совсем не остается времени. Что она, в самом деле?

— А разве материя не у тебя?

— Нет, конечно. Откуда у меня?

— А я думала...

— У меня ничего нет.— И Майя убежала, потому что торопилась к телефону: прибегала фельдъегерская связь. Майка теперь даже локти не бережет. И уши у нее не закрыты волосами и торчат неусовершенствованные.

Все мальчишки тоже готовились к балу. Некоторые купили модные галстуки «метелики»—красные и синие. Шалевич попытался отпустить бородку.

— Это что? — спросила Вера Николаевна.

— Орнамент.

— Не смейся людей.

И бородка у Шалевича исчезла; она действительно сместила людей, прозрачная и немощная, хотя для убедительности Шалевич попытался покрасить ее тоже акварельными красками. Сашка-ферматист попросил Варю записать его на первый танец.

— Ты умеешь танцевать?

— В процессе выяснится.

Кто-то сказал, что книжечку принесли и Вере Николаевне и Миша Воркутинский записался на танец. Пришел специально в кабинет на прием и попросил. От имени и по поручению коллектива и... от себя лично. И Вера Николаевна как будто записала его.

Эти книжечки вообще доставили девушкам дополнительные хлопоты, потому что к платьям надо будет пришивать карманчики. Майка распорядилась. А то куда девать? Правда, можно будет еще привязать ленточкой к руке или к поясу, у кого платье будет с поясом.

Лось изъявил желание дежурить во время бала. И это ему поручили: никто лучше его не умеет дежурить. Опять могут произойти какие-нибудь стычки между ним и ребятами — «борьба за свободу». И может быть, опять произойдет потеря контактов, которые уже возникли. Ну, а может быть, и ничего не произойдет. Веру Николаевну попросили договориться с арендаторами (школьное помещение на вечерние часы сдавали в аренду курсам медсестер), чтобы они не занимали школу, когда будет бал.

Вера Николаевна обещала все сделать. Она понимала ребят. В этот вечер школа должна принадлежать им целиком. Антонина Дмитриевна согласилась с Верой Николаевной, и только Любовь Егоровна вздыхала, предвидя все возрастающую статью расходов.

Витя сам сказал Лене, где ее материя: она в театре!.. Да. Витя и его малыши заказали платье в театре у модельеров. Кто же лучше сошьет бальное платье?.. Это ведь не просто ателье...

Журнал мод ребята показывали деду, чтобы тоже принимал участие в выборе фасона. Деду, конечно, почти все платья понравились, а модельеры сказали, что сошьют сами. Журнал им не нужен.

«Царь» и Маша с Ванечкой бегали все время к деду — держали в курсе событий. Платье очень деда интересовало, а он не знал, каким оно получится без журнала.

Лена была тронута подарком. Она понимала, сколько это стоило хлопот. И главное, она поняла, для чего собиралась макулатура. И Лена напала на Витю: какое он имел право так поступить? Зачем он это устроил? К чему?

Витя сказал:

— Хочешь их обидеть? Обижай. Они сами предложили сделать тебе такой подарок. И все сами. Понимаешь? Мечтали об этом! О волшебном платье для тебя! Они твои друзья. И если хочешь обидеть их и меня, то обижай!..

Лена подумала и смирилась.

Витя сказал:

— ДБС! Сегодня платье будет готово!

— Кто же ходил на примерку вместо меня? Не «царь» в самом деле? И не ты?

— Варя ходила. У нее фигура, как твоя. Мы так решили.

— С начальной школой?

— С начальной школой, — смутился Витя.

Славный Тыбик... Ну зачем он ее любит и обижает этим Майю, которая любит его? Почему нельзя устроить все так, чтобы всем всегда было хорошо... Неужели нельзя? Может быть, это как теорема Ферма с «пифагорийскими числами», которую все решают и не могут решить?..

* * *

Лена пишет письмо Юре.

Она думала, он скоро вернется, а он все не возвращается. И неизвестно, что он будет дальше делать, где жить. Мог бы сам написать, хотя бы одно-единственное письмо, но не написал до сих пор. А может быть, ему некогда? Все там новое — и люди и события. Строится электростанция на берегу моря. Будет работать от морских приливов и отливов. И как там у него с Григорием Петровичем? Ведь он поехал и не предупредил его...

И Лена решила сама послать письмо. У нее в семье все просто и ясно (дед и она), а у Юры не просто и не ясно.

Она не написала: «Здравствуй». Они давно договорились, что никогда не будут прощаться и слово «здравствуй» им не нужно. Может быть, Юра поэтому так и уехал? Прощаться не надо... они договорились...

В школе горят старинные фонари. Опробует с мороза инструменты военный духовой оркестр. Приглушенная разноголосица труб зарождает волнение, суету. Девочки

листают, просматривают книжечки с танцами. Мальчики поправляют галстуки «метелики». Приготовлен стол для лотереи, приготовлены «мерцающие звезды». Когда их зажгут, они поднимутся к потолку и будут светиться высоким небом. Современная химия и старинные фонари. Комплекс эпох и ощущений. Подвешены огромные качели на цветных канатах. Расставлены в корзинах тюльпаны и левкои. Дымит во флигеле самовар — русский чай среди баранок и хлопущек. Учителя в нарядных платьях. Гости. Съезд гостей! «Кто там в малиновом берете...»

Неожиданно Лёну вызывают на крыльцо школы. Лёна в бальном платье. В кармане, рядом с книжечкой для танцев, письмо Юре. Ещё не опустила в ящик. Опять медлит, как и с тем, первым, письмом к Григорию Петровичу. Когда пишет письмо — она решительная. А потом робеет, начинает сомневаться, чтобы не сделать кому-нибудь неприятное. И в особенности Юре...

Он стоял на школьном крыльце. Пока ждал, вытоптал в снегу букву «Л». Что это — «Лекомцев»? «Лёша»?

Вера Николаевна знала, что Юра приедет; это она устроила, сообщила бывшему девятому «А», что в школе бал, что Юру очень ждут. И он должен приехать! Прилететь!..

Юра стоял в меховой куртке и в большой меховой шапке. Возмужавший сразу за эти дни. Пил мифическое цельное молоко?

Юра увидел Лёну в бальном платье с большим золотым бантом внизу, на подоле. И причёска была «Босфор» или «Дарданеллы». Юра смотрел удивленный и притихший.

— Юрка? — засмеялась Лёна. — Я написала тебе письмо!

Юра снял меховую куртку и накинул ей на плечи.

— Вот, — сказала Лёна и вытащила из кармана конверт. — Загадала, что отправлю сегодня после бала.

Юра схватил письмо и побежал к почтовому ящику, который был у входа в школу. Бросил письмо в ящик и вернулся.

— Зачем ты это сделал?

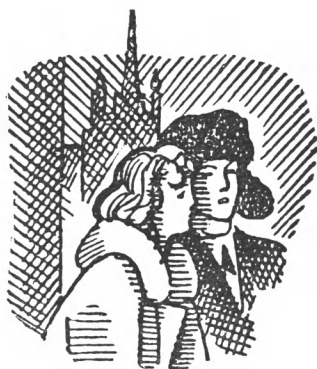
— Письмо мне?

— Да.

— Я его прочту.

— Где?

- Я сейчас нужен отцу. Я решил это.
- А потом?
- Часы бьют пять раз и еще два,— улыбнулся Юра.
- Часы действительно показывали семь — начало бала.
- Когда звонят у дверей, то обыкновенно кто-нибудь есть,— ответила Лена.
- Твое счастливое число? — спросил Юра.
- Лена задумалась.
- Девять.
- Я буду здесь девять раз.
- А потом?
- Ты будешь там девять раз.
- А потом?
- А потом ты придумаешь новое счастливое число.





СВОЕ БУДУЩЕЕ И ПРОШЛОЕ

Она знала, что Виталий хочет говорить с ней о Даше. И произойдет это скоро. Может быть, на днях.

Виталий от волнения будет поправлять галстук, одергивать черный пиджак, в котором не умещаются повзрослевшие плечи, будет хмуриться. Совсем по-детски, по-хорошему хмуриться.

Она думала о себе, вспоминала Николая — как у них все это было. Почти так же.

...Стояли в коридоре. Николай — в клетчатой рубашке и в мятых до невозможности брюках. Она — в красном платье с пояском и в тапочках «спортсменках». Собирались ехать гулять в Серебряный бор.

Вдруг Николай храбро сказал, что хочет поговорить с ее отцом сейчас, и прошел в комнату.

Она видела Николая сквозь стеклянную дверь. Видела, как он, уже лишенный всякой храбрости, застыл посреди-не комнаты в своей клетчатой рубашке и в мятых до невозможности брюках. Видела, как только потом, когда что-то сказал отец, он начал говорить, размахивать руками (он всегда размахивал руками, когда волновался).

А она стояла в коридоре и негромко смеялась, потому что уже давно шепнула отцу, что они любят друг друга и решили пожениться. И что с ним будет говорить Николай. Произойдет это скоро. Может быть, на днях.

...Пожениться они задумали еще тогда, в березовом лесу. Шли к небольшому озеру по одинокой тропинке. Остановились среди берез. Николай остановил — взял ее за руку. А потом в его темных зрачках — совсем близко — она увидела себя.

Даша часто приводит Виталия в дом, и она поняла, что Даша будет женой этого юноши.

Это с ним Даша разговаривает по телефону длинным сбивчивым полупшепотом о чем-то близком и понятном только им двоим. Это для него она носит туфли на высоких тонких каблуках, браслеты с бронзовыми монетками, шьет модные растопорщенные юбки.

Это с ним ей радостно бродить по городу, слушать в концертах музыку, сидеть на бульварах на самых тихих и дальних скамейках или со звонким смехом прятаться от внезапного дождя.

Когда Виталий провожает Дашу и не поднимается наверх в квартиру, они, конечно, стоят на ступеньках подъезда и опять говорят о чем-то близком и понятном только им двоим.

Если кто-нибудь выходит в это время из подъезда, они от смущения замолкают. Даша тонким каблуком начинает водить вдоль каменной ступеньки, а Виталий начинает хмуриться. Совсем по-детски, по-хорошему хмуриться.

Домой Виталий уезжает на чем-нибудь последнем — троллейбусе, автобусе или поезде метро.

Николай тоже уезжал всегда на чем-нибудь последнем. И в тот день сорок первого года он уехал от нее в последнем вагоне эшелона. Впрыгнул уже на ходу.

Она вернулась с вокзала в комнату на Ордынке, где они совсем недавно начали самостоятельную жизнь.

Топили плохо, и было очень холодно. Она присела к столу, положила руки на холодную клеенку.

Наступили сумерки, а потом и ночь.

Ей надо было рано вставать: она работала на оборонном заводе на окраине города. Все женщины тогда работали на оборонных заводах.

Она легла на диван, не раздеваясь. Укутала ноги шерстяным платком.

Она не опустила черную штору затемнения: хотела, чтобы в окно были видны звезды. Так ей казалось, что не одна в комнате. Но белые бумажные полоски, наклеенные на стеклах, перечеркивали звезды.

Даша — невеста Виталия. Ей двадцать один год. Невеста — это слово рядом с молодостью.

А она в двадцать один год узнала слово, которое должно быть очень далеким от молодости.

...Роды случились преждевременные, и все от того слова. Она упала в цеху на пол, потеряла сознание. Она запаивала в большой радиолампе «ЭКМ-500» стеклянный баллон. Осколками стекла порезала лицо и руки.

Ее отнесли в фанерную комнатку, где обычно сидел начальник цеха, и там она родила девочку.

...Эта девочка была единственным, что осталось у нее от Николая. И она все ждала, что Николай появится в девочке — его темные глаза, его волосы, брови, твердая линия рта.

Но девочка была похожа на нее: светлые глаза, мягкие большие губы, веснушки около носа — мелкие, едва заметные, — вот только волосы, может быть, которые крупными витками падали на лоб, были от Николая.

Она назвала ее Дашей.

Николай любил стихи.

Садился верхом на стул, раскрытую книгу клал на спинку стула и начинал вслух читать:

От заката
к облакам рассвета
Пересек я горные края...

Она лежала недалеко от Николая на ковре, подложив под голову ладонь, и слушала:

Легкий светлячок,
 комочек света,
Где ж ты скрылась,
 девочка моя?

За вечерним окном шумели листья деревьев. На топкой занавеске повисли огни уличных фонарей. Между огнями иногда вспыхивали голубые зарницы — их высекали из проводов троллейбусы. Шли, перекликались прохожие.

А Николай все читал, отбрасывал со лба волосы (у него была такая привычка — отбрасывать волосы) или начинал тихонько покачиваться на стуле (тоже была привычка).

В детстве ему запрещали это делать — он сам ей рассказывал, — потому что распатывались, ломались стулья.

А она не запрещала. Она никогда и ничего ему не запрещала.

Денег у них было совсем немного — две стипендии, сложенные вместе.

В тот день, когда получали эти две стипендии, Николай весело кричал: «Вперед, к Филиппову и Елисееву!» И они ехали на улицу Горького в бывшую булочную знаменитого купца Филиппова, покупали московские калачи. И в бывший гастроном знаменитого купца Елисеева, покупали маргарин. Все это можно было, конечно, купить и на Ордынке, но так было интереснее: калачи от Филиппова, маргарин от Елисеева.

Из носильных вещей они почти ничего не покупали.

Летом Николай ходил в своих клетчатых рубашках и в одних и тех же брюках, которые ей изредка удавалось погладить. Зимой — в лыжном костюме.

Она летом ходила в красном платье с пояском и в тапочках «спортсменках». Зимой — в дешевом бобриковом пальто и в коротеньких суконных ботах с застежками.

Николай помогал снимать эти боты, когда откуда-нибудь возвращались, потому что у нее всегда замерзали руки. Он становился на одно колено и начинал возиться

с застежками. Теперь таких бот не делают: считают старомодными.

...Она продолжала работать на заводе — запаивать стеклянные баллоны в больших радиолампах «ЭКМ-500».

Дочка часто болела. Маленькие дети часто болеют.

Она сидела возле нее и краем полотенца, смоченным в уксусе, вытирала грудь, худенькую, как у мальчика. Поила микстурами. Расчесывала волосы — крупные влажные витки.

Вечером загораживала газетой лампу, снимала туфли и неслышно ходила по ковру. Иногда останавливалась перед зеркалом.

Она красивая? Нет. Обыкновенная. Только Николай говорил, что она красивая.

...Осколки стекла оставили глубокие рубцы на щеке и подбородке. Ей говорили — надо сделать пластическую операцию. Совсем несложную. А зачем?

Ей говорили — вы очень еще молодая. А зачем она «очень еще молодая»?

Только Николай имел право взять ее за руку и остановить среди берез. Но он уехал в последнем вагоне эшелона. Впрыгнул уже на ходу.

А потом это слово, от которого сделалось холодно на всю жизнь... Обручальное кольцо надо носить на левой руке.

Кольца никогда не было. Их единственным богатством считается ковер, тот самый, по которому она ходит уже не один год из угла в угол.

Трудным был День Победы.

Кончилось напряжение войны, которое держало в напряжении ее и других таких, как она. Кончилась последняя совсем маленькая, совсем ничтожная надежда, что Николай вернется. Пускай надежда почти без надежды, но она все-таки еще была. А вот теперь кончилась.

Она плакала, забившись головой в подушки. Она опять видела зимний застуженный вокзал, мешки с песком, синие маскировочные лампочки. Слышала стук сцепляемых вагонов.

Николай держит ее лицо в ладонях. Ладони пахнут оттаявшей шинелью. Она хочет к Николаю прижаться,

но мешает автомат, который висит у него на груди. Он упирается ей в грудь. Он между ними.

«Эшелон! Восьмой эшелон отходит!» — кто-то кричит совсем близко над ухом.

Топот сапог, бряцанье котелков, скользкие лестницы, горячее дыхание бегущих и грохот, грохот пустых скамеек: скамейки попадают под ноги и их отбрасывают в сторону.

«Эшелон! Восьмой эшелон!..»

...Она плачет, забившись головой в подушки.

У соседей за стеной громко играет радио. Тогда тоже громко играло радио. Марши. Их начинали передавать с утра.

Марши... Марши... И она среди разбросанных на вокзале скамеек.

...К ней пришли из цеха подруги и увели на улицу к людям. Они знали, что надо увести на улицу к людям, чтобы она была в этот трудный для нее день среди людей.

Даша росла. С ней часто было непросто, в особенности в старших классах. Даше хотелось самой оценивать и понимать жизнь. Она в этом ей не препятствовала, но следила, чтобы вовремя помочь разобраться в том, в чем Даша еще не может правильно разобраться.

Когда она пытается понять не только свою жизнь, но и ее жизнь, жизнь матери. Что? Зачем? К чему?

Когда уже хочется молча с открытыми глазами лежать в темноте или, заупрямившись, отказываться идти в школу. Что? Зачем? К чему?

Была и любовь — первая, горькая, девчоночья. Любовь придуманная, о которой пишут на листках разочарованными книжными словами и прячут эти листки между страницами учебников.

В деньгах они не нуждались. После войны она заочно окончила институт, в котором когда-то училась с Николаем. Работала теперь старшим инженером в конструкторском бюро.

Даша росла. Иногда вдруг становилась порывистой, веселой, а иногда — задумчивой и грустной. Казалось, вся состояла из этих мятежных «вдруг»: к девочке постепенно приходила девушка.

Она это видела в дочери и понимала.

Обняв ее, гладила волосы — крупные витки, успокаивала, говорила с ней обо всем сложном, что в юности представляется сложным.

В воскресные дни увозила за город — к березам и солнцу. Здесь Даша становилась порывистой и веселой. Она и хотела видеть ее больше такой, чем задумчивой и грустной. Это было лучшее Дашино «вдруг».

Очень еще хотела, чтобы Даша поняла, что такое завод, не боялась его. Она верила, что он научит Дашу правильно оценивать и понимать жизнь, научит быть взрослой. И она привела ее на завод, на котором работала когда-то сама. Привела, точно в свою молодость.

Проспект Мира.

Они недавно переехали сюда в новый дом. Вместе с ними переехали старый ковер и старые распатанные стулья. Это ее прошлое. Оно дорого и всегда с ней. Но Даша и все, что связано с Дашей, — любимо и дорого не меньше, чем собственное прошлое.

Тумбочка, которую Даша превратила в туалетный столик. Низкая тахта, на которой она разложила большие яркие подушки. Дашины туфли на высоких тонких каблукках, модные растопорщенные юбки, браслеты с бронзовыми монетками. Дашин смех, длинные и сбивчивые полупшепотом разговоры по телефону, Дашины взволнованные руки у нее на плечах и слова: «Мама, как я счастлива!»

Виталий хочет говорить с ней о Даше.

А Даша ей давно шепнула: «Мама, мы хотим пожениться. И он к тебе придет. Только ты, пожалуйста, помоги ему как-нибудь про все это сказать».

Виталий заберет у нее Дашу. И они уйдут, уедут. Они должны начать свою жизнь где-то там на новом месте — дальневосточный энергогигант.

«Мама, но как же ты будешь одна... — шепчет ей Даша. — Я не хочу, чтобы ты осталась одна. Поедем со мной. Ты старший инженер. Тебе дадут работу».

Они сидели вдвоем у вечернего окна.

Шумели листья деревьев. На тонкой занавеске повисли огни уличных фонарей. Между огнями иногда вспы-

хивали голубые зарницы — их высекали из проводов троллейбусы. Шли, перекликались прохожие.

В такие вечерние часы Николай читал ей стихи, сидел верхом на стуле, а она лежала недалеко от Николая на ковре, подложив под голову ладонь, и слушала.

Я тебя запомнил докрепка,
Ту, что много лет назад
Без упрека и без окрика
Загляделась мне в глаза.

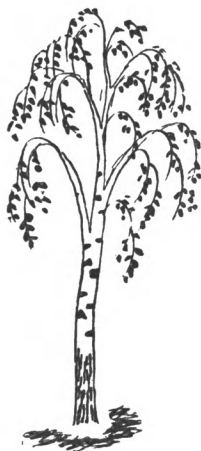
«Поедем, мама».

«Нет, Дашенька. Нет. Ты уезжаешь в свою жизнь. И ты должна начать ее сама. Я тоже начинала ее сама. Так лучше».

«Я понимаю. Но ведь ты остаешься одна...»

«У тебя должно быть свое будущее и прошлое, Дашенька. А у меня оно свое. И я хочу, чтобы ты была сильной».

Виталий заберет Дашу. Они начнут жить где-то там на Дальнем Востоке. Обручальное кольцо на правой руке — пусть оно будет у Даши. И всегда только на правой руке. И пусть Даша никогда не увидит вокзала с маскировочными лампочками, не услышит грохота разбрасываемых скамеек.





МЛАДШАЯ

1

— Катя, просыпайся. Ну же, Катюша!

Катя открыла глаза.

Над ней склонилась няня Устя в белом наголовке, под которым уложены гладкие волосы, сколотые кленовым гребнем. От ситцевого крапчатого передника с кружевной выпушкой пахнет мятой.

Устя много лет живет в доме. Она нянчила еще Катиного брата Митю. Он был инженером и погиб при испытании самолета «Летающее крыло».

Катя знает брата по фотографии, которая висит в кабинете отца.

Митя был сфотографирован на аэродроме в зимней летной куртке с откинутым на плечи капюшоном. За поясом — перчатки из волчьего меха.

У Мити такая же, как у Кати, припухшая нижняя губа, ровный небольшой нос и светлые, с мягким прищуром глаза. Только брови у Кати узкие и короткие, а у Мити — широкие и длинные, как говорят в доме — отцовские.

Гибель Мити сильно подействовала на Никодима Родионовича, Катиного отца, профессора-авиаконструктора.

Устя рассказывает, что после катастрофы с «крылом» Никодим Родионович почти перестал бывать дома и на уме у него только «турбина со сквозняком». Устя называет так аэродинамическую трубу, в которой вентиляторы гонят воздух на модель самолета новой конструкции, чтобы определить воздушные силы, действующие на будущий самолет в полете.

— Ах ты, заспанаша! — говорит Устя и легонько щечечет шею Катюши морщинистыми теплыми пальцами, от которых тоже всегда пахнет мятой. — Пробуждайся, ластушка!

Кате нравится слушать Устю. Никто в семье не умеет говорить с Катей такими живыми словами-приговорочками: хочется их потрогать, поддержать в ладонях.

Устя раздвигает на окне занавески, и весеннее солнце зажигает никель Катиной кровати и две зеленые литые пуговицы у настенного, деревенской стрижки, ковра.

Пуговицы — это глаза волка-овчара. Волк спрятался в кустах и подстерегает девочку с корзинкой из желтых соломчатых стеблей, в сарафане с лифом и в ботинках с тесемчатыми петлями на задниках.

Этот ковер подарил Кате Сергей Родионович, старший брат отца, директор МТС в Журавлихе, на Смоленщине.

— Что же ты, солныш мой, впросонках-то лежишь? В доме уже все поднялись. Пора и тебе, нечесе, приумыться и приукраситься.

Окно забрызгано талой водой. Каждая капля полна весеннего блеска, отчего стекла горят влажным, слепящим огнем. По улице проезжают автомобили и троллейбусы, разбрасывают сырой, тяжелый снег. С крыши обламываются ледяные козырьки.

Не напрасно мама предупреждает Катю: весной надо ходить подальше от стен домов.

— И мама встала? — спрашивает Катя.

— Нет, не встала. Гляди, день какой погодный народился! Хотя и на воробыный скок, а против вчерашнего света прибавилось.

Про отца Катя не спрашивает: отец и в воскресные дни (а сегодня воскресенье) встает очень рано, запирается в кабинете и работает. Никто не смеет его беспокоить, даже мама.

В коридоре изредка потрескивает паркет. Это, соблюдая осторожность, ходят папин младший брат Арсений и мамина сестра Лариса. Еще, случается, пройдет Ванда Егоровна, Катина бабушка со стороны матери, которую Катя должна называть по имени и отчеству — Ванда Егоровна, — но никак не бабушкой.

По утрам Ванда Егоровна ходит редко. Сидит на диване, листает старые журналы мод или справочник по целебным растениям. Она часто советуется с докторами-гомеопатами о своих почечных лоханках. Катя пыталась выяснить у Ванды Егоровны, что такое почечные лоханки, но так и не выяснила.

С тех пор как Никодим Родионович получил эту большую, удобную квартиру, его младший брат Арсений, мамина сестра Лариса и бабушка Ванда Егоровна незаметно сделали ее жильцами. Стелили себе на диване, на тахте, на раскладной брезентовой кровати.

Утром тащили из комнат перины, тюфяки, подушки — прятали в коридоре в стенные шкафы. Арсений бродил по квартире, подбирал выпавшие из перин и подушек перья: Ирина Петровна, Катина мать, не терпела на полу мусора. Устя делала вид, что не замечает перьев, и не спешила подметать полы. Арсений складывал их в карман пиджака и уносил на работу.

Заселению квартиры родственниками Никодим Родионович значения не придавал, вообще мало интересовался домом. Родственников собрала Ирина Петровна. Она привыкла повелевать, а для этого нужны были люди.

В столовой отворялись и затворялись створки буфета, звякала посуда, хлопала дверца холодильника: готовились к завтраку. Это, конечно, Витоша, мамина подруга. Витоша постоянно бывает в доме, помогает Усте по хозяйству.

Витоша вся какая-то тихая, робкая: ходит тихо, глаза у нее тихие, слова говорит тихие и улыбается тоже тихо, про себя.

Катя не спешит одеваться: мама еще не оделась, а без мамы завтракать не начнут, хотя отец и сердится, когда опаздывают к столу.

Арсений, Лариса и Ванда Егоровна стараются быть точными. Исключение составляет Сергей Родионович, когда приезжает погостить в Москву. Живет в доме своим распорядком и поступает так, как ему удобнее.

Кате он понятнее и ближе всех родственников: с ним интересно, весело и шумно. Он никого и ничего не боится. Громко и с удовольствием смеется. Громко двигает стульями и креслами. Разговаривает по ночам по междугородному телефону со своей машинно-тракторной станцией, спрашивает о ремонте плугов и сеялок, о простое тракторов. Сердито кричит: «Лиходеи! Пшеничные души!» Покупает Кате леденцовые конфеты, которые Катя очень любит, а мама запрещает их есть, называет стеклянными.

Арсений, Лариса и бабушка Ванда Егоровна — люди скучные: по дому ходят бесшумно, прячутся на кухне или у Кати в комнате, когда с работы приезжает отец, усталый, медлительный и насмешливый по отношению к домочадцам, кроме мамы и Усти.

В воскресные дни, во время завтрака или обеда, все молчат и ждут, что скажет отец. Вечная настороженность, выжидание чего-то.

За Катей так и следят — в особенности Лариса, — чтобы правильно держала ложку, хлеб брала рукой, не дула на горячий чай и не крошила в него печенье. Нет конца придиркам и поучениям. Говорится это пронзительным шепотом, от которого долго свербит в ушах.

Тоскливо, очень тоскливо сидеть за воскресным столом. Куда лучше в будние дни: отец уезжает на работу, Арсений — тоже, Лариса и мама уходят в город, в магазины, а Ванда Егоровна — к врачу.

Катя ест на кухне. Кормит ее Устя. Можно дуть на горячий чай и крошить в него печенье, разговаривать с Устей, вскакивать со стула и подбегать к окну, посмотреть, чему так громко смеются во дворе ребята.

После завтрака можно помогать Усте готовить обед: мыть под краном картошку, привязывать за нитку лукови-

цу, чтобы окунуть в суп, поварить сколько надо и вытащить. Отжимать клюкву на кисель и, между делом, похитить из кулька и сгрызть макаронину.

Кате хорошо, когда приезжает Сергей Родионович, привозит ей проявленные на солнце вишни-третики, печатный в сотах мед-липец, белые кувшинки-купавки.

Отец любит дядю Сережу. Никогда над ним не подшучивает. Сам дядя Сережа подшучивает над отцом, над его полнотой. Проует мускулы на руках, на груди.

Мама на все шуточки дяди Сережи поднимает брови, улыбается. Но Катя видит: улыбаются одни мамины губы, а глаза не улыбаются. Глаза точно ждут, что дядя Сережа сделает что-нибудь против правил приличия. И курит дядя Сережа очень крепкий табак. Называет его дубник-твердык. Откроет на кухне форточку, станет возле нее и выпускает дым на улицу.

Арсений, Лариса и Ванда Егоровна сторонятся Сергея Родионовича. Он про них говорит, когда прячутся от отца:

— Испугались верблюдь, разбежались кто кудь!

Катя запомнила смешные слова про «верблюдь» и сказала Ларисе. Лариса ударила Катю по губам. Это было настолько неожиданно и необычно, что Катя едва не разревелась, но сдержалась и еще больше прониклась к Ларисе ненавистью.

Через дядю Сережу Катя узнаёт о настоящей жизни, которая окружает их квартиру, их город. Растет Катя одна. Никуда не ездила, кроме дачи. В детский сад ее не водят (мама боится инфекций), играть с ребятами во дворе особенно не разрешают (опять инфекции), а если и разрешают, то под чьим-нибудь надзором.

Она одна, маленькая Катя, а смотрят за ней мама, Лариса, Арсений, Ванда Егоровна, Устя. Только отец не смотрит: занят в конструкторском бюро.

Весна. Катя любит весну. Потом будет лето. И лето Катя любит. Но она ждет осень, потому что осенью пойдет в школу.

Недавно она случайно услышала разговор между матерью и отцом. Мама предлагала Катю в этом году в школу не записывать: Катя должна окрепнуть и набраться сил, а потом ее следует поддержать еще дома и подготовить сразу во второй класс. Но отец заявил, что подобные выверты (так и сказал: «выверты») ни к чему. Если детям

назначено учиться с семи лет в школе — значит, все обязаны это делать.

Катя встала с постели и в длинной ночной рубашке села на стул. Ночная рубашка сохраняла тепло, и сидеть было приятно. Волк-овчар продолжал сверкать глазами, следить за девочкой в сарафане. Катя нехотя начала одеваться. Платье, чулки, туфли были еще сонными, неподатливыми: рукава у платья путались, петли не находили пуговиц, пряжки у туфель упрямились, не застегивались.

Вошла Лариса и повела Катю умываться.

Катя почистила зубы, умылась. Лариса взяла металлическую щетку и начала причесывать Катины волосы, навивать их на пальцы, укладывать. Катя терпеливо стояла на табуретке, чтобы Лариса видела ее голову в зеркале.

— Перестань сутулиться! Плечи держи ровно и не три глаза.

Ларисе надо сделать Кате замечание, она без этого не может.

Лариса — бывшая актриса. Выступала в областных театрах. Но потом Лариса оставила областные театры и переехала в Москву. В Москве ее в театр не приняли, хотя с ней ходила даже мама. И Лариса занялась составлением мазей и кремов, которые у нее покупали знакомые.

В ванной комнате в отдельном шкафчике хранились банки, лоточки, фаянсовые кастрюльки, заполненные белой ртутью, свиным салом, селитрой, резорцином для Ларисиных снадобий.

Лариса еще раз осмотрела Катю и повела в столовую.

В столовой уже сидели Арсений и Ванда Егоровна. Витюша резала на дощечке сыр. Возле отцовского места за столом лежал свежий номер журнала «Огонек», который он читал во время завтрака.

Из спальни вышла мама. Коснулась Катиного лба губами, спросила, как дочка спала, не болит ли что-нибудь. Постучала в дверь отцовского кабинета:

— Никодим! Завтрак на столе!

Послышался шум отодвигаемого кресла, кашель, и в шерстяной куртке показался отец. Он нес коробку папирос и спички. Проходя к своему месту, кивнул домочадцам.

Катя взглянула на отца, но отец уже сел, положил на угол стола папиросы и спички, раскрыл журнал.

Завтрак начался.

Большое удовольствие — побывать в кабинете отца. Это удается, когда дома никого нет, кроме Усти. Катя отворяет высокую дверь, входит в кабинет. С Устей у Кати договор: Катя ничего не тронет.

Первое, что поражает Катю, — книги. Они стоят на стеллажах у стен, разбросаны в креслах, на письменном столе, на подоконнике. Раскрытые и закрытые, с бумажными закладками и без бумажных закладок. Есть огромные, «аршинные», с медными защелками. Кате их даже не поднять. Названия некоторых книг она уже выучила: «Воздушные путешествия Глешера, Фламариона и Тиссандье», «Сверхвысотные полеты», «Автожир, планер, геликоптер».

На столе у отца вместо пепельницы стоит поршень от авиационного мотора.

На изогнутых эбонитовых подставках укреплены модели самолетов.

Бумаг на столе — гора. Счетные таблицы (глянень, а в них сплошные цифры), вырезки из газет и журналов, есть и схемы и чертежи.

Это дипломные работы студентов, потому что схемы и чертежи новых самолетов, которые разрабатывают инженеры «группы общих видов», хранятся в конструкторском бюро.

Под портретом Мити на дубовом столике лежат светящиеся часы: циферблат черный, а цифры и стрелки покрыты фосфором.

Часы из «Летающего крыла», на котором разбился Митя. От мамы Катя слышала, что у Мити в полете испортился руль высоты. А «крыло» капризное в управлении. Митя попытался приземлиться, но у шасси лопнул какой-то масляно-пневматический амортизатор, и «крыло» на большой скорости ударилось о землю.

Механики, которые вынули часы из приборной доски и подарили Никодиму Родионовичу, говорили, что часы уцелели чудом.

Еще у отца в шкафу хранится небольшой планер из бамбука и папиросной бумаги, связанной нитками и склеенной казеином. Его построил Митя, когда учился в средней школе.

Катя забирается в кресло поверх книг, которыми оно завалено, съезживается и сидит тихо-тихо. Так тихо, что слышит, как на кухне щелкает газовый счетчик.

По распорядку дня Кате следует учить на немецком языке названия предметов на картинках лото. Это к вечернему уроку немецкого языка с учительницей Эммой Францевной. Но Кате совсем не хочется учить названия предметов. Ими можно заняться, когда вернутся из города мама и Лариса.

Катя смотрит на портрет Мити и думает: почему так получается? Отец любил Митю и до сих пор вспоминать о нем любит, говорить о нем, а с Катей говорит редко.

Может быть, прежде папа не был так занят в конструкторском бюро, а теперь он занят и у него не остается времени для Кати? Или ему кажется, что Катя еще маленькая, как называет ее Эмма Францевна — *kleines Mädchen*, или, может быть, еще потому, что она младшая, а Митя был старшим, как говорит Ванда Егоровна — был первенцем.

По коридору проходит Устя. Остановится в дверях кабинета, смотрит на Катю: одинокая, молчаливая девочка сидит в отцовском кресле, когда отца нет дома. И он даже не знает, что она любит здесь бывать.

Позвонили у дверей. Катя вскочила, выбежала из кабинета к себе в комнату.

Вернулись из города мама, Лариса и Витоша.

Катя разглядывает картинки в немецком лото.

Скука.

Но, когда придет Эмма Францевна, будет еще скучнее.

Эмма Францевна откроет бархатную с бисером сумку, достанет увесистые серебряные часы Павла Буре с вздутым толстым стеклом и положит их перед собой. Начнется игра в лото с картинками.

На картинках — или животное (*Das Tier*) или предмет (*Der Gegenstand*). Катя должна выкликать их по-немецки. Нельзя забывать о кнакляуте — коротком и резком произношении. *Das ist der Bleistift* (это карандаш).

Кагя тянет:

— Дас и-ист дер Бляйштифт.

Эмма Францевна не выдерживает:

— Кто и-ист? Что и-ист? Хлеб, что ли, и-ист? Коротко и резко надо: ыст!

Павел Буре равнодушно ворчит изношенным шестеренчатым нутром, тащит по циферблату стрелки.

Хотя бы поскорее миновало время, отведенное на урок.

Катя достает следующую картинку, долго разглядывает вверх ногами. Делает вид, что не замечает этого. Немка берет у Кати картинку, переворачивает и возвращает.

— Die Puppe (кукла), — называет Катя.

— Ganz richtig (совершенно верно), — подтверждает немка.

— Der Hahn (петух), — называет Катя.

— Ganz richtig (совершенно верно).

Наступает некоторое разнообразие. Эмма Францевна интересуется: как сказать по-немецки «кричать кукареку»?

— Kikiriki schreien, — отвечает Катя.

Катю давно удивляет, почему немецкие петухи не кричат «кукареку», а кричат «кикирики».

Ну, а под конец урока начинается какая-то нелепица: Эмма Францевна задает вопросы и сама отвечает.

Катя обязана отвечать вместе с ней. В вопросе и ответе должен содержаться только известный уже Кате набор немецких слов, поэтому и получается нелепица.

— Почему гудит ветер? — спрашивает Эмма Францевна.

Ответ хором:

— Потому что растут деревья.

— Стоп, — говорит Эмма Францевна. — Где кнакляют?

Катя повторяет фразу с кнакляутом, и упражнение продолжается:

— Куда я поеду летом?

— Летом я поеду в деревню, где имеется высокая лошадь.

— Что за шум в соседней комнате?

— Это мой дедушка ест сыр.

А Павел Буре, ко всему равнодушный, ворчит и ворчит. Ему безразлично, почему дедушка шумит, когда ест сыр, поедет ли Катя в деревню летом, где имеется высокая лошадь, или не поедет.

— Катя! — зовет мама. — Иди сюда!

Катя оставляет лото, бежит в столовую.

В столовой на диване лежат покупки. Среди них шерстяная клетчатая материя, серая с коричневым.

— Это тебе на платье... Посмотри — нравится?

Катя смотрит. Ей, конечно, нравится. Лариса берет материю, накладывает Кате на плечи и на грудь.

— Можношить гладкое с подрезом сзади, с кожаными пуговицами, — говорит Лариса. — Как твоё мнение, Ирина?

— Ты права. Гладкое с кожаными пуговицами — будет хорошо, — соглашается мама. — Я вообще люблю сдержанность в покрое и в цвете одежды. А как думаешь ты, Витоша?

Витоша тихо улыбнулась, сказала:

— Я тоже так думаю.

Катя молча слушает. А между тем она очень хотела попросить, чтобы ей сшили такое же красное с белыми горохами платье, как у Косички, девочки, с которой Катя иногда встречается во дворе.

Платья у Косички яркие, веселые, и сама она веселая, с большими карими глазами, полными рыжих смешинок.

Кате однажды даже приснилось: тарахтят, скачут по улице белые горохи. Что это? Косичка рассыпала своё платье. Стойте, горохи! Куда же вы?

А вот Катя всегда одета в эти сдержанные в цвете и в покрое платья.

— Устя! — окликает мама.

Появляется Устя.

— В какой день придет Антонина Савельевна?

— Сегодня и придет.

— Значит, сегодня и закажем для Кати платье.

Антонина Савельевна — это портниха. Она такая же старая, как и ее железная коробка из-под «рококо» с надписью: «Конфетная фабрика купца-сахарника Телятникова», в которой Антонина Савельевна приносит иглы, булавки, мелок и клеенчатый сантиметр.

Когда Антонина Савельевна меряет платье маме или Кате, то долго накалывает булавками, придирчиво проверяет сантиметром длину от пола, длину рукавов, рисует мелком ширину будущих манжет и воротника. Намечивает она быстро и никогда не уколёт.

После ухода Антонины Савельевны на полу остаются булавки и обрывки белых ниток — наметки.

Ванда Егоровна в восторге от Антонины Савельевны, считает ее вполне честной портнихой, которая при крой-

ке «на пожницах не уносит». Справляется она даже с заказами Ванды Егоровны по ее вехтозаветным журналам мод. Примерки производятся тайно: Ванда Егоровна боится старшей дочери со строгими линиями в одежде.

Когда Ванда Егоровна надевает такое «модное» платье и появляется в воскресные дни к обеду, Ирина Петровна говорит раздраженно:

— И что у тебя, мама, за страсть к вычурности! Ты похожа на старый кофейник.

Лариса останавливает Ирину Петровну своим едким шепотом:

— Ирина, здесь ребенок!

3

Смеркается.

По темным комнатам бродит вечерняя тишина. Она то затаится в кресле, то присядет на диван, то, скрипнув дверцей, заглянет в стенной шкаф, то, осторожно трогая дощечки паркета, подкрадется к дверям кухни, где Катя наблюдает, как Устя гладит белье.

Мать и отец уехали в театр.

Лариса, Арсений и Ванда Егоровна закрылись в столовой; речь у них об Ирине Петровне и Никодиме Родионовиче.

Где Ванда Егоровна — там пересуды, толки, осуждения: не то купили, не то продали; одно едят, другое не едят.

Даже Устя не выдерживает:

— Уж эта матушка-сударыня — и зудит, и зудит, а сама всю жизнь за чужой спиной прожила, чужими дарами обсылалась! Не то что Никодим Родионович — самолично из рядовых рабочих государственным ученым сделался!

Катя переспрашивает:

— Из рядовых рабочих? Из литейщиков, да?

Кате нравится слушать, когда Устя рассказывает про отца. Много в рассказе она слушает не впервые, но Устя припоминает всё новые и новые подробности.

— Я твоего батьку еще молодым, невозрастным знала, как его в двадцать первом году по ранению из Красной Армии уволили, и поступил он к нам на завод, в литейную.

Шинелька на нем хоть и полнорослая была, но ветхоношенская, обхлестанная, с «малиновыми разговорами» — застежками такими суконными. И шапчонка-венгерка на две денежки, но зато набекрень. А сапоги — сплошное дырьё. Дождь, помню, ливня льет, а он их уколотит травой, веревкой-конопкой перетянет, и без печали ему. По-первому, Никодим Родионович разливищиком был, потом формовщиком. И тут он свою упорливость в характере и выявил.

— А кто такой формовщик?

— А это, младыш мой, кто из земли форму для литья мастерил. Прежде все изделия в землю отливали. Не то что по-нынешнему, в кокиль — в металлические формы, значит. Ну и вот, гляжу это я, а Никодим Родионович зачастил в цех до гудка ходить. «Что оно такое?» — думаю. Спрашиваю его, а он мне: «Это я, Устинья Андреевна, изобретение сочиняю, чтоб формовщикам работу облегчить». Вот с той поры и сделался изобретателем. О людях все беспокоился, об их удобствах на производстве. А народ черный был, малограмотный, прежней жизнью по будням затаскан. Никодим Родионович в рабфак решил определиться. Времени свободного, конечно, не было, так он ночами занимался. Утром глаза красные, уставшие. В литейной за день и без того их притомит: горячий чугун, он ведь ослепляет, а тут еще ночи недосыпать. Каково-то?.. Дорогу в жизни ему печеными хлебами не мостили, сам он ее прошибал.

В кухне пахло теплым от утюга полотняным бельем. На белых кафельных стенах отблескивало пламя горелок.

Устя железным держакон сняла с плиты разогревшийся утюг и подошла к столу.

Катя неотрывно наблюдала, как смоченное водой белье шипело, придавленное раскаленным утюгом.

— А уж когда в студенты вышел, так и вовсе в трудностях жить начал. Стипендия — вот и весь доход, величаться не с чего. В литейной-то он под конец зарабатывал прилично. Сапоги яловые купил, полушубок — опашень, книги, какие надо было. Книг этих после наакопилось столько, что неамоготу от них стало.

— Больше, чем теперь? — удивилась Катя.

— Нет, что ты! Против теперешнего куда меньше. Но и коапатенка кроха была, на манер шкафа. Всю книгами

запрудил. Я к нему иногда навещала — белье штопала, печку подтапливала, стряпала. А то Никодим Родионович совсем безразличный к себе был. А потом и вовсе при нем осталась, когда мне ногу чугуном обварило. Из родичей ему Сергей помогал. Присылал из деревни что мог — пшена, мучицы, яичек — и все заставлял учиться дальше и дальше. Случалось, Никодим Родионович устанет от ученья и забросит тетради и книги. Но тут Сергей объявится, накричит на него, пристыдит, что он должен учиться, — обязан, значит, потому что способности есть. И Никодим Родионович опять за книги усаживался.

— А Арсений? — спрашивала Катя.

— Что — Арсений? — не понимала Устя.

— Он что делал?

— А-а... Он, как и нынче, канцеляристом был, при чернильнице состоял. — Устя не любит отвлекаться. Она любит в рассказе последовательность, поэтому продолжает свое. — А с мамой Никодим Родионович познакомился, когда диплом готовил. В черчении она ему помогала. А там на дипломе чертить много надо было. И вот, чтобы спать меньше хотелось и работалось легче, она у Ванды Егоровны кофе потихоньку брала — настоящий, не ржаной или желудевый — и Никодиму Родионовичу приносила. А вскоре поженились они. Ну, и в добрый час. Комнатку им побольше выделили. Никодим Родионович мебель кое-какую прикупил. Что ни день, Ирина Петровна с мебелью этой возилась. Нарисует на бумаге комнату, вырежет из картона квадратики — стол, гардероб, стулья там, кровать — и вот двигает по бумаге: примеряет, где чего лучше поставить, поуютнее. Расторопная твоя мать была, энергичная. И в женотделах участвовала, и для голодающих пожертвовании собирала. Никодим Родионович тоже все бодрился. С Митей он много хлопот принял, потому как Митя в ребячестве слабым был, рос из горсти в горсть, а вот с годами поокреп, выровнялся. Даже к самолетам его допустили. Да-а, Митя, Митя...

Устя замолкла, сменила на плите утюги. Обмакнула пальцы в миске с водой, начала брызгать на простыню, которую приготовила для глажки.

— А вот сгинул Митя, и переменялся отец. Разом постарел, одинокий какой-то стал. Да-а, два века не изживешь, две молодости не перейдешь. Бывало, прежде сме-

ялся, всякие шутки они с Митей выстраивали — ракеты, воздушные шары, моторные лодки, — а теперь, значит, работа весь свет заслонила.

В прихожей позвонили.

— Кто еще к нам припожаловал? — Устя расправила передник, пригладила волосы, пошла открывать.

— Да что ж это вы! — заговорила она удивленно. — Неужто в театре так все представление и кончилось?

— Нет, не кончилось, Устинья Андреевна, — узнала Катя голос отца.

— Пьеса неинтересная, мы и уехали из театра.

Это был уже голос мамы.

Катя выбежала встречать.

— Не спишь еще? — сказал отец, снимая пальто. — А пора бы.

Все направились в столовую. Из-за плотно закрытой двери доносились голоса. Звонка там не расслышали.

Никодим Родионович приостановился, потом резко толкнул дверь.

Ванда Егоровна, Арсений и Лариса сидели у стола. При появлении Никодима Родионовича Ванда Егоровна замолкла на полужеле. Лариса начала поправлять в ушах серьги. Арсений зажег для чего-то спичку, коробок которых вертел в пальцах.

— Пресс-конференция, — сказал Никодим Родионович. — Ну-ну, продолжайте, — и усталой походкой прошел к себе в кабинет.

4

Катя сидит в кресле в кабинете отца.

В квартире тихо и пустынно.

Арсений ушел к «своей чернильнице», мама с Вандой Егоровной поехали за город, в деревню к какой-то тетке-знахарке, а Лариса с Витой отправились закупать составные части для мазей и кремов.

Устя тоже вышла к соседке — одолжить гречневой крупы, да так и застряла там за разговорами.

Катя устроилась поудобнее, подтянула колени к подбородку, ладони подложила под щеку, съежилась и замерла.

На письменном столе Катя давно уже запомнила каж-

дую вещь. Для Кати эти вещи были понятными и близкими, живыми.

С ними было веселее — все не одна.

Вон толстый красный карандаш с высунутым красным языком. Карандаш — лентяй: сам никогда не пишет, а только подчеркивает в книгах или ставит студентам на чертежах отметки.

Ручка с острым пером. Она худая и нервная: много пишет, зачеркивает, исправляет.

Перекидной календарь — тот еще ленивее красного карандаша. За день перекинет с плеча на плечо листок — и вся тебе работа.

Черпильницы стоят в медных касках, словно брендмайоры на картинках немецкого лото.

Костяной нож. На нем рисунки гор и зубчатых башен. Он, наверное, знает много волшебных историй про звездочетов в высоких колпаках и неустрашимых витязей, про сундуки, полные голубых хрусталей, и про царевну-лягушку.

Есть еще пузырек с клеем. Он всегда молчит, потому что рот заклеен.

Чубатые кисточки и деревянные линейки. Линейки длинные и скучные. Поглядишь на них — зевать хочется.

А как было бы хорошо, если бы возле Кати сидела сейчас мама! Не такая, как всегда, другая — какой запомнила ее Катя у своей постели, когда недавно тяжело переболела ангиной.

Мама была тогда совсем мягкой, открытой, с обыкновенными, постаревшими глазами, готовая по малейшему Катиному слову или движению обтереть влажным полотенцем лоб, перевернуть подушку с нагретой стороны на прохладную или вот так просто сидеть и сидеть возле Кати в давнишнем, ненадушенном платье, позабыв обо всех в доме.

Да, хорошо болеть, но только не сильно, а чуть-чуть, чтобы мама была рядом. Протянешь руку — и можно потрогать ее волосы, руки, платье. И никто не мешает быть вдвоем: ни Лариса, ни Витоша, ни Ванда Егоровна.

В квартире по-прежнему было покойно. Слышались дальние гудки заводов. В ванной комнате иногда сердито бормотал кран. От кресла приятно пахло старой кожей, исходило дремотное тепло.

Катя и сама не заметила, как уснула. Она еще не окрепла после ангины. Проспала Катя недолго. Проснулась оттого, что сделалось жарко.

Открыла ресницы и так испугалась, что тут же закрыла: Катя была укрыта отцовской шерстяной курткой, а сам отец сидел за столом и что-то подчеркивал в книге красным карандашом. Шторы на окне были приспущены.

Значит, папа неожиданно вернулся из конструкторского бюро и отпер двери своим ключом.

Ах! Все это из-за Усти. Отлучилась за крупой — и пропала! Проглядела папу!

Катя не знала, что делать. Незаметно уйти из кабинета? Но как? Папа вот-вот поднимет голову.

У отца на столе зазвонил телефон.

Никодим Родионович поспешно снял трубку, начал тихо разговаривать:

— Буду. Да. Скоро. Начинайте испытания без меня.

Катя решила и взглянула на отца. Отец тоже взглянул на нее.

— Разбудили тебя, да? Но ты спи, спи. Я сейчас уеду.

— Я уже не хочу спать, — робко ответила Катя.

— Ты что, одна в доме? А где мама и все остальные?

— Мама уехала Ванду Егоровну лечить.

— Лечить Ванду Егоровну, — повторил отец.

— А Лариса с Витошей в городе. Чего-то покупают для мазей и кремов.

— А Лариса с Витошей в городе, — опять повторил отец, и у него нервно дернулась бровь. — Чего-то покупают для мазей и кремов. — Он вдруг поднялся, отбросил стул, на котором сидел. Стул с грохотом ударился о стеллаж. — Все, значит, как всегда, при деле. Все, значит, трудятся!

Катя никогда еще не видела отца в таком гневе. У Кати задрожали ресницы, к горлу подступили слезы. Она совсем сжалась, забилась в угол кресла.

— Собирайся!

— Я? — испуганно прошептала Катя.

— Ну да, ты! Живо!

— А куда, папа?

— Сперва на аэродром. Поглядим испытание самолета, а потом гулять.

— Гулять?

— Да. Будем гулять. Куда хочешь, туда и поедем — в лес, к речке, к черту! — Отец швырнул на стол красный карандаш. Карандаш на столе не удержался, свалился на пол и сломал красный язык.

Катя, бледная и растерянная, сидела в кресле.

Отец улыбнулся, подошел к ней и нежно ущипнул за щеку:

— Ну, что же ты?

Тогда Катя, все еще сквозь слезы, тоже улыбнулась:

— Вдвоем поедем, папа?

— Вдвоем.

— И без никого больше?

— И без никого больше. Ну, беги переодейся.

Катя, радостная, прыгнула с кресла.

— Папочка, а можно, я надену новое синее платье?

— Можно и даже необходимо.

— Ой! Папа! А как же Эмма Францевна? Она сегодня придет.

— Это еще кто такая?

— Учительница, немка.

Отец резко махнул рукой:

— Одевайся.

Катя кинулась к себе в комнату. Из комнаты крикнула:

— И воротничок новый можно?

— Тоже можно и тоже необходимо!

Катя начала поспешно рыться в своем хозяйстве. Все еще боялась, как бы отец не передумал, не уехал без нее.

Когда от соседки вернулась Устя, она застала Катю и Никодима Родионовича среди раскиданных Катиних вещей — туфель, платьев, носков, кофточек.

— Светы-праведники! Что творится? — всплеснула руками Устя. — И что это вы здесь потеряли, Никодим Родионович?

— Мое синее платье ищем и воротничок, — сказала Катя. — Кружевной с лентами.

— Платье? Воротничок? — удивилась Устя. — А на что?

— Я еду с папой. Гулять еду!

Устя в шкафу, в спальне Ирины Петровны, нашла синее платье и кружевной воротничок с лентами.

Никодим Родионович сам помог Кате одеться: застегнуть на платье пуговицы, завязать у воротничка ленты, просунуть в петельки пояса.

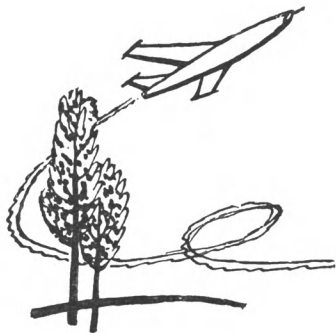
Устя тоже суежилась возле Кати:

— Зоряночка ты моя, травинка-черноколоска! Вы уж ее, Никодим Родионович, не настудите, а то она после ангины изнемоглась.

— Не настужу, Устинья Андреевна. Вы не беспокойтесь. Пальто прихватим.

— Да, пальто уж беспрременно.

Катя спускалась по лестнице на улицу. Рядом шел Никодим Родионович, нес Катино пальто.





ПРИВЕТ ТЕБЕ, ЛЕНКА!

Отсюда не пошлешь телеграмму или письмо. Не поговоришь по телефону или даже по радио, потому что и радио иногда отказывает.

Гудит дизель бурового станка, вгоняет в землю трубу.

Игорь стоит у маленького темного окошка буровой и видит, представляет себе, как все происходит сегодня там, в поселке, в эту ночь. Где в большом доме, названном по традиции геологической палаткой, соберется почти вся разведочная партия.

...Из свежих досок сколочен огромный стол — пускает каплями рыжую смолу.

Сухо потрескивает печка. Искры малиновой спиралью вкручиваются в дымоход.

Возле печки на полу свалены: полушубки, телогрейки, рукавицы, ушанки. Пахнут смазочным маслом, еловыми опилками, а иногда вдруг тонко протянется запах духов: это шапочки девчат, их шарфы и перчатки.

В комнате теснота, сигаретный дым, стук металлических шариков бильярда, споры о методике бурения, о коммерческой скорости проходки, о трубах, которые плохо или хорошо садятся на забой.

Кто-то чертит на листке бумаги, показывает, как можно упростить спуско-подъемную операцию, или объясняет, что такое гидроразрыв пластов. Кто-то из девчат быстрым привычным движением поправляет локон, греет в ладонях подмерзший тюбик губной помады.

Смех, шутки.

Все это происходит сегодня ночью в поселке, как происходило и в прошлом году, когда их разведочная партия только пришла сюда, в заданный район тайги, поставила первые буровые.

Собрались за таким вот в рыжих каплях огромным столом. На столе — шампанское. Его остудили в сугробе под звездами, и звезды поблескивали внутри каждой бутылки.

Ребята раскручивают проволоочки, которые накинута на пробки, и тогда освобожденные из бутылок звезды текут в походные алюминиевые кружки. Слышно, как шуршат.

И за окном где-то высоко тоже они шуршат, осыпаются инеем.

Игорь и Ленка были рядом в тот Новый год. Чокались с ребятами кружками. Размахивали руками, кричали о бирюзовой нефти, ради которой приехали сюда, в заданный район тайги. Черт с ним, что комары и болота, а ветер иногда такой, что надо привязывать себя к буровым станкам. Черт с ним, что спят на ящиках и стульях, а снег иногда такой, что утром надо вылазить из домов через окна. Они все равно найдут эту светлую бирюзовую нефть. В ней так много чистого бензина!

Радист включил приемник походной ради. Нащупал в эфире музыку.

Ребята начали танцевать.

Игорь тоже танцевал тогда с Ленкой. Она была в брюках, вокруг шеи свернулся мягким кольцом свитер. Валентки сняла и танцевала в шерстяных носках.

Девчата смеялись, кричали:

— Ленка, чулочки отморозишь!

Всем в партии известно — Игорь и Ленка влюблены.

Звенели на столе порожние кружки и бутылки. Раскачивались на длинных шнурах лампочки. Старый движок крутил старое динамо, и лампочки притухали.

Музыку часто пробивал острый стук телеграфного ключа, и долго, кроме азбуки Морзе, ничего не было слышно. Ребята не смущались — танцевали под точки и тире.

Игорь говорил что-то Ленке, но она не слышала, только улыбалась.

Когда их сталкивали в толпе близко друг к другу, Ленка опускала голову ему на грудь, и он чувствовал совсем близко ее щеку, белокурую серебристость волос, теплоту в ее обветренных губах.

А потом опять шампанское, незабытые еще студенческие песни. А потом стало жарко. Рацию вытащили на улицу. Начали танцевать среди сугробов.

Брезентовые куртки и штаны громыхали как железные.

Кто-то басом сказал:

— Индейцы, луну разобьете!

А индейцы прыгают, танцуют.

Ленка перепутала с кем-то валенки. Ей достались большие. Она их теряла — то один, то другой. Стояла журавленком, поджав ногу, пока Игорь отыскивал валенок. Или, не удержавшись, падала в снег.

Он поднимал ее, а она вся пахла снегом — и волосы, и губы, и синеватые ресницы.

А потом они убежали от ребят к реке. Река не застывала на стремнине, узкой волной летела между зелеными обрывами льда.

Они спустились на берег. Игорь шел впереди, Ленка — сзади, стараясь попадать в его следы, чтобы никто не догадался, что они здесь вдвоем.

Мерцала над рекой скала. С ее вершины сливался в реку лунный свет. Он был таким густым, сильным, что казалось — его слышно, как слышны были звезды в высоте.

Игорь и Ленка сели под скалу на поваленное дерево.

Игорь целовал Ленку в обветренные, шершавые губы, в синеватые ресницы.

...Так было в прошлом году. А теперь Ленка одна. Его буровая далеко у истока реки.

Отсюда не пошлешь телеграмму или письмо. Не поговоришь по телефону или даже вот по радио. Связь нару-

шена. Нет связи. И луны нет, чтобы шепнула привет Ленке. Разбили ее, что ли, ребята?..

Он был уверен — в эту новогоднюю ночь Ленка спустится на берег к скале. Будет сидеть одна.

И тогда он придумал... Да, конечно! Ленка поймет, догадается. Только его буровая у истока реки. Кругом тайга, никого больше нет.

...Бурильщики помогают Игорю связать несколько толстых бревен. Сверху укладывают плотной горкой дрова, обливают дизельным топливом.

Игорь зарядил ракетницу, приготовился.

Бурильщики подтащили бревна к зеленым обрывам льда, столкнули их в стремнину. Подхваченные волной, они начали набирать скорость.

Игорь прицелился из ракетницы. Выстрелил.

Ракета ударила в бревна — всплеснуло пламя, огненно и высоко развернулось. Полетело сквозь снежную тайгу по стремнине, среди зеленого льда, вниз, в поселок — привет тебе, Ленка!

...Гудит дизель бурового станка, вгоняет в землю трубу. Может быть, здесь, у истока реки, спрятана светлая, как небо, бирюзовая нефть.

Смешный мастер окликает Игоря, по Игорь не слышит.

Он стоит у маленького темного окошка буровой. За окошком ничего не видно, и только видит тот, кто стоит. Видит того, кого хотел бы сейчас увидеть, коснуться взглядом, дыханием, улыбкой.





НЕСЧАСТЬЕ

1

Это Илья. Его лицо совсем низко над Юрой. Галстук, как всегда, небрежно завязан и уполз вбок. Илюшка Сахнин, старый товарищ.

Он видит, что Юра открыл глаза, но молчит и только смотрит. В белом халате, от которого пахнет свежим крахмалом. И Юра молчит, смотрит на Илью.

С Ильей еще кто-то в халате и в белой шапочке. Женщина, медсестра.

И вдруг в душе чувство беды, огромной беды, которая

случилась с ним. Юра ищет Маришу, но Мариши нет. Делается еще страшнее.

Он тихонько поднимает правую руку, пальцы натыкаются на твердое.

Доска!..

Почему доска? Да. Он лежит на доске, под ним тонкий тюфяк.

Илья шевелит губами, говорит, но Юра не слышит. Хочет привстать и не может, потому что совершенно нет сил. И ноги. Их как будто тоже нет!

Илья наклоняется совсем низко и кладет ладонь ему на лоб, проводит по волосам.

Юра видит отчетливо у него на рукаве халата белую пуговицу, пришитую крестиком. Эта пуговица заслоняет от него лицо Ильи.

Илья опять что-то говорит, но Юра опять не слышит. Он напрягается. Илья снова проводит ладонью по его лицу — не надо, не напрягайся.

Тогда Юра сам говорит, но не слышит себя:

— Мариша!

Илья понял, кивнул.

Медсестра раздвинула на окне шторы, и стало светлее. Страх непоправимой беды ушел. Юра еще раз сказал:

— Мариша.

Илья опять кивнул и пожал руку.

Медсестра подкатила стеклянный столик. Он оказался на уровне головы. На столике — стерилизатор, флакон со спиртом, вата, какие-то ампулы.

Медсестра достает из стерилизатора шприц, выливает из него воду, прокачивает поршень.

Юра спокоен: с ним нет Мариши, зато есть Илья, старый товарищ, которого в детстве он почему-то обещал покатать на аэросанях. Илья поверил. Теперь им обоим давно уже за тридцать, а Илья все помнит про аэросани.

Юра скосил глаза, следит за движениями медсестры. Ватой она надламывает ампулу, вставляет иглу и медленно втягивает в шприц лекарство. На халате медсестры сбоку от кармана черный штемпель: «Городская больница имени Семашко».

А он думал, что лежит в клинике у Ильи. Илья всегда клал их с Маришей к себе в клинику. «Лейб-медик». А где

эта больница находится, Семашко? Как будто на улице Красина.

Появился еще кто-то в квадратных роговых очках, с тонким пучком седой бородки.

Взглянул на Юру, поговорил с Ильей, потом кивнул медсестре.

Шприц близко, но укола Юра не почувствовал, как не чувствовал своего тела, кроме правой руки. Жили одна рука и глаза.

Юра опять попытался позвать Маришу, она ему нужна немедленно, сейчас же! Как нужна была всегда, всю жизнь. Неужели Илья не понимает? Где Мариша? С ним что-то случилось. Он напрягается, хочет приподняться.

Но Илья и медсестра не позволяют.

Катится тихая теплая волна, топит волю и сознание. «Укололи наркотик», — догадался Юра.

Они сидели в комнате главного врача больницы — главный врач и Илья.

— Кто будет говорить с ней?

— Я сам, — ответил Илья.

— Повреждение спинного мозга на большом протяжении. Вы врач, и вы все понимаете.

— Понимаю.

— Она работает?

— Да. В библиотеке.

— Ей следует взять отпуск по уходу.

Илья говорил спокойно и сам удивлялся внешнему спокойствию, будто говорил не о Юре и Марише, а о ком-то чужом.

— Сегодня сделали повторные снимки, передний и боковой. К сожалению, ничего утешительного. Вы их смотрели?

— Да. Еще мокрыми в проявочной. Я бы хотел, чтобы его проконсультировал профессор Юхнин. Я к нему поеду и попрошу.

— Не нужно. Юхнину мы уже звонили, хотя оперативное вмешательство навряд ли поможет. Нет ни одного шанса.

— Но с ней лучше говорить все же после консультации Юхнина. Как вы полагаете?

— Пожалуй, Юхнин — это последнее, что можно предпринять.

— Сколько, по-вашему, он проживет?

— Недели две-три.

— И то при наркотиках?

— Да. Конечно. Но подождем заключения Юхнипа.

— Да. Подождем.

На четвертый день к Юре вернулся слух, начала двигаться левая рука. Но с помощью шприца из тела не выпускали эту тихую теплую волну наркотика, которая порождала безволие, равнодушие к окружающему и к самому себе.

Тогда Марише впервые разрешили войти к мужу, и он увидел ее в дверях.

У Юры хватило сил даже привстать на подушке.

— Мариша.

Мариша быстро подошла и обняла Юру.

Они не говорили о том, что произошло. Мариша только осторожно потрогала у него на лице ссадины, оставленные осколками стекла после аварии. На ноги даже не взглянула.

Он придирчиво следил за ее взглядом, и она понимала, что смотреть в сторону ног нельзя и спрашивать про ноги тоже нельзя. Об этом потом, как-нибудь в другой раз. Главное, он живой и они снова вместе!

Говорили о будущем. Он расспрашивал об институте, о ее работе в библиотеке, куда она недавно поступила на абонемент.

— К тебе хотели приехать, но врачи запретили. Иркутов хотел приехать. Шебанов из партбюро. Конечно, Стибун и Мами. Алехин за голову схватился, когда узнал, что ты... не будешь сейчас продолжать работу над генератором. «Пробюллетенит твой муж недели три. С врачами свяжись — не отбрешешься. Дернула нелегкая за руль садиться!»

— Я буду работать,— сказал Юра.— Как только меня посмотрит этот их Юхнин, так айда отсюда домой. Вымечусь. Увезешь, а потом все наладится. Руки уже двигаются. Если бы не пантопон!.. Вялость от него и сплю, Мариша, как сурук.

— Илья говорит — хорошо, что много спишь.

— Знаю я его. Не мог устроить, чтобы пропустили хотя бы Алехина.

— Что Алехин? Я едва прорвалась!

— Свинство. Поднимусь, всем им всыплю. Илюшке морду набью, кандидату наук.

Он с усилием улыбнулся.

— В Сухуми миндаль уже цветет, персик, дикие лимоны.

— Не надо об этом, Юра.

— Почему не надо? Скучаю весной по Кавказу.

— В этом году все равно не поехали бы. У тебя генератор, а мне в библиотеке отпуска бы не дали. Только поступила.

— Дали бы. За свой счет дней на десять.

— Ну, а ты с генератором?

— Алехин отпустил бы тоже дней на десять весной подышать. Самолетом туда и обратно.

— Не отпустил бы, и не думай. Он даже болеть не разрешает, видишь, ворчит: бюллетень, врачи, халатный парень.

— Это кто халатный парень?

— Ты. Сегодня, говорит, авария с автомобилем. Завтра ему на голову цветочный горшок упадет или рыбой подавится.

Юра улыбнулся:

— Люблю Алехина. Не знаешь, что у Стибуна с изоляторами? Достал?

— Вроде достал.

— А фибровые прокладки?

— И прокладки тоже.

— Я кое-что придумал. Буду пробовать генератор на жидких металлах при давлении выше критического.

Юра замолчал: от боли стиснулось дыхание, пересохло во рту, все вокруг побелело.

Он закрыл глаза, сдвинул зубы. Эта боль возникает внезапно.

Только бы Мариша не заметила.

Надо плотнее сомкнуть зубы. Ни звука, и поскорее открыть глаза.

Боль остыла, затихла, — кажется, наркотик взял свое.

Вернулось дыхание и удалось открыть глаза. Белая пелена исчезла.

Мариша смотрела на него низко и пристально, как смотрел в первый день Илья. В ее глазах был испуг. Надо улыбнуться во что бы то ни стало!

И Юра улыбнулся и даже слегка кивнул, подбодрил. Мариша обнимает его и трется щекой об его щеку.

— Все будет хорошо,— шепчет она.

— Конечно.— Он обнимает ее за плечи.— Все будет очень хорошо.

Потом она уходит, но, перед тем как уйти, долго стоит в дверях, тонкая и маленькая. Закутанная в большой халат для посетителей, с карманами у колен.

Юра снова один в палате.

Субмиллиметровый генератор. Он должен излучать волны, длина которых равнялась бы сотым и десятым миллиметра. Зона пока недоступная для радиотехники. Англичане и американцы ставили много опытов в самых разных направлениях, но пока еще ничего не добились. Не удавалось сделать сколько-нибудь мощных излучателей.

Юра второй год работает над субмиллиметровым генератором. Алехин предоставил ему часть своей лаборатории. Наброски и схемы, каталоги и справочники, английские, немецкие, американские журналы по электронике и полупроводникам. Поиски, пробы, мучения, надежды и разочарования и опять поиски и пробы.

В лаборатории, под зеленым козырьком лампы, каждый день висела тучка папиросного дыма. Курили все — Юра и его лаборанты Стибун и Мария Михайловна, сокращенно Мамн.

Заглядывал и Алехин, подсаживался к монтажному столу и тоже молча закуривал. Потом смотрел очередной опыт, когда стеклянный баллон, не выдержав высокого давления, разлетался в пыль. Из реле с коротким треском сыпались мелкие звездчатые искры, в импульснике лопались конденсаторы.

Юра отключал схему, никто ничего не говорил. Молча опять закуривали, вместо спичек передавая друг другу огонек папиросы.

Алехин дружески ударял Юру в плечо и уходил к себе в кабинет.

Чувство ярости и бессилия, точно спазм, сдавливало горло.

Юра хватал инструмент, который первым попадался под руку, и вдребезги разбивал остатки схемы.

Мами гасила свою папиросу, открывала сумку и доставала из нее зеркальце и губную помаду. Ярко обрисовывала губы: рабочий день закончился.

Стибун снимал плексигласовый защитный шлем, резиновые перчатки и убирал в шкаф.

Юра, засунув руки глубоко в карманы, смотрел в окно, курил, пытался успокоиться. В такие минуты почему-то особенно раздражала Мами с зеркальцем и помадой, хотя он знал, что она прекрасный работник.

Стибун и Мами прощались и уходили. Юра оставался в лаборатории один. Присаживался к монтажному столу и сидел до тех пор, пока не звонила по телефону Мариша или не появлялась уборщица Настя.

Беспокоила полная неподвижность — тело не свое, чужое. Похоже, что не просто ушибы или даже переломы, похоже, что ему конец. Эта мысль крадучись вползала в сознание, находила подтверждение — доска, пантофон, удары боли, от которых мутнеет сознание, молчаливые врачи и неестественно бодрый Илья. Хотелось гнать эту мысль, но она приходила в сумерки и осторожно подсаживалась, как кошка.

Почему Юхнин закончил осмотр так быстро и на все Юрины вопросы только ответил: «Дружок, терпение!»? Почему во время разговоров, которые возникли при консультации, тоже была поспешность? Юра пытался поймать тогда взгляд Ильи и не сумел. Старый товарищ не зря прятал глаза. Значит, что-то очень серьезное, значит, беда.

Окно палаты было приоткрыто, и ветер шуршал в занавесках. На стеклянном столике, рядом со стерилизатором, стояла в банке сирень.

Сегодня должна прийти Мариша, без которой так плохо и одиноко. Юра, в ожидании Мариши, часами стучит пальцами по доске. Не хочет, но стучит. Машинально.

Открылась дверь.

Юра приподнялся, но это была не Мариша, а Илья. Он подошел и улыбнулся. Юра стучал пальцами. Илья тихонько придавил его ладонь. Юра перестал стучать, он понял, что Илья пришел говорить и разговор будет трудным. Это видно по Илье. Юре стало страшно: подкралась и села кошка.

Он хотел помочь Илье и заговорить первым, но не смог. А ведь надо наконец спросить, что с ним? Почему даже сквозь наркотик прорывается боль? Почему эта каменная неподвижность? Неужели навсегда, навечно! Они уже знают — Илья, врачи, а не знают только он и Мариша. Если бы Мариша знала, он догадался бы по ее глазам.

Юра сказал:

— Илья, плохо?

Илья отошел к окну и начал глядеть во двор. Ладони сжаты за спиной, и Юра видит на рукавах халата пуговицы. Их две, два крестика. Мариша тоже всегда пришивает пуговицы крестиком.

— Ты хочешь правду? — спросил Илья, не оборачиваясь.

— А ты сам чего хочешь? Полуправду?

— Нет. Тоже правду.

— Тогда зачем спрашиваешь?

По коридору прошла сестра, слышно было, как она сняла трубку внутреннего телефона и вызвала аптеку.

Ладони Ильи по-прежнему сжаты.

— У меня поврежден позвоночник, говори, Илья! Да или нет?

Илья повернулся к нему:

— Да, Юра.

Пальцы опять застучали по доске. В коридоре голос сестры:

— Список на медикаменты я вам послала. Ну как же, Дмитрий Константинович!

Юра попросил:

— Илья, подойди ко мне.

Илья подошел.

— На столике флакон со спиртом для уколов.

— Ну?

— А на тумбочке стакан. Налей мне спирта.

— Ты с ума сошел!

— Илья, прошу. Иначе не сумею спросить ничего дальше.

Илья нашел под салфеткой на столике флакон со спиртом и налил в стакан. Потом спросил:

— Еще стакан есть?

— Нет. Возьми банку из-под цветов.

Илья вытащил цветы.

— Дай сюда.— Юра положил их около себя на одеяло.

Илья поделил спирт — себе в банку, Юре в стакан — и разбавил из графина водой. Воды поменьше. Они всегда пили спирт крепким.

Юра взял стакан.

— Ну? Вздогнем.

Илья поднял банку:

— Вздогнем.

Это был старый шутиливый тост под спирт без закуски. Тост старых товарищей. Чокнулись и выпили. Илья хотел налить в банку воды и вновь поставить сирень.

— Не надо,— сказал Юра.— Пускай лежит рядом.

Помолчали. Илья ждал вопроса, самого неизбежного.

Юра, сжимая в пальцах стакан, задал этот вопрос:

— Доска, она навсегда? Или что-нибудь еще хуже? Только правду, Илья. Я прошу, Илюша. Я требую!

Илья медлит, ищет слова. Может быть, теперь сбмануть? Полуправду сказать? Да, доска, но жизнь, все-таки жизнь, Юра. А правда, она страшнее доски.

Илья молчит.

— Значит, хуже,— тихо говорит Юра. Потом еще тише: — Я все понял, Илья.

Лицо его покрылось пятнами, сузились, напряглись глаза.

— Хочу, чтобы перевезли домой. Немедленно! Наркотиков ни грамма! Не позволю!

Илья тихо сказал:

— Голая боль, она непереносима, Юра.

— Мне нужно работать. Я должен сделать генератор.

Юра начал задыхаться, голос охрип, на висках выступили капельки пота. Илья осторожно возразил:

— Тут замкнутый круг. Пойми — наркотики исключают работу, а работа исключает наркотики.

— К черту круг! Слышишь!

Юра приподнялся на локтях.

— К черту! Мне требуется месяца три-четыре. Говори! Чего опять молчишь? — Он смотрел в глаза Илье. — Три-четыре. Ты слышишь?!

Илья молчал.

Юра швырнул на пол стакан, который все еще сжимал в пальцах.

Распахнулась дверь, и вбежала испуганная сестра.

Илья, сам не узнавая своего голоса, глухо и медленно сказал сестре:

— Уйдите, пожалуйста.

2

Юра лежит у себя в комнате на диване, на доске. К дивану придвинут письменный стол. Подняться к столу Юра, конечно, не может, но когда стол рядом, как-то привычнее работать.

На столе телефон, лампа, разноцветные карандаши для схем, пузырьки с тушью, справочники, старая готовальня, еще студенческая, с тупым рейсфедером и ржавым циркулем, из ножки которого выпадает иголка.

Каждый день звонят по телефону Алехин, Стибун, Иркутов, Шебанов.

Если врачи считают, что в жизни у него потеряны все шансы, то в работе, извините, — здесь он хозяин и шансы еще есть. Появилось какое-то внутреннее видение и знакомая лихорадочная приподнятость в предчувствии удачи.

Вдруг обнаруживается кратчайший путь, который сразу никогда не дается. И нужно исколесить десятки проселков, чтобы наконец выбраться на дорогу. И вот приходят легкость шага и удача. Вперед! Ни минуты промедления. Но бывает и так, что опять ошибка, опять проселок — и тогда отчаяние и слепая ярость. Обостренное самолюбие в тягость окружающим и самому себе. Слабые отступают, сдаются, а сильные, преодолев отчаяние, вновь идут на поиски.

На груди у Юры лежит кусок фанеры. Полочка, которую Мариша вытащила из платяного шкафа. Она служит ему столом и чертежной доской.

Сегодня пятый день он живет без наркотика, только на ночь снотворное — и это все, что он позволяет.

Боль в спине — туго свернутая пружина, которая держит в напряжении нервы, каждую мышцу.

Юра работает и прислушивается, когда эта туго свернутая пружина начнет медленно раскручиваться, требовать пространства и давить...

Юра закрывает глаза, вытягивает шею и напрягается, чтобы сдерживать пружину, не стонать. А то услышит Мариша, и тогда опять низко над ним ее испуганные глаза и прерывистый шепот. Опять телефонные звонки — Илье, врачам в больницу Семашко, профессору Юхнину.

Юра молчит и терпит. Вначале он постукивает пальцами по доске и отвлекает себя. Потом считает в уме — один, два, три, четыре... восемь... десять... двадцать, сорок... Лишь бы не слышать боль, не чувствовать ее колец.

Когда не помогает счет, он ломает в пальцах карандаши, и они хрустят и сыплются на пол. Так борется с самим собой.

На кухне звякают кастрюли и льется в раковину вода. Это Мариша.

Завод пружины слабеет, толчок и тишина. Теперь до следующего дня, потому что за ночь, пока его сморит короткий сон, пружина вновь заведется.

Сегодня Юре с утра хорошо работалось. Голова была свежей и ясной. Удалось выкурить папиросу, пока Мариша принесла умыться.

На столе и на диване солнечные пятна, в которых шевелятся усатые пушинки. Они прилетают с улицы, с деревьев. Птицы царапают когтями подоконник, стучат клювами в кормушке.

Юра сделал даже короткую гимнастику — поднимал и опускал руки, сгибал в локтях.

Мариша в стареньком халате, такая домашняя и всегда такая необходимая. В волосах запутались капельки воды и зажглись под солнцем огоньками: только что умылась. Зажглись огоньки и на ресницах, и на бровях.

Юра обнял Маришу и тихонько притянул к себе.

Совсем юная женщина, любимая и потерянная. Может быть, неправильно была прожита с нею жизнь — в постоянной спешке, в работе, — но без работы он жить не мог и без спешки тоже. Кажется, она это понимала и понимает даже теперь, когда работа все равно не отпускает его, беспокоит и мучает своей незавершенностью.

Сегодня Юра ждал Стибуна, чтобы поскорее приступить к работе с генератором на жидких металлах. Начать он решил со ртути.

Еще в молодости она принесла ему удачу. Это была первая в его жизни удача. Может быть, ртуть принесет теперь и последнюю.

Он только поступил тогда в институт и решил разгадать секрет лампочки «Игуана».

По виду лампочка была похожа на обычную электрическую, но давала ультрафиолетовые лучи и белый свет, короче — заменяла солнце. Лампочка была американская, вокруг нее в иностранной прессе стоял рекламный шум. Фирма гарантировала продолжительность горения в тысячу часов.

Лабораторией руководил тогда старик Бахметьев. Он заметил, что Юра читает все про «Игуану». А вскоре в институт прибыл комплект этих ламп для нужд лаборатории.

Бахметьев застал Юру с «Игуаной» в руках.

— Разбирает любопытство? — улыбнулся старик.

— Да, вроде, — смутился Юра. Он работал лаборантом у Иркутова по газоразрядникам.

— Ну что ж, — сказал Бахметьев. — Покопайтесь с американкой в свободное время.

Юра с радостью принял разрешение. Пусть работа еще не изобретательская, а связанная с раскрытием чужих мыслей, но самостоятельная. Только испугался, вдруг Иркутов обидится: вот так помощник — отвлекся от газоразрядников, да еще на какую-то ерунду! Но Иркутов не обиделся, а тоже сказал: «Покопайтесь».

Бахметьев выдал Юре для опытов коробку, в которой было десять «Игуан».

Юра вскрыл первую лампочку, исследовал ее. Ничего особенного: принцип дуговой точечной лампы, а для того чтобы снизить напряжение при зажигании, в ней катался ртутный шарик.

Юра потерял остроту интереса. «Все проще пареной репы», — сразу решил он. Оставалось заказать в стеклодувной баллон из специального стекла, прозрачного для ультрафиолетовых лучей, изготовить электроды, капнуть ртуть — и лампа готова.

Когда детали были изготовлены, Юра быстро смонтировал свою «Игуану». Включил в сеть, и лампа вспыхнула голубоватым пламенем. В ней действительно было что-то от солнца, но погорела она минут двадцать и погасла. «Наверное, подвели электроды», — решил Юра.

Изготовил новые и перемонтировал лампу. Зажег, а она опять погасла.

Юра разбил еще одну импортную и начал внимательно сравнивать детали, выверять — все как будто правильно.

Он произвел анализ ртути в импортной лампе и в своей — ртуть одинаковая. Анализ электродов — электроды одинаковые. Но его лампы гасли, баллоны чернели и покрывались хлопьями.

Казалось, пустяк, все ясно, а не получается. Даже перед Бахметьевым неудобно: он отнесся к этому как к забаве, к Юриной прихоти. Начинаящий инженер пробует себя, свои мускулы. Вот и попробовал, с электрической лампочкой не справился!

Илья вначале подтрунивал над Юрой: водит за нос американка! Потом перестал, до того Юра сделался одержимым. Мариша тоже оставила в покое и ни о чем не спрашивала. Молчали и Бахметьев с Иркутовым. Тогда поближе познакомился и с Алехиным. Он был уже старшим инженером и часто глядел на Юрины лампы, которые гасли, и на чужую, которая горела пятнадцать суток подряд. Но тоже помалкивал, только дружески ударял в плечо.

У Юры в запасе оставалась единственная «Игуана», когда наконец он ее разгадал. Он рассматривал лампу на свет. Как всегда, в центре катался ртутный шарик. Под руками была лупа, и Юра решил ею воспользоваться. Ему показалось, что ртуть мутная, будто покрыта пылью. Он поглядел на свою ртуть — чистая. И вдруг все понял: электроды в работе испаряются и, конечно, металлизуют стекло, а ртуть смачивает металлизированную поверхность, отсюда хлопья и помутнение. А если в баллоне бу-

дет пыль, то она, как изолятор, предохранит стекло от контакта с ртутной каплей.

От счастья захотелось пробежать по институту козлом или засвистеть в четыре пальца. Знай наших! Вот почему Бахметьев, Иркутов и Алехин ни единым словом не помогли в работе. Хотели, чтобы сам ощутил ту лихорадочную приподнятость, которая сопутствует удачному эксперименту раскрытия тайны, пускай и чужой, но все-таки тайны.

Юра тут же схватил ступку и растолок кусок кварца в мелкую пыль. Всыпал в баллон и побежал в стеклодувную запаивать. Включил лампочку — горит. Час... три... пять!

Прибежал Алехин, поглядел на лампочку, поздравил. Пришли Бахметьев, Иркутов, тоже поглядели и поздравили.

Бахметьев спросил:

— Ртуть хитрила?

— Да, ртуть.

Стибун сидел в кресле около дивана и записывал в блокнот, что следовало сделать для новых опытов с генератором. Юра говорил быстро, потому что все продумал.

— Надо найти критическую температуру и давление ртути. Эти данные где-нибудь есть. Посмотри в «Критикал тейблс» или у Ландольта. Может быть, есть данные и для индия и галлия. Проверь, полистай «Электроникс». Отыщи обзор по РСД, ртутным лампам сверхвысокого давления. Если у нас в институте нет — достань через обмен. И характеристики к ним.

Стибун кивнул.

Мариша уже второй раз заглядывала в комнату, говорила, что Юре пора поест, но Юра отправлял ее обратно.

— Мама поручишь заказать кварцевый капилляр сантиметров в сорок и испытать на давление.

— Чем? Азотом?

— Да. Треснет или нет. Нужно, чтобы выдержал не меньше двух тысяч атмосфер. У Алехина попросишь импульсник. Десятикиловаттный. И вот еще что — посмотришь у Лёба, как меняется потенциал зажигания с давле-

нием. Если не разберешься, Лёба пришлешь мне. Пока все.

Стибун поднялся, спрятал в карман блокнот. Он ни словом не обмолвился о болезни, так было решено в институте. Продолжается нормальная работа, только человек дома — вот и все.

На прощание Юра сказал:

— Стибун, действуй, нажимай. При любой заминке с хозяйственниками, с администрацией звони мне. Я сам буду с ними ругаться.

— Позвоню. Но Мами тоже умеет с ними разговаривать.

Юра улыбнулся:

— Покланяйся ей.

— Поклонюсь. Отдыхайте.

Стибун ушел.

Юра слышал, как Мариша закрыла за ним дверь на лестницу.

Сейчас будет уговаривать что-нибудь съесть, а есть не хочется. Вот закурить бы! Но Мариша папиросы убрала: женская логика, будто папиросы мешают жить.

3

Илья и Мариша на кухне. Дверь прикрыта, потому что Юра недавно задремал: у него был острый приступ.

Илья моет иглы и шприц.

Он заставил Юру согласиться на укол, первый после больницы. Юра сопротивлялся, но потом уступил, когда начал терять сознание.

Мариша бледная стоит посередине кухни, сжав кулаки у подбородка, и сдерживается, чтобы не заплакать тяжелым плачем. Почему жизнь наотмашь сбила ее с ног? Не дала даже ни единой возможности бороться за Юру, сопротивляться?

Мариша сдерживается, но слезы все тяжелее давят на сердце, и она опускается на стул, роняет руки. И вначале тихо, а потом громче и громче повторяет:

— Юра... Юра. Юра-а!

Илья оставил шприц и, подойдя к ней, взял за плечи. Поднял со стула и встряхнул.

— Илья, Илюша! Я не могу больше.

— Перестань, успокойся. Ну же, перестань.

И он краешком полотенца, которое висело у него на шее, начал вытирать ей глаза и щеки.

— Он борется, и ты видишь, как он хорошо борется.

Мариша плакала все сильнее.

— Но это ни к чему.

— Как ты смеешь так говорить! — Илья отстранил ее от себя и поглядел прямо в глаза. — Он работает!

— Но он не может работать всегда. Говори, Илья. Ну! Молчишь!

Теперь она сама посмотрела ему в глаза, маленькая, бледная, с мокрыми вздрагивающими ресницами.

Илья понимал, что, когда Юра кончит опыт с генератором, кончится и усилие, которое его держит. Оно подобно траве, способной поднять и удерживать камень.

Мариша закрыла глаза и опять опустила на стул. Сидела без движения. Илья тоже молчал.

Юре было обидно за себя — не выдержал, согласился на укол, — и вот результат: болит голова, полусонное состояние.

Позвал Маришу:

— Дай папиросы.

— Юра!

— Где папиросы? — резко перебил ее.

Она вынула из стола начатую пачку.

С удовольствием сам покрутил в пальцах папиросу, сам зажег спичку и сделал большой глоток дыма. Потом еще один.

Сегодня должны сообщить из лаборатории о результатах с капилляром: выдержал давление или не выдержал.

В коридоре у дверей позвонили. Мариша пошла открывать, вернулась и сказала:

— Это к тебе.

В комнату вошла Настя.

— Я за курьера. Здравствуйте, Юрий Николаевич.

— Здравствуйте, Настя.

Она передала пакет, в котором были обзор, характеристики ламп РСД и толстый том Лёба.

— Что в лаборатории? Как дела?

Настя всегда знала, удаётся какой-нибудь эксперимент или не удаётся. «По осколкам понимаю,— шутила Настя.— Если все в мусор побросано, оно ничего и не получилось».

— Испытывают, Юрий Николаевич. Вчера до ночи испытывали и сегодня тоже. Стекла в мусоре не было.

— Стекла, говоришь, в мусоре не было?

— Ни крошечки.— Настя лгала. В мусоре были осколки кварца.— А как вы, Юрий Николаевич? Как самочувствие ваше?

И вдруг с испугом хлопнула ладонью себя по губам:

— Ой, что же это я!

— А что такое? — удивился Юра.

— Господи,— засуетилась Настя, — толковали мне, дуре, чтоб вопросов...— И тут она опять хлопнула себя по губам.— Я пошла, Юрий Николаевич. Побежала.

— Да куда же вы, Настя! Посидите.

— Нет, нет.— И Настя заторопилась к выходу.

Юра развернул обзор по ртутным лампам, характеристики. Закурил папиросу, Мариша постояла в дверях и тихонько ушла на кухню. Он даже её не заметил.

«РСД сойдут для предварительных опытов,— думал Юра, разбирая характеристики и обзор.— Надо их подогреть и попробовать в импульсном режиме. Выяснить, как поведет себя ртуть. Примерно то же будет происходить и со ртутным капилляром. РСД сократит часть опытов. Выиграю во времени!»

Юре мучительно захотелось в лабораторию. Сесть за свой монтажный стол, пропитанный запахами реактивов. А теперь приходится держать перед собой кусок фанеры из платяного шкафа. Пахнет он мебельным клеем и нафталином.

Хотелось самому заняться ртутной лампой, испытывать, как выдержит нагрев и импульсы. А то будут копать. Что там Мама? Голова небось занята клипсами и нейлонами — до сих пор не справится с капилляром!

Ландольта и «Критикал тейблс» можно послать к черту с их жалкими данными о ртути, а прямо начинать

опыт с РСД. Здесь ртуть себя и покажет — и критическую температуру, и давление. Еще в запасе имеются индий и галлий. А если капилляр разнесет? Что тогда? Увеличить его толщину? Но на сколько?

Юра прочитал еще несколько страниц обзора, пробежал глазами кривые характеристик. Все-таки основные надежды на ртуть. Не зря ее теперь используют рабочим телом в котлах. Да что же они там копаются с капилляром?

Зазвонил телефон.

Юра сорвал с рычага трубку.

— Я, Мами, я! Да не тяните же. Выдержал? Какое давление? Та-ак. Пойдите, я закурю. Мариша! Мариша! Ну, где же ты?

Вбежала Мариша.

— Пожалуйста, спички. Завалились за подушку.

Мариша отыскала спички, дала прикурить.

— Спасибо. Две тысячи атмосфер, Мами. Это именно то, что надо. Тащите к телефону Стибуна. Стибун, приступайте к опыту с лампой. Да, да, РСД. Импульсник у Алехина взял? Прекрасно. Внешний кожух долой. Подогрей ее кислородной горелкой и подключи к импульснику. Определи частоту следования и грей. Да, да. Нещадно грей кислородом. Мами посади к приборам, пускай записывает показания.

Кончив разговор, Юра занялся Лёбом.

Вскоре из лаборатории опять позвонили: РСД лопаются, не выдерживают. Горячая ртуть забрызгала лабораторию.

— Спокойно и по порядку, — потребовал Юра.

И Стибун рассказал все по порядку.

Пока РСД не грели, получались яркие вспышки. Импульсник давал почти полную мощность. Боялись его запороть, потому что АLEXIN предупредил — запасного нет. Потом сняли с РСД кожух и начали осторожно греть кислородом. Но ввод треснул. Мами получила на складе другую лампу. Грели и подавали импульсы. Лампа взорвалась.

— А почему она взорвалась? Опять ввод полетел?

— Не знаю.

— Повторите все заново. Погодите, я вам буду сейчас звонить. АLEXIN у себя?

— Не видел его с утра.

Юра соединился с коммутатором института:

— Дайте Алехина.

Пауза.

— Алехин не отвечает.

— Тогда заместителя директора по научной части.

Трубку снял сам Кедрин.

— Дементий Максимович, это Галанов. Мне нужен большой вытяжной шкаф. Распорядитесь, чтобы химики пустили к себе. Дня на два. У них самый большой.

— Юрий Николаевич,— ответил Кедрин,— вы же химиков знаете.

— Знаю. Собственники они паршивые.

— Это, пожалуй, вы их слишком.

— Ничего, стерпят. Дементий Максимович, ну посудите сами, не могу же я травить людей ртутью. И охрана труда кричать начнет — акты, протоколы. Вам же неприятности. Спасибо. Не беспокойтесь, поведем себя лояльно.

Юра опять вызвал коммутатор, лабораторию:

— Стибун, завтра продолжите опыты с РСД у химиков в вытяжном шкафу. Кедрин разрешил. Понимаю. А вы напустите на них Мами — пусть ругается или очаровывает, но шкаф получит. Следите за вводами.

Юра положил трубку, вздохнул.

Вводы — серьезное препятствие, которое его ожидает. Если в РСД впаи не выдерживают, значит, в капилляре тоже не выдержат. А чем заменить впай?

В дверях опять Мариша:

— Юра, съешь что-нибудь. Я сварила бульон, нажарила гренок с сыром. Редиску на базаре купила, огурчики.

Юра подозвал ее к себе:

— Сядь.

Мариша села на уголок дивана.

— Ближе сядь.

Она села ближе. Он обнял ее за талию.

— Ты прости меня, что я так сегодня. Ну, с папиросами. Хочешь, я не буду курить? Совсем не буду. Вот заberi их и спрячь.

Он протянул ей пачку с папиросами.

Мариша взяла ее, улыбнулась.

— Не веришь? Тогда побожусь — аты-баты, побьют меня солдаты, боярин Прокоп бросит в укроп.

— Вот теперь верю! — засмеялась Мариша.

Сыплются на пол карандаши, в сердце перебои: пружина медленно раскручивается.

Юра считает в уме — один, два, три, четыре. Стучит пальцами по доске. Не помогает.

С каждым приступом боль становится злее и продолжительнее.

Звонит телефон — Стибун или Мама из лаборатории. Юра не может взять трубку: боится — не удержит.

Телефон умолк.

Давление пружины нарастает — сколько же сегодня у нее витков?

Опять звонит телефон или ему чудится? У Стибуна, очевидно, по-прежнему летят в капиллярах вводы. Он может и не звонить, Юра сам все знает. Но ничего другого он еще не придумал.

Кажется, он теряет сознание.

Открыл глаза. Будто закрывал на мгновение, а перед ним уже Мариша и Илья.

Мариша трет виски мокрой салфеткой. А-а, нашатырный спирт. Илья со шприцем — шприц полный, желтоватый. Морфий!

Юра хочет сказать Илье, чтобы не смел.

Илья наклонился, делает щипок на руке, сейчас уколёт.

Юра собирает остатки сил и отталкивает его.

Илья от неожиданности роняет шприц. Юра слышит звон разбитого стекла.

Мариша закусил губы, моргает, моргает, чтобы не заплакать.

Последний виток, и пружина остановилась. Можно вздохнуть.

— Ты извини, кандидат наук, — говорит Юра. — Дай лучше пить.

— Ладно, — кивает Илья и дает ему со стола чашку с водой.

Мариша подбирает осколки шприца и ломаные карандаши.

— Старый товарищ называется, и туда же со шприцем. Обещал мне, трепач.

Илья приподнял ему голову, чтобы удобнее было пить.

— Помалкивай. Сам трепач.

— Что? Аэросани вспомнил?

— А ты думал!

Юра попросил еще пить, потом устало закрыл глаза.

Илья показал Марише на дверь, и Мариша осторожно вышла. Илья раскрутил контактную розетку телефона, выдернул шнур и тоже незаметно вышел.

4

У Юры в комнате производственное совещание. В креслах и на стульях сидят Мама, Стибун и еще двое новых работников — Ильичев и Григорьян. Алехин недавно прикомандировал их к Юриной группе.

Юра давал задание по разработке вводов. Были испытаны уже всякие вводы — и проволочные и жидкостные. Но все не выдерживали высокого давления.

Порой думалось, что тупик, преграда, которую не одолеешь.

Мариша сжалилась и предложила папиросы. Юра отказался.

Ни на минуту не расставался с фанеркой из платяного шкафа. Илья смастерил на ней защелки, которые удерживали в любом положении бумагу, логарифмическую линейку, а сбоку самопишущую ручку. Так работать лежало было намного удобнее.

Юра исписал уже стопку бумаги — расчеты, наброски, эскизы. По привычке пошли в ход поля справочников и журналов. Даже фанерка с двух сторон покрылась формулами и цифрами.

Многое из придуманного испытывалось в лаборатории, но большая часть оставалась на месте, на бумаге.

На этот раз Юра давал задание разработать вводы по принципу обратных шлифов, которые притирались бы в капилляре, как притирается пробка во флаконе с духами. Изготовить шлифы с малым конусом, тогда давление в генераторе не вытолкнет их, а, наоборот, уплотнит, прижмет к стенкам.

Когда Юра кончил сообщение о шлифах, начали задавать вопросы.

— Какой они должны быть формы?

— Обыкновенный конус.

— Какой угол на сторону?

— Один, два градуса. А еще лучше устроить несколько опытов со шлифами под различными углами, но не выше трех.

Мами вела запись совещания в журнал.

— Капилляров тоже закажите побольше. В мастерских будут вздыхать, а вы заказывайте.

— Закажем,— кивнула Мами.— Повздыхают и перестанут.

— У нас теперь свой импульсник,— похвастался Стибун.— Собственный.

— Откуда?

— Алехин вчера подарил. «Губите, сказал, окаянные, по своему усмотрению».

— Юрий Николаевич,— улыбнулся Ильичев,— охрана труда наведывалась.

— Караулят,— сказал Григорьян,— когда со ртутью что-нибудь нарушим.

— Но вы не очень уж нахально там. С охраной труда бороться сложно, у них параграфы.

— А мы Настю в дозор ставим.

Пошутили, посмеялись.

Юра продиктовал порядок проведения испытаний со шлифами на давление. Производственное совещание закончили. Все быстро поднялись и начали прощаться. В это время приехал Алехин.

Марише он сказал:

— Дел никаких не имею, навестить заглянул.

Но когда Алехин посмотрел на Юру, обессиленного и бледного, тоже собрался уходить вместе со всеми.

Юра попытался удержать.

— После приеду,— буркнул Алехин и, как и прежде, только тихонько толкнул Юру в плечо.

Перерывы между приступами становились короче. Боли изматывали, голова ныла не переставая, и утром, и днем, и вечером.

От наркотиков Юра по-прежнему отказывался. Разрешил увеличить на ночь дозу снотворного и колоть кордиамин.

Илья и Мариша по очереди дежурили около Юры. Третий месяц Юра боролся за каждый час, за каждый день: он должен успеть закончить работу с генератором.

Решением партийного бюро института генератор был объявлен заданием номер один. Мастерские выполняли заказы на детали вне очереди и, если надо было, работали сверхурочно.

Стибун, Мами, Ильичев и Григорьян отказались от летних отпусков. Алехин хмурился, был нетерпимо резок с теми, кто высказывал сомнения в успехе.

Старик Бахметьев слал телеграммы из Сибири, из отделения Академии наук, где руководил сектором радиоэлектроники, допытывался, чем может быть полезен Юре.

В лаборатории под зеленым козырьком лампы по-прежнему висела тучка папиросного дыма. По-прежнему приходил Алехин, подсаживался к монтажному столу и тоже молча закуривал. Гудели трансформаторы, вздрагивали, ползли по шкалам стрелки амперметров и вольтметров. Только Мами почему-то перестала красить губы.

В городе давно уже лето. У Юры на подокопнике в железном лотке купаются пыльные воробы.

Особенно часто Юра думает о Марише.

...Студенческое общежитие. Мариша стоит посредине коридора: подбородком придерживает матерю, которая повисла до колен. Таким должен получиться сарафан. Может быть, рисунок на материи слишком крупный? Мариша с пристрастием допрашивает Юру — крупный или не крупный? Юра смотрит на нее издали, сложив ладони подозрительной трубой. Мариша дует губы, сердится. Юра крутит ладони, наводит фокус. Ах так! Мариша бросает матерю и бежит за ним.

Воскресный день. Дачное место Лось. Мариша в свитере и в спортивных брюках — худенький мальчишка с золотистыми глазами. Откинула голову и хохочет: Юра загляделся на встречную девушку и вместе с велосипедом свалился в канаву.

Беспа. Пора генеральных уборок. Мариша в ситцевой косынке, в больших Юриных шлепанцах и с веником, привязанным к длинной палке. Гоняется за пауком, вздумавшим, на свою беду, поселиться в комнате.

Сухуми. Пляж. Мариша клеит фунтик и закрывает от солнца нос. Девочка-утенок! В резиновой шапке лежат черешни, они солоноватые: их мыли в море. Девочка-утенок ест черешни, а косточками стреляет в Юру.

Часами Мариша может стоять у зеркала — растянет пальцами глаза, сделает продолговатыми, модными, приподнимет концы бровей, начешет или уберет со лба волосы. Из старенького халата смастерит открытое вечернее платье.

Положила колено на стул — разговаривает по телефону. С ноги свесилась туфелька, упадет. Мариша ловит за каблук и надевает.

Трет пальцы, чтобы нагрелись и скорее подсох свежий лак на ногтях...

Не думалось тогда, что в этих мелочах было столько молодости, поэзии. За нестихающей работой в институте Юра мало что замечал. Память возвращала ему эти мелочи.

5

В лаборатории на монтажном столе лежит листок бумаги — только что его принесла Настя.

На листке Юриной рукой перечислены пункты запуска генератора:

«1. Подогреть кислородной горелкой и зажечь, как ртутную лампу высокого давления.

2. Установить инфракрасные фильтры, термостолбик и рефлектор.

3. Повышать мощность, пока не наступит неустойчивый режим. Управлять с помощью струи азота. Если такое управление будет достигнуто, то дело почти сделано.

4. Подавать импульсы, постепенно повышая мощность. В этом рабочем режиме генератор может почти не давать световых вспышек. Тогда и нужно искать излучение в области волн длиной в сотую и десятую миллиметра».

Последняя фраза была дважды подчеркнута.

Юра неподвижен — шевелятся еще пальцы на правой руке, и он может поворачивать голову.

Фанерку с листком бумаги, на котором он перечислил пункты запуска генератора, перед ним держала Мариша. Написать эти пункты он хотел сам, своей рукой.

Боль постоянна и неотвратима.

Стучать пальцами по доске — трудно, дышать — трудно, думать — трудно, разговаривать — трудно. Силы есть только ждать.

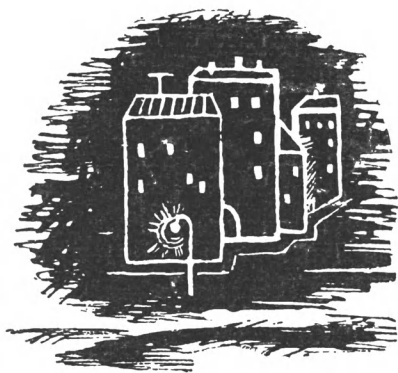
Ночь.

Возле него Мариша. Лампа прикрыта газетой. За окном вдалеке бродят паровозы, шумят свежие ветры, рождается утро.

В лаборатории заканчивается сборка генератора. Сتيبун, Мамп, Ильичев, Григорьян, Алехин, Иркутон, Шебанов. Не ушли даже рабочие из мастерских — все ждут. Ждут и знают, что больше их всех ждет человек, который, теряя силы, не уступает, борется за себя и за свой путь в науке.

Но если с генератором опять ошибка? Что тогда?

Одним проселком станет меньше для тех, кому идти дальше. Метод вычеркивания — это в науке движение вперед.





ЗЕЛЕНАЯ РЕКА

1

Я стоял на перекрестке, где часто останавливаются автобусы или грузовые машины, которые берут попутчиков.

Это было в центре станицы Джугутинская.

Подъехал автобус. Впереди на картоне химическим карандашом было написано: «Юлар».

Шофер поглядел на мой вещевой мешок, на грязные башмаки и спросил:

— Путешественник?

— Да,— ответил я и сказал, что вот добрался сюда, а теперь думаю, куда дальше двинуться. В горы мне хочется. Никогда не бывал в настоящих горах.

— Тогда поехали в Юлар.

— А что это такое?

— То, что вы ищете.

Недавно прошел сильный дождь. Вечерело. Я проделал уже большой путь и устал. Надо было принимать решение и где-то устраиваться. Не раздумывая долго, полез в автобус.

Народу набралось много. В основном горцы в шляпах из белой шерсти. Такие шляпы предохраняют от солнца и не промокают в дождь.

Вскоре тронулись.

Плещутся под колесами лужи. Хрустят ветки деревьев, которыми заложены особенно глубокие канавы. Где-то за кустами шумит напор воды. Это горная река Зеленчук. Я уже знаю, мне сказал шофер.

Ветер разбрасывает тучи, и в далекие просветы я вижу вечернее небо и горы, куда мы едем.

2

Я поселился в Юларе в маленьком белом доме. Он стоял над обрывом точно березовый пенек.

Дом принадлежал сестре и брату. Сестру звали Буми, а брата — Октя. Буми училась еще в школе, а Октя работал объездчиком в лесном заповеднике.

Меня к ним привел шофер автобуса. Мне сразу у них понравилось: топится печка, горит большая керосиновая лампа.

В доме был отгорожен закуток с лежанкой.

Октя показал на лежанку:

— Отдыхайте.

Я разделся и уснул.

Когда утром я проснулся, в домике никого не было. А сам домик был пробит синим прожектором. Я даже зажмурил глаза с непривычки от такого яркого синего света.

Без всяких рам, прямо в стену, было вмазано окопное стекло.

Я подошел к нему. Увидел горы. Но не так, как я их видел тогда из автобуса — далеко в просветы среди туч, — а совсем рядом. И там, в горах, лежал огромный осколок

льда — синий прожектор. Солнце вкрутило в него свою лампу.

Вниз по ущелью рушился Зеленчук, вскипая брызгами и пеной.

Возле реки сидела Буми — мыла посуду.

Я захватил полотенце и вышел из домика. Спустился по тропинке на берег.

— А-а, доброе утро! — сказала Буми и улыбнулась. — Хорошо спали?

— Хорошо. Только вот голова немного какая-то странная.

— Это от гор. Это пройдет.

Зеленчук так шумел, что надо было повышать голос, чтобы разговаривать.

— Откуда река берет начало? — спросил я Буми.

— С ледника.

— С этого ледника?

— Да. Он называется София.

Ледник синий, а Зеленчук зеленый и тоже яркий до боли в глазах.

Я начал приспосабливаться, как бы умыться.

— Окунитесь, — сказала Буми.

Я попробовал воду — ледяная.

Буми заметила, как я смущенно выдернул руку.

— Привыкнете. Мы с Октей купаемся.

Буми положила в чистое ведро посуду и пошла по тропинке к дому.

Я умылся и остался на берегу. Сел на выступ скалы.

Я не мог уйти от реки. Я никогда не видел таких рек: зеленый вихрь. Посредине зеленого вихря большие камни. А на камнях — луга: высокая свежая трава, красные цветы.

Иногда ветер подхватывает с реки брызги, и они ливнем пролетают над этими большими камнями. Заливают цветы и траву.

Воздух, казалось, насыщен льдинками, будто их приносило с ледника, как и воду для реки.

Но солнце было сильным, горячим, и поэтому, когда тихо и безветренно, нет никаких льдинок. Жарко. А стоит дунуть ветру — прохладно. Появляются льдипки. Надо набрасывать на плечи рубашку. Может, это по той же причине, что немного тяжелой сделалась голова?..

Я еще долго сидел на скале. И рубашку то спинал, то набрасывал.

Над поселком висело кольцо дыма. Это из труб домов. Кругом горы, а кольцо внутри гор. Ветер его шевелит, покачивает. Скоро поднимет высоко, унесет куда-нибудь за горы. И никто там не поймет, откуда оно взялось.

Пришла Буми:

— Кричу, кричу, а вы не слышите. Пора завтракать. Я показал на реку:

— Шумит она очень. И всегда так?

— Нет. Не всегда. Зимой молчит.

Когда мы поднялись к домику, увидели на дороге автобус. Шофер помахал из кабины рукой. Мы помахали в ответ.

— Поехал в станицу,— сказала Буми.— Если вам надо будет послать письмо, вы с ним передавайте. Другой почты у нас нет.

Я кивнул.

Возле домика стояла верховая лошадь. Это приехал Окта, вернулся с объезда.

Мы сели завтракать.

3

Буми пошла в лавку, и я пошел с ней. Мне хотелось поглядеть на поселок.

Вчера ночью из автобуса я, конечно, ничего не разглядел.

Поселок стоял на зеленом лугу. Обрывки этого луга были разбросаны на тех больших камнях, которые торчали со дна Зеленчука.

Все дома были маленькими и белыми, как дом Буми и Окта. Утром и вечером в каждом доме топится печка, потому что утром и вечером в горах холодно.

— У нас рядом зима и лето,— сказала Буми.— Снег и земляника.

По улицам поселка бегали ребята — босиком и в шерстяных шляпах. Вместе с ними бегали козы. Ребята с ними играли.

— Это козы домашние,— сказала Буми.— А иногда с гор спускаются дикие. Пасутся с нашими, с домашними.

— И не боятся людей?

— Нет. Их никто не трогает. У нас в поселке даже медведь живет. Маленький.

— А он откуда взялся?

— Тоже спустился с гор. Привык и теперь живет. Вы его увидите.

Ехал на лошади человек — в черной гимнастерке, в галифе и в тонких сапогах с поясками на голенищах, чтобы сапоги плотно облегали ногу.

Поздоровался с Буми и со мной.

— Директор школы, — сказала мне потом Буми, — Мамед Алиевич. Он у нас лучший в поселке стрелок. Снайпер. А вон в горах стадо, — показала она на серое пятно.

— Это разве стадо?

— Конечно. — Буми пригляделась повнимательнее. Даже остановилась для этого и сказала: — Сто сорок семь баранов.

— Что? — удивился я. — Как ты сосчитала?

Буми только и ждала вопроса. Начала смеяться.

— А я сосчитала количество ног и поделила на четыре. Я тоже начал смеяться.

Мы так громко смеялись, что какой-то гусак вылез из канавы, где он отдыхал, и погнался за нами. Пришлось убежать от гусака.

Возле лавки с кем-то возились ребята.

— Вон и медвежонок. Я вам говорила, вы его увидите. Шурван! — позвала Буми. — Шурван!

Медвежонок поднял голову, потом вырвался от ребят и заспешил Буми навстречу. Бежал боком и вприпрыжку.

Буми присела на корточки и, когда медвежонок подбежал к ней, обняла за шею. Он ткнул Буми носом в ладонь.

— Сейчас куплю. Погоди.

В лавке Буми купила ему брусок повидла. Я тоже купил брусок.

— Как бы не объелся, — сказали ребята.

Шурван лег на живот, раскинул в стороны задние лапы, вывернув пятки кверху. Между передними лапами положил бруски повидла.

Мне казалось, что лежать так на животе с вывернутыми пятками и еще пытаться что-то есть — очень неудобно. Но Шурван был иного мнения.

— А собаки его не трогают? — спросил я Буми.

— Что вы! Он их первый друг.

В лавке мы купили хлеб, сахар и масло. Пошли домой. За нами отправился и медвежонок. Бежал впереди, боком и вприпрыжку.

— Он меня всегда провожает,— сказала Буми.

Когда мы поравнялись с гусакom, который все еще отдышал в канаве, гусак вылез и погнался за медвежонком. Но Шурван даже не обратил на него внимания.

Тогда гусак погнался за нами. И нам опять пришлось от него убегать.

4

Узкий легкий мост. Он сплетен из канатов. Посредине лежат доски — цепочкой. Перила тоже сплетены из канатов. Мост прогнулся, висит над Зеленчуком. Совсем низко. Тень от моста прыгает на волнах.

Если мост толкнуть, он долго будет раскачиваться. Это делают мальчишки — толкают и раскачиваются на нем.

Я тоже попробовал, но быстро понял — чтобы делать это, надо иметь известную долю мужества.

Скрипит канатами легкий мост. Под мостом вскипает брызгами Зеленчук. В глазах все дрожит и кружится.

Иногда ветер подхватывает брызги, и они ливнем проносятся над головой. Заливают и тебя и мост.

Буми любила раскачиваться на мосту. Она делала это похлеще мальчишек. Ухватится за веревочные перила и разгоняет мост все сильнее и сильнее.

Я с берега кричу ей:

— Осторожно, Буми! Хватит!

А она смеется, летает над Зеленчуком среди брызг и пены. Мокрая и озорная.

5

Мы с Октей ходим по краю Зеленчука, там, где мелко, и переворачиваем камни. Ходим прямо в башмаках, потому что босиком ходить невозможно: ноги стынут и тогда очень болят.

Мы собираем маленьких серых рачков. Они сидят в воде под камнями. Складываем их в коробки из-под спичек. Вместе с нами ходит Шурван.

Он провожал из лавки Буми и, увидев меня и Октя, спустился на берег. Ему интересно, чем мы занимаемся.

А мы продолжаем собирать рачков, на которых будем ловить форель. Октя будет меня учить: я никогда не ловил форель и вообще никакую рыбу.

Рачков уже достаточно — две полные коробки.

Октя берет удочку и разматывает леску. Я смотрю на Октя и повторяю все его движения.

В башмаках хлюпает вода. Но выливать ее из башмаков нет смысла. Мы сейчас снова полезем в воду, пойдем по краю Зеленчука против течения. Так сказал мне Октя.

Я разматываю леску осторожно, потому что крутится под погами медвежонок. Боюсь, чтобы случайно не схватил крючок.

Поплавка нет. Он не нужен. На леске привязана нитка — черный узелок. Это для того, чтобы видеть леску на солнце. А то леска прозрачная и не увидишь, где она.

Октя объясняет: форель — рыба хитрая. Ловить ее сложно. Наживку она не заглатывает, а скусывает. Дернет осторожно и бросит. Дернет и бросит. Надо почувствовать это. И тогда подсекать — резко и быстро.

Октя зажал удилище между ног, чтобы освободить руки, и наживляет рачка на крючок.

Я тоже держу удилище между ног, наживляю.

Шурван наблюдает за нами.

— Готово? — спросил Октя.

Он проверил, как я наживил.

— Крючка не должно быть видно.

— А у меня слишком маленький рачок, не закрывает.

— Наживите второго.

Я опять зажал удилище между ног, достал из коробки второго рачка. Наживил.

— Теперь хорошо, — сказал Октя. — Пошли.

И мы пошли. Все трое, Шурван тоже.

Я забрасываю в воду крючок. Его немедленно подхватывает течение и уносит в сторону. Я его вытаскиваю и снова забрасываю. Потому что так делает Октя. Крючок снова подхватывает волна и снова несет в сторону.

Я не понимаю, как можно в этот момент почувствовать, что форель трогает его, скусывает наживку. И еще я не понимаю, как форель может плавать в реке, в которой вода рушится вниз по ущелью и сила в ней такая, что свалит с ног.

Иногда от удилища падает тень и прыгает на волнах, как прыгает тень моста. Но чаще я вижу только черную нитку — узелок на леске.

Октя не стоит на месте. Он забрасывает удочку и двигается все время вперед.

Я двигаюсь за ним.

Устала рука, и я перекладываю удилище в другую руку.

Несколько раз я выдерживал крючок: мне казалось, что кто-то что-то делает с ним там под водой. Но оказывалось — ничего подобного: форели на крючке не было.

Вдруг Октя резко выхватывает из воды удочку. И я вижу, что у него-то форель на крючке.

Она сверкнула на солнце и упала в траву вместе с удочкой.

Я спешу к Окте. Я никогда не видел форель.

— Вот, держите.

Октя положил ее мне на ладони. Она была точно льдинка, которую Зеленчук принес с ледника.

Мы ее рассматриваем все трое (Шурван тоже) — серебристо-черноватую, с красными пятнышками, словно на нее брызнули соком граната.

7

Мы вернулись домой вечером. Я ничего не поймал. Только Октя — девять штук. Они лежали в сумке.

Буми уже растопила печь. В домике было тепло и сухо.

Мы с Октей сбросили мокрые, набухшие башмаки.

Шурван пришел вместе с нами. Ему сбрасывать было нечего, поэтому он просто лег возле печки на живот, раскинул в стороны задние лапы, вывернув пятки кверху, — пусть просохнут.

Буми жарит форель на сковороде. Приятный запах наполняет дом.

Шурван глубоко вздыхает. Он, очевидно, надеется получить свою долю рыбы. И он ее, конечно, получит. Буми его любит. Да его все любят в поселке.

Мы с Октей тоже сидим у печки. Надели чистые сухие носки. Также надеемся получить свою долю рыбы.

В оконное стекло, которое без всяких рам вмазано в стену, ничего не видно. Синий прожектор уже погас: солнце выкрутило из него лампу. А там, где Зеленчук, грохот и белые вспышки пены.

8

Шоферу автобуса я передал письмо. Он опустит его в станице Джугутинской в почтовый ящик, и оно отправится ко мне домой, в Москву.

В письме я написал, что живу в горах, в маленьком белом доме, который стоит над обрывом точно березовый пенек. Что здесь рядом зима и лето, снег и земляника. Что у меня есть друг-медвежонок. Что учусь ловить форель и раскачиваться на канатном мосту. Что каждое утро над поселком рождается кольцо дыма и ветер его куда-то уносит. Что жить здесь буду долго, потому что мне здесь очень нравится.





ДВЕ СЕКУНДЫ СВЕТА

1

Маяк стоит на скале. Внизу, под скалой, — море, а сзади — лиман.

В лимане ходят белые цапли на черных ногах. И маяк тоже, как цапля, — белый с черными полосами.

Цапли живут в лимане, а маяк живет на скале у моря.

Две секунды света, шесть секунд темноты — это режим его работы. И так всю ночь — две секунды света, шесть секунд темноты.

Начальник маяка — Иван Алексеевич Гонтарь.

Каждый вечер он входит в дежурную комнату, где на столе лежит вахтенный журнал, висят таблицы восходов и закатов, громко постукивают большие часы с кодовым диском: они отмеряют секунды света и темноты.

Иван Алексеевич раскрывает вахтенный журнал и делает запись, когда был включен маяк. Поворачивает рукоятку, подает напряжение на лампу, и в море летят первые две секунды света.

Рано утром Иван Алексеевич снова приходит в дежурную комнату, поворачивает рукоятку — снимает напряжение с лампы. Отмечает в вахтенном журнале, когда маяк был выключен.

2

Вся жизнь Ивана Алексеевича прошла на Голубицкой пересыпи, между Азовским морем и лиманом. Прошла на этом маяке.

Прежде, до войны, стоял маяк с керосинокалильной лампой. Возле нее надо было сидеть и чистить иглой, а то могла погаснуть.

Башня была высокой. Ее раскачивало ветром. Сидишь чистишь лампу, а тебя раскачивает вместе с башней.

В защитную сетку попадали цапли с лимана. И нельзя было их спасти, убересть.

В долгие ночи дежурств он занимался тем, что чинил сапоги, читал старые лоции или просто сидел и думал о своей жизни. А жизнь как-то не получилась: Мария, жена, ушла от него и забрала дочку, тогда совсем еще маленькую.

Ушла ночью, когда он дежурил с иглой у керосинокалильной лампы. За Марией приехал на грузовике шофер Дмитрий Катков. Работал он недалеко — в Темрюке. Приехал и увез ее.

Иван Алексеевич даже и не услышал. И только утром узнал, когда погасил лампу и спустился с маяка.

Долго стоял в тот день на дороге, — все надеялся: Мария вернется.

Но она не вернулась. Прислала письмо, что ей надоели его вечные две секунды света и что она не может из-за них просидеть всю жизнь на Голубицкой пересыпи.

В вахтенном журнале Иван Алексеевич сделал запись:

«28 сентября 1939 года. Мария Степановна Гонтарь, заместитель начальника Темрюковского ориентирного маяка, с работы уволилась и уехала совсем».

В вахтенный журнал положено записывать все, что происходит на маяке.

3

Войну Иван Алексеевич провел здесь же, в этих местах. Маяк был погашен, а потом и вовсе разбит бомбами. И все маячное хозяйство погорело и пропало.

Иван Алексеевич пошел служить в пехоту. Участвовал в десанте на Керчь.

Видел крымские маяки. Он их знал по логиям. Они тоже были разрушены. Теперь на маяках стояли пушки: позиции, удобные для артиллерии.

На войне Иван Алексеевич был ранен в голову осколком.

После войны он снова вернулся на Голубицкую пересыпь. Надо было ставить маяк. С бригадой строителей поставил его, новый, современный, — электрическая лампа, кодовые часы, аккумуляторы, динамо для подзарядки аккумуляторов.

И опять полетели в море две секунды света.

Письма ему не приходили: Мария больше не писала. Он знал, что из Темрюка она с Дмитрием Катковым перебралась в Ростов, а потом и еще дальше — в Свердловск.

Он посылал дочери деньги. Сам посылал — Мария не требовала. Но однажды деньги из Свердловска возвратили с пометкой на бланке: адресат выбыл в неизвестном направлении. Долго тогда просидел с этим бланком на маяке. Как же так — в неизвестном направлении? Дочь ведь его...

4

Он узнал, что дочь жива. И что все они живы — и Мария, и Дмитрий Катков. Поселились в Челябинске.

Иван Алексеевич все пытался представить себе дочь взрослой. Фотографию ему не присылали, а попросить стеснялся,

Помнилась она маленькой: ходила рядом, за палец держалась. Даже на маяк ни разу не поднялась: ступеньки были велики.

Иван Алексеевич не ждал писем, он ждал дочь. Может быть, ей когда-нибудь захочется приехать сюда, в те места, где родилась.

Теперь она взрослая, самостоятельная.

Однажды около маяка затормозил грузовик. Из кабины выпрыгнула девушка. Водитель подал ей небольшой чемодан.

Девушка поблагодарила водителя, и грузовик уехал.

Ее увидела Валентина Федоровна, жена заместителя Ивана Алексеевича.

Пока девушка шла к воротам, Валентина Федоровна окликнула Ивана Алексеевича. Он был у себя дома.

Валентине Федоровне казалось, что именно Иван Алексеевич должен первым встретиться с этой девушкой. Услышать от нее первые слова.

Девушка нерешительно отодвинула створку низеньких ворот и вошла во двор маяка.

Иван Алексеевич остановился на веранде дома. Смотрел на девушку.

А девушка остановилась на дорожке, подняла голову и смотрела на маяк. Худенькая, гибкая, вся какая-то нездешняя. Платье — ситцевый колокольчик, туфли — как мухоморы: красные с белыми точками. В светлых коротких волосах — солнечные искры.

Иван Алексеевич почувствовал, что вдруг впервые за многие годы заныла раненая голова, точно накинута на голову обруч. Сдавили. И от этого не шелохнуться. Он смотрел на девушку, ждал, когда она подойдет, ждал ее первых слов.

Она сказала, что ехала на попутном грузовике от Керченского пролива и увидела маяк. Она студентка. Была на практике на железорудном комбинате недалеко от Керчи, в степи.

Сейчас практика закончилась, и она убежала от всех ребят, переправилась на Тамань. Она всю жизнь мечтала пожить где-нибудь здесь, на маяке или у рыбаков.

Зовут ее Галя; потом улыбнулась и смущенно добавила: «Нет, Галка, так правильнее...»

Она просит разрешить ей остаться. Она заплатит за комнату. Она не будет нарушать порядок. Она...

Иван Алексеевич только сказал:

— Да, да, конечно,— повернулся и пошел в дом: совсем нехорошо сделалось с головой.

Девушка, растерянная, осталась у порога веранды.

К ней поспешила Валентина Федоровна. Взяла из рук чемодан:

— Идемте, я вас устрою. Идемте.

Дома Иван Алексеевич прилег на свою брезентовую раскладушку. Закрыв глаза — так легче для головы. Скорее спадет обрuch.

Сегодня Ивану Алексеевичу не нужно на маяк: сегодня дежурит его заместитель Черкашин.

И он пролежал один до темноты.

5

Галя, нет, Галка...

Иван Алексеевич увидел ее на следующее утро. И опять она смотрела на маяк.

Маяк был давно погашен. Стекла закрыты шторами.

Внизу, под скалой у моря, хлопал поршнями мотор: рыбаки готовили баркас, собирались на ловлю.

Скрипели деревянные створки бассейна, в котором хранится питьевая вода: Валентина Федоровна пришла за водой, будет поить Такелажа. Такелаж — это лошадь. Она придана маячному хозяйству.

На ней ездят в станицу Голубицкую за продуктами и в Темрюк на базу за частями к аккумуляторным батареям и дизельному движку.

Галка увидела Ивана Алексеевича и несмело сказала:

— Здравствуйте.

Он кивнул ей, улыбнулся:

— Хотите подняться на маяк?

— Да.— Она тоже улыбнулась.— Очень хочу. Я никогда не была на маяке.

— А я всю жизнь прожил,— сказал Иван Алексеевич и подумал, зачем говорит это.

Иван Алексеевич отомкнул двери маяка, пропустил Галку вперед.

Она вошла. Гладкий крашеный пол. Ни пятнышка, ни

царапины. В углу — коврик из камыша. Узкие, шириной в кирпич, окна. Крутая металлическая лестница. Ступеньки покрыты квадратами белого свежего полотна.

Галка хотела стать на коврик, вытереть туфли, но Иван Алексеевич сказал:

— Ничего. Бегите наверх.

И Галка побежала. Старалась не наступать на полотно, а с краю, где ступеньки открыты.

Лестница зазвенела под каблуками. Казалось, зазвенела и вся башня, пустая и прохладная.

Поднялся Иван Алексеевич. Галка смотрела куда-то в щель между шторами.

Иван Алексеевич дернул за канатик, раздвинул шторы.

Сразу к стеклам маяка пришел синий размах моря, пришли километры желтого берега, лиман, солнце, тонкая скорлупа луны, оставшаяся от ночи.

Галка смотрела на все это. Не шевелилась.

Иван Алексеевич показал маленький домик на берегу и баркас:

— Рыбацкий стан. А вон дорога к Керченскому проливу. А еще подальше тоже домик, видите?

— Да вижу.

— Икорный завод.

— А что это в лодках по лиману везут?

— Траву с покосов. Покосы за лиманом.

— А вообще лиман, он тут почему?

— Недалеко в море впадает Кубань. От нее и лиман. Вдруг Галка увидела цаплю.

— Аист! — закричала она.

— Нет. Это цапля.

— И вон еще и еще стоят!

— Да их много здесь.

— Цапли, — повторила она. — Я никогда не видела.

Иван Алексеевич сказал:

— Я пойду, а вы можете остаться наверху, на маяке.

— Долго можно?

— Сколько хотите. Ключ отнесете Валентине Федоровне.

Он спустился с маяка и прошел в дежурную комнату.

Достал вахтенный журнал: следовало сделать запись, что на маяке поселилась Галя, нет, Галка — так правильнее.

Она играла с Такелажем, трясла дикие абрикосы жерделы, которые росли поблизости от маяка. Поливала с Валентиной Федоровной огород, познакомилась с рыбаками и водителями — водители ездили мимо на Темрюк и к переправе на Керчь.

Убегала к лиману, к цаплям. Будешь сидеть у лимана тихо — цапли подойдут близко.

Иван Алексеевич видел, как она сидела так тихо.

Плыли лодки, везли траву. Иногда казалось, плывут зеленые стога. Всплескивалась рыба, раскидывала брызги. Качались под ветром тростники.

Галка сидела, обхватив руками колени и положив на них подбородок. Наблюдала за всем этим. А потом вдруг убегала к морю. По пути отвязывала Такелажу, и он скакал за ней.

Она любила бродить вдоль прибоя. Шумели волны, рыжие от ракушек. Застыли лиловые заборы колючек. Когда прибой утихнет, лиловые заборы поседеют от соли, а на них останутся ракушки. Будут лежать, пока не просохнут и ветер не стряхнет на землю.

Скачут кузнечики здесь же, недалеко от воды. Они рыжие, и похоже, что это скачут ракушки.

Возле рыбацкого стана торчит из песка якорь. К нему рыбаки привязывают баркас. И баркас стоит так, причаленный к якорю.

А потом Галка купалась. Уплывала далеко.

Такелаж ждал ее. Стоял возле платья и трусиков, потихоньку дремал.

Нигде никого — только Галка в море и Такелаж на берегу.

Но чаще всего Галка приходила на маяк. Снимала туфли и поднималась босиком по свежим квадратам полотна.

Она раздвигала шторы, впускала к себе сразу всё — и море, и лиман, и желтый берег, и солнце, и тонкую скорлупу луны. Устраивалась за маленьким деревянным столом. Открывала книгу, которую приносила с собой, — старую лоцию. Ее давал Галке Иван Алексеевич. Единственное, что сохранилось у него от прежнего, разбитого бомбами маяка.

Читала до тех пор, пока не окликала Валентина Федоровна — звала обедать.

Вечерами Галка ждала первой вспышки маяка, первых двух секунд света, как они полетят в море. Захватят крышу дома, верхушки жердел и часть берега до самой воды, где причален к якорю баркас.

Всю ночь баркас будет вспыхивать и гаснуть. Всю ночь будут вспыхивать и гаснуть крыша дома и верхушки жердел.

А в тишине — стук часов с кодовым диском, редкий ночной крик цапель.

Галка ездила с Иваном Алексеевичем на склад за горючим для движка.

Выкатывали из сарая повозку и запрягали Такелажа. Галка сама запрягала — училась.

Такелаж выходил за ворота и поворачивал налево: знал, куда и зачем ехать. Взяли железную бочку — значит, в Темрюк на склад за горючим.

Обязательно останавливались возле жердел: с повозки можно достать самые спелые. Галка срывала их и потом ела всю дорогу.

Даже Иван Алексеевич ел — Галка уговаривала.

В Темрюке получали горючее и потом возвращались обратно.

Галка помогала Ивану Алексеевичу и его заместителю Черкашину доливать аккумуляторы, очищать от пыли штормовые стекла и направляющие линзы маяка. Проверять ацетиленовый фонарь. Подметала полы, стирала белые квадраты полотна и развешивала сушиться на лиловых заборах колючек.

7

Этот молодой паренек приехал на попутном грузовике со стороны Керченского пролива. Оттуда, откуда приехала и Галка.

Галка была во дворе, набирала из бассейна воду, чтобы напоить Такелажа.

Сразу увидела паренька.

— Нашел! — закричала она, бросила ведро и побежала навстречу.

Паренек обнял ее.

— Как же ты нашел? — не успокаивалась Галка.

— А вот.— И паренек показал на водителя, который высунулся из кабины и помахал Галке рукой.— Он сказал еще на переправе, что живет такая, похожая, на маяке. На Темрюкском. А я знал, что ты где-то здесь. Знал. Вот.

— Нашел!..— шептала Галка, прижимаясь к нему.

Паренек тихонько гладил ее светлые волосы. Молчал. Брошенное ведро одиноко валялось посредине двора. Утром Галка уехала с тем пареньком, который ее здесь нашел.

Иван Алексеевич долго стоял на дороге.





В ЗИМНЕМ ГОРОДЕ

1

Светлана вошла в стеклянный изолятор-бокс, где лежала девочка. Дочка Володи. Слегка выдающиеся, как были у матери, скулы и чуть скошенные темные глаза. Настороженные и грустные.

Заведующий отделением спросил:

— Я слышал, это дочь вашего знакомого?

— Да, друга детства.

— Может, хотите вести девочку?

— Вести? Не знаю.

— А то я распоряжусь, чтобы поместили к вам в палату.

— Хорошо. Поместите ко мне.

Светлана взяла историю болезни девочки. Но что она могла прочитать? Коротенькую, в несколько строк, биографию и подробное описание тяжелой болезни легких.

Родилась в городе Намангане. Болела ветряной оспой, коклюшем, ангиной. Очень нервная и впечатлительная. Мать умерла, когда девочке было восемь месяцев. Отец — штурман авиации дальнего действия. Болезнь в легких вспыхнула неожиданно. Ест плохо, спит тоже плохо. Ни на что не жалуется.

Возвращаясь вечером домой, Светлана думала о девочке, о Володе, о его жене Кальме. Правильно ли она поступила, что взяла девочку к себе? Но разве можно было поступить иначе?

Падал густой, липкий снег. Он завалил на бульварах лестницы, скамейки, вершины деревьев. Залепил всякие часы на площадях — ни цифр, ни стрелок не видно.

Во дворах, за окнами домов, были вывешены елки, чтобы сохранились на морозе к Новому году.

В городе — предпраздничное оживление. Улицы залиты огнями, усыпаны хвоей возле елочных базаров. В магазинах люди покупают продукты по спискам, чтобы чего-нибудь не позабыть. Кассы выбивают чеки метровыми лентами. В столах заказов упаковывают огромные свертки. Они едва пролезают в дверцы автобусов и троллейбусов.

«Все счастливые», — думала Светлана, а у нее на душе беспокойно. Встреча с Володей пробудила прошлое, глупую ссору еще в начале войны.

Володя уехал тогда в авиационное училище. Сперва писал письма. Потом перестал, потому что Светлана не отвечала. Была на него сердита. Да и уставала от работы в госпитале, где находилась почти безвыходно: развешивала и сворачивала для аптеки порошки, гладила и скатывала старые бинты, чтобы ими снова можно было пользоваться, промазывала вазелином инструменты после операций, делала марлевые шарики-тампоны, училась накладывать повязки — круговые, колосовидные, спиральные.

Только однажды, когда Светлана узнала от Кальмы, что Володя, перешивая на гимнастерке подворотничок, вытаскивает нитку, стирает и потом снова ею пользуется, она

взяла пустой конверт, отмотала от катушки белых ниток и послала Володе в этом пустом конверте.

Но это все в прошлом. Главное теперь — девочка. Она серьезно больна. Догадывается ли Володя о серьезности заболевания? А вдруг не удастся спасти девочку? Володя может не простить этого.

Светлана давала девочке самые новые препараты, вводила уколами витамины, следила, чтобы она хорошо ела, отвлекала от мысли о болезни.

Дети в палате быстро поняли, что девочку с продолговатыми грустными глазами нельзя оставлять одну.

Они пускали возле ее постели заводные игрушки, сажали перед ней своих кукол, притаскивали и показывали кошек, которые жили в клинике, читали вслух книжки. Читала книжки и Светлана всем ребятам, когда они собирались у постели девочки.

Девочка пугалась уколов. Еще с утра допытывалась у Светланы:

— А сегодня будете колоть?

Светлана старалась не говорить об этом, спрашивала, почему она не пьет томатный сок, не ест мандарины, давно ли был отец и что подарил. Хотя сама прекрасно знала, когда был Володя и что он принес.

Светлана умела хорошо колоть, у нее был опыт.

Часто вспоминала она первый самостоятельный укол. Было это в перевязочной госпиталя. Иглы и шприц готовы: вскипели в стерилизаторе. Не готова только Светлана — нервничает, не может успокоиться. Опытная сестра Таисия Кондратьевна находится тут же, в перевязочной.

На табурете, спиной к Светлане, сидит раненый боец. Требуется ввести ему в руку витамин.

Таисия Кондратьевна специально посадила бойца спиной к Светлане, чтобы не видел, как она готовится к уколу, не смущал ее.

Светлана кусочком марли обернула горлышко ампулы, отломала. Взяла шприц и всунула было иглу в ампулу, но промахнулась — игла скользнула снаружи по ампуле.

— Смени,— сказала Таисия Кондратьевна, потому что игла стала уже не стерильной.

Светлана сменила.

Наконец игла в ампуле, и Светлана всасывает шприцем лекарство. В шприце — пузыри.

— Срез иглы держи книзу, ампулу наклони,— тихо говорит Таисия Кондратьевна.

Светлана думает только об одном: лишь бы не смотрели ей на пальцы. Они, может быть, дрожат, а это никуда не годится!

Светлана удалила из шприца пузыри. Долго перехватывала шприц, все боялась, что соскочит игла. Потом подошла к бойцу, зашипнула у него на руке складку — зафиксировала кожу — и, придерживав дыхание, точно стреляла из винтовки, ударом вколола иглу.

Боец крикнул. Плохо сделала! Больно!

Когда боец ушел из перевязочной, Таисия Кондратьевна сказала:

— Все наладится. Только знай — вводить иглу ударом надо очень точно, а то можно ее обломить. Кожу фиксируй крепче — не так больно будет. Потренируйся дома на подушке — очень помогает.

— На какой подушке?

— На обыкновенной, пуховой. Я так училась, в старину еще. Перестанешь бояться — пальцы успокоятся.

«Значит, пальцы все-таки дрожали».

Дома Светлана каждое утро колола шприцем подушку. Ночью, перед тем как лечь спать, опять колола.

Девочка уже успела, как и все дети, полюбить доктора. Показывала Светлане отцовские подарки. А потом снова спрашивала:

— А колоть меня будете?

— Да, колоть буду,— не выдерживала Светлана.— Это необходимо. Тогда ты выздоровеешь и поедешь в Крым, к морю.

— А что такое Крым? Расскажите мне. Далеко до него ехать?

— Далеко. Тысячу километров.

За окном намело крутые сугробы. Высокий снег покрыл землю — стужа, зима. А Светлана рассказывает девочке, как сама, еще маленькой, ездила на юг, в Крым, где зреют абрикосы и черешни, где на теплых крепких скалах живут ласточки, где бьется о берег сильное море.

Мчится курьерский моезд с севера на юг. Мимо открытого окошка летит горячий ветер. Гудят рожки путевых обходчиков. На станциях слышно, как хлопают крышки над буксами: это смазчики заливают буксы автолом.

Отец по дороге покупает вишни, привязанные за хвостики к длинным палочкам. Мама обрывает вишни с палочек, моет и складывает в чашку. А ведь самое интересное — есть с палочек.

Но огорчение быстро забывается: на следующей станции отец покупает еще что-нибудь — или молодые, точно налитые молоком початки, или малосольные огурцы с хрупом (откусишь огурец, а он — хруп-хруп!), или головки подсолнухов, клейкие и шершавые.

На какой-нибудь из станций Светлана замечала, что полотно железной дороги посыпано уже не песком, а ракушками. Значит, скоро Крым, скоро море.

— А что такое море? — спрашивала девочка.

— Море... Это солнечная вода, много воды, и белые птицы — чайки.

— Солнечная вода... Белые птицы — чайки. Я хочу видеть солнечную воду и чаек!..

— Ты их увидишь, когда выздоровеешь.

Светлана принесла девочке крупную пятнистую раковину и сказала:

— Приложи к уху.

Девочка приложила.

— Слышишь?

— Слышу. В ней что-то шумит.

— Это шумит море.

В тот вечер девочка так и уснула с пятнистой раковиной возле себя, в которой, не умолкая, бурлил и пенился прибой, слышался шорох крыльев чаек и тихий звон: это падали в море звезды и ударялись о камни на дне.

И пусть этой маленькой девочке, которая в жизни не держала в руках ничего тяжелее цветов и в глазах которой не бывали еще ни упрек, ни горечь, ни обида, а заглядывали в них только герои из детских книжек да плюшевые игрушки, — пусть приснятся ей чайки и бушующее море, теплые скалы и желтые акации. Пусть приснятся

смелый большой самолет с гулкими моторами, на котором летит ее отец и думает о ней.

Девочке делалось все лучше: температура установилась нормальная, появился аппетит. Она повеселела, подружилась с ребятами.

До Нового года оставался один день. Светлана спросила у Володи, где он собирается встречать праздник.

Володя сказал, что нигде не собирается.

— Может, зайдешь ко мне?

— Хорошо, я зайду.

Они разговаривали в ординаторской комнате. Светлана сняла халат и убрала в шкаф.

— Ты знаешь, Володя, девочка освоилась с клиникой, привыкла к сестрам и няням.

— Да. И к тебе привыкла.

У Светланы дрогнуло сердце.

Она стояла спиной к Володе, закрывала шкаф. Боялась обернуться — чувствовала, как от румянца потеплели щеки и шея. Может, он сказал это просто так. Привыкла, как к врачу.

Светлана и Володя оделись и вышли из клиники. Володя торопился — ему надо было на аэродром.

Светлана еще раз спросила:

— Так ты придешь?

— Приду.

Светлане хотелось сказать, что будет очень рада, но не хватило мужества.

Подъехал троллейбус. Светлана впрыгнула на подножку. Володя поддержал её за локоть. Ласково кивнул. Дверцы затворились, и Светлана с бьющимся сердцем уехала.

Кальма неожиданно вошла в жизнь Володи. Случилось это в Намангане на школьном выпускном вечере. Светлана и Володя были в ссоре. Учителя и ребята попросили Кальму станцевать на прощание танец с пиалушками. Кальма согласилась.

Центр зала покрыли ковром. Внесли бубен, две пиалы и специальные роговые колпачки для пальцев. Кальма, в узких шароварах, в свободном, без пояса, платье, в замшевых туфлях с наборными каблуками, спокойная и, как всегда, уверенная в себе, вышла на ковер. Музыкант

поднял кожаный прозрачный бубен и выбил на нем короткую глухую дробь.

Кальма сняла пеструю бухарскую тюбетейку, освободила косы. Они упали за спину — черные, длинные. «Для чего это она сделала?» — не поняла Светлана.

Кальма бросила тюбетейку подругам. Надела на два пальца каждой руки роговые колпачки и взяла пиалушки.

Музыкант негромко барабанил в бубен, подкидывал его над головой.

«Ну чего она тянет?» — возмущалась Светлана.

Кальма, качнувшись, пошла быстрым мелким шагом. Бубен встряхнулся, вспыхнул и заработал часто, ритмично. Кальма прошла еще немного, остановилась, выпрямилась и замерла.

Начался танец рук. Руки изгибались, вытягивались, падали. Вновь оживали.

Кальма закрыла глаза. Казалось, для того, чтобы внимание было обращено только на ее руки. Когда поднимала их, широкие рукава платья скатывались на плечи.

Вдруг Кальма резко откинулась. Косы достали до земли. Бубен замолк. В зале сделалось тихо. Кальма медленно перегибалась назад. Ниже и ниже. Косы скручивались на ковре в живое черное кольцо.

«Так вот для чего сняла тюбетейку», — поняла теперь Светлана. Она, как и все в зале, была захвачена танцем.

Володя сидел близко у ковра. Лицо его горело.

Пальцы Кальмы пришли в движение. Роговые колпачки застучали по пиалушкам. Разлетелось вихрем платье. Пиалушки стучали чаще и чаще. Танец делался стремительнее. Тяжелые концы кос били Кальму по спине. Перелетев через плечи, били по груди. Кальма разгорячилась. Губы ее смеялись. Она приседала, вскакивала. А в зале раздавался стук пиалушек.

2

Десять часов вечера. Канун Нового года. Светлана одна в комнате. На туалетном столике с трехстворчатым зеркалом горит лампа. Светлана сидит перед зеркалом на низком круглом пуфе. Слушает ветер, который несет по улицам мелкий снег.

На Светлане ее лучшее платье: зеленое, с широкой, в складках, юбкой и модным воротником-стойкой.

Светлане хотелось быть в этот вечер молодой. Совсем юной, как тогда, в Намангане.

Светлана трогала волосы — легкие, с ореховым отливом, подбивала так, что они заламывались волной. Потом брала роговой гребень и медленно расчесывала их. Трогала Светлана и складки между бровями — что это? Конец юности или признак упрямства?

На туалетном столике привычные с детства мелочи: фарфоровый щенок — вислоухий, бородатый, на коротких лапах. Мальчик-гном Квинти-Конти с лесным фонариком. Черная гибкая пантера Багира. В фаянсовом башмачке — заколки-невидимки, булавки, брошки, кнопки, пуговицы.

Светлана подобрала волосы, заколола шпильками и «невидимками». Не понравилось. Такая прическа делала слишком взрослой. Опять распустила волосы, и они рассыпались по плечам. Проще и лучше.

Светлана высыпала из фаянсового башмачка всё на стол. Может, что-нибудь надеть — брошку или браслетик из янтаря? Она увидела вещь, для посторонних совсем непонятную, — маленький уровень: запаянную металлическую трубку со стеклышком. В трубке, в специальной спиртовой жидкости, — пузырек воздуха.

Уровень во время войны подарил Светлане в госпитале боец-артиллерист, когда она работала медсестрой в операционной.

...Светлана была обижена на хирурга. Он незаслуженно накричал на нее за неполадку с автоклавом. Светлана выбежала из предоперационной в коридор и столкнулась с бойцом-артиллеристом. Он о чем-то спросил Светлану. Светлана резко ответила. Артиллерист не обиделся, а вытащил из кармана пижамы этот уровень.

«Вот, Светлана Юрьевна, возьмите. На себе испробовал. — И он протянул уровень. — Пушку мою под Оршей разбило. Я его из пушки на память вынул».

Светлана взяла уровень.

«Когда разволнуетесь, так вы, прежде чем что-нибудь сделать или сказать, достаньте его и попытайтесь поймать в центр пузырек. Успокаивает. Попробуйте».

Светлана попробовала.

Пузырек никак не хотел задерживаться в центре трубки между красными отметинами.

Артиллерист приговаривал:

«Аккуратнее. Еще аккуратнее».

Наконец пузырек установился в красных отметинах.

«Ну как? Затихли нервы?»

«Затихли».

«Значит, помогло?»

«Помогло».

С тех пор Светлана часто, когда нервничала, пользовалась уровнем.

Вот и сейчас начала ловить пузырек. Но пузырек не ловился.

Светлана встала и подошла к забушеванному метелью окну.

Потрогала щеки — горели. И что за лицо! Стоит хоть немного разволноваться, мгновенно заливается румянцем. Иногда даже стыдно делается.

Светлана прислонилась сначала одной, потом другой щекой к оконному стеклу, чтобы щеки остыли.

Какой снежный вечер — настоящий новогодний. Летят под ветром из темноты снежинки. Вспыхивают на свету — легкие, морозные, и гаснут, исчезая в темноте.

Светлана вдруг вспомнила, что на ней не надето ничего нового. Плохая примета. В наступающем году не исполнится задуманное.

Она взяла ножницы, открыла шкаф. Нашла сверток с материей, из которой собиралась сшить летнее платье. Отрезала лоскуток и подколола булавкой на рукаве внутри под манжетом, чтобы не было заметно. Теперь задуманное должно сбыться.

Светлана вышла на кухню. Соседи откупоривали бутылки с вином, открывали консервы, протирали рюмки, раскладывали по тарелкам закуски.

У Светланы давно все было готово. Она предложила свою помощь соседям. Повязала фартук и занялась составлением из горчицы, постного масла и сметаны соуса для салата.

Время шло, а Володи все не было. Соседи накрыли стол, к ним собрались гости, а Володи все нет. Скоро двенадцать часов.

Появился Володя.

— Прости, но я на одну секунду,— торопливо сказал он и протянул Светлане букет свежих красных астр, пахнущих снегом.— У ворот ждет машина. Срочное задание. Механики греют на аэродроме моторы. Вернусь — тогда выпьем за счастье.— Он крепко пожал ей руки.— Береги девочку.

Светлана, растерянная, застыла в дверях.

— Володя! погоди! Я спущусь до подъезда.

— Накинь пальто.

— Мне не холодно.

Они вышли на ступеньки подъезда, еще раз простились.

Выходя уже за ворота, он оглянулся и увидел девушку в зеленом платье, с букетом красных астр, присыпанных снегом.

Помахал рукой. Светлана тоже помахала.

...Протяжные бронзовые колокола башенных часов Кремля удар за ударом пробил двенадцать.

Светлана вернулась в комнату. Начала разбирать букет, чтобы поставить в две вазы. Из букета выпал листок бумаги. Светлана развернула его. Прочитала:

Желаю твоему сердцу —
Самой молодой молодости.
Желаю твоему сердцу —
Самой сильной силы.
Желаю твоему сердцу —
Исполнения самых желанных желаний.

За окном вспыхивали и гасли снежинки. На стене колебалась длинная тень, размахивала крыльями: это раскачивалась на улице, на перекрестке, висячая лампа.

Светлана разделась и легла. На душе было покойно и радостно. Она долго лежала без сна,— думала, вспоминала, мечтала.

Где-то высоко в облаках, навстречу зимнему ветру, летит самолет. Счастливого пути, Володя!..

К утру метель прекратилась. Рассвет зарождался тихий, в снегу, в хрупком инее, в белых дымаках над крышами. Потухли уличные фонари, потухли тени.

Наступил первый день нового года, нового счастья.

Ухудшение началось неожиданно: у девочки повысилась температура, появилась слабость, одышка, пропал аппетит.

Пришлось вновь поместить ее в бокс. Чтобы девочке было веселее, Светлана подарила ей фарфорового щенка. Девочка щенку обрадовалась, поставила на тумбочку.

Светлана не могла понять, почему заболевание возобновилось с новой силой. Неужели организм сдается, уступает?

Решила показать девочку профессору. Но в эти дни профессор приезжал в клинику редко: у него были научные конференции.

Наконец однажды Светлана столкнулась с ним в раздевалке.

— Профессор, посмотрите девочку. С ней нехорошо. Я беспокоюсь.

Профессор был уже в пальто. Он немедленно разделся, попросил халат и пошел за Светланой в бокс.

Девочка была вялой, но все же приподнялась навстречу.

Профессор осмотрел ее. Потребовал анализы и рентгеновские снимки. Потом увидел фарфорового щенка.

— Бородатый какой пес. Это твой?

— Мой.

— Ну, спи-засыпай! — и положил щенка на подушку. — И пес пусть спит-засыпает.

— Я буду спать. А папа скоро вернется?

— Папа? А где твой папа?

— Улетел на самолете.

— Улетел... Ничего. Постараемся, чтобы скорее вернулся.

Профессор и Светлана вышли в коридор. Профессор — задумчивый, руки — за спину, халат расстегнут.

Светлана боялась заговорить. Страх, точно игла, пропик в сердце. Так, молча, вошли в кабинет.

Профессор сел. Светлана осталась стоять.

— Что? Плохо? — не выдержала Светлана.

— Да, плохо. Скоро заболевание отравит организм. Следует предупредить родных. Отец в командировке. А мать ее вы знаете? Кто она?

— Мать...— Светлана глубоко вздохнула, чтобы перебороть боль в груди.— Мать для нее сейчас я.

Профессор встал из-за стола, положил руку Светлане на плечо:

— Родная вы моя! Я должен был сказать это. Вы врач, и я врач. Надо попробовать все средства.

Светлана сжала губы, чтобы не дрожал подбородок. Прошла в ординаторскую. Необходимо побыть одной. Неужели девочка погибнет? Отчего так в жизни бывает? Когда думалось — все уже хорошо, все наладилось, девочке вдруг делается плохо. Да, очень плохо. И нельзя ничем помочь.

Но Светлана должна быть сильной. Об этом просил Володя. Она врач, лечащий врач девочки, и ей нельзя быть не сильной.

Во-первых, надо позвонить к Володе в часть, посоветоваться с полковником, командиром части. Володя много говорил о полковнике хорошего. Во-вторых, записать в историю болезни консультацию профессора. В-третьих, заказать для девочки дополнительное количество антибиотиков.

Светлана подошла к телефону и позвонила на аэродром.

— Полковник в ангаре, — ответил дежурный. — Что передать? Кто звонил?

— Передайте, что звонила доктор Карелина. Пожалуйста, это срочно. Не забудьте.

— Что вы! У нас не забывают. Назовите номер телефона, и полковник вам позвонит.

Светлана назвала номер, положила трубку и пошла работать. Успокоилась. Заставила себя успокоиться: ее ждут больные дети.

Вскоре Светлану позвали к телефону.

— Слушаю. Да, я Карелина. Здравствуйте, товарищ полковник. Я лечу дочку майора Тареева.

— Как же, как же, Светлана Юрьевна.

«Светлана Юрьевна!» Откуда ему известно? Наверное, Володя сказал.

— Что девочка? Как она?

— Состояние резко ухудшилось.

— Та-ак.— Полковник помолчал.— В чем и какая требуется помощь?

— Помощь... Я не знаю. Нельзя ли вызвать майора Тареева? Жизнь девочки под угрозой.

— Под угрозой?!

— Да.

Полковник опять помолчал.

— Тареева отзову. Но в Москву он попадет не раньше, чем через несколько дней. Скорее — невозможно.

— Хорошо, товарищ полковник. Спасибо вам. До свидания!

— До свидания, доктор!

Борьба продолжалась.

Светлана через каждые три часа делала уколы антибиотиков. Давала кислород. Сердечные средства.

Девочка теряла сознание. Бредила. Звала отца. Говорила о море. О белых птицах.

Светлана сидела у постели девочки, держала в руках ее руку.

Ночью подойдет дежурная сестра, скажет:

— Светлана Юрьевна, идите прилягте. Я посижу.

— Ничего, я не устала.

— Ну что там — ничего! Идите. Если понадобится, я покличу.

— Только вы уж пожалуйста.

— Ну-ну. Не беспокойтесь.

Светлана ложилась отдохнуть в коридоре на кушетку. Лежала, и все казалось, что девочка зовет, что у нее опять слабеет сердце и надо опять делать укол камфары или кофеина.

Не спасти уже девочку. Нет, не спасти.

Профессор, когда подходит к ней, хмурится, трогает лоб и считает пульс. Ну зачем он так хмурится?

В коридоре темно. Сонно дышат в палатах дети. Булькает, переливается в батареях вода. Огни автомобильных фар изредка скользят по потолку и стенам.

Светлана слушает тревожные короткие удары сердца и зовет, зовет Володю...

Из бокса доносится звон стекла. Шприц!

Светлана вскакивает и бежит к девочке.

— Что? Что случилось?

— Ничего не случилось.

— Мне показалось, вы готовите шприц.

— Я давала девочке пить.

В боксе слабый свет от настольной лампы под глубоким абажуром. У девочки глаза открыты. Строгие, красивые глаза Кальмы.

— Папа,— шепчет девочка. Она сейчас в сознании.— Доктор, где папа?

— Папа уже летит в Москву.

— Летит на самолете,— говорит девочка.— Папа у меня храбрый. Пусть мороз, а он прилетит ко мне. Да, доктор?

— Да. Он храбрый. Он прилетит, пусть мороз.

— А вы знаете, кто стучит за окном?

— Кто?

— Мороз. Ему скучно ночью. Он сядет на крышу и приколачивает ледяными гвоздями сосульки. Холодно. Я боюсь холода.

Светлана понимает — опять легкий бред.

— Это Снеговик со своей дочкой Снежинкой тебя проводить приходит. Снежинка ласковая, веселая, в бобровом капоре, в тулупчике на жемчужных пуговках, в шубенных рукавичках. Помнишь книжку про нее?

— Да,— говорит девочка и закрывает глаза. Она устала.

Слышно, как по коридору проходит нянечка в мягких, войлочных туфлях. Где-то вдалеке скрипнет дверь или донесется приглушенный свист — это из баллона набирают кислород в резиновую подушку. И вновь тишина.

Тишина в боксе. Тишина в клинике. Тишина за ночным морозным окном.

Девочка открывает глаза:

— Доктор, поговорите о чем-нибудь со мной.

— О чем же поговорить?

— Расскажите про какую-нибудь книжку. Я люблю слушать про книги.

— Хорошо. Я расскажу тебе про одну книжку. У самого моря, в большом городе, заболела девочка. Посмотрели ее доктора и сказали, что девочку можно скоро вылечить, если в городе наступит тишина. Девочка должна уснуть. И вот на время замолк большой город: перестали гудеть паровозы и пароходы, фабрики и заводы, перестали кричать ласточки, шелестеть на деревьях листья, и даже сми-

рилось море. Наступила тишина. И девочка уснула. А город не спал, волновался. Не спали доктора, ласточки, деревья, море. Ждали, чтобы девочка проснулась — здоровая и веселая.

«Вот и теперь,— подумала Светлана,— не спит старый профессор — нет-нет да и позвонит по телефону: ну как? Не спит дежурный врач, тоже заходит: ну как? Торопится, не спит Володя. Звонит полковник».

— А что было, когда она проснулась? — спросила девочка.

— Она поправилась и больше не болела.

— Никогда не болела?

— Никогда.

— И осталась жить в том городе, возле моря?

— Да.

— И у нас сейчас тихо, в нашем городе.

— Да, тихо.

— И я усну.

— Усни и ты.

Каждые два часа Светлана делает записи в дневнике истории болезни девочки.

«23 часа 05 минут. Температура — 39. Состояние крайне тяжелое. Дыхание — до 36 в минуту. Пульс — 100, вялый, не вполне ритмичный».

Девочке все хуже. Она все чаще теряет сознание. Дыхание учащается. Сердце угасает.

Светлана уже не сомневалась: девочка умирала. Теперь она хотела только одного, чтобы успел прилететь Володя.

Однажды вечером няня вызвала ее и сказала:

— Вас требует в швейцарскую военный.

Значит, успел... Но как она скажет ему о девочке? Какими словами? Где взять эти слова?

Володя был в летной рабочей форме: в унтах, в меховой куртке, через плечо на ремешке — планшет с прицепленным к нему шлемофоном. Лицо спокойное, но очень усталое. Около припухших от утомления глаз — морщины, морщины, мелкие, резкие.

— Володя, я так тебя ждала! Девочка...

— Знаю. Мне сказал полковник.

— Все сказал?

— Да, все.

Володя снял куртку, и Светлана повесила ее на вешалку. Нашла чистый халат, подала Володе.

В швейцарскую вошел солдат, козырнул:

— Товарищ майор, мне быть при вас?

— Нет. Возвращайтесь на аэродром.

— Слушаюсь!

Солдат ушел.

— Ты что, прямо с аэродрома?

— Да.

Володя пытался завязать тесемки на рукавах халата. Медлил идти к девочке. Готовил себя для встречи с ней.

В раздевалку вбежала сестра:

— Светлана Юрьевна! Скорее!

Девочка лежала на высоких подушках. Глаза закрыты. Ночная рубашка сползла с плеч, оголила худенькую грудь с глубокой впадинкой на шее между ключицами.

— Камфару и кислород! — приказала Светлана сестре. Повернулась к Володе: — Садись.

— Я постою, — ответил он не сразу.

Принесли шприц и кислородную подушку.

Светлана сделала укол. Смочила в воде кусочек марли, обмотала воронку у мундштука подушки, чтобы кислород не сушил губы, и приложила ее ко рту девочки.

Володя стоял сзади. Лицо скрыто темнотой. Светлана чувствовала, с какой силой он сдавил пальцами спинку стула, на котором она сидела.

Светлана кончила давать подушку. Сестра принесла следующую. Дыхание у девочки оставалось затрудненным.

Вдруг ресницы раскрылись.

— Я прилетел к тебе! — сказал Володя.

Девочка не ответила. Только ресницы вздрогнули.

— Ты меня слышишь? Я прилетел к тебе.

— Она не слышит, — ответила с трудом Светлана. — Она без сознания.

Володя приподнял девочку. Прижал к себе.

И опять тишина. И опять Володя стоит за спинкой стула. Светлана дает подушку за подушкой кислород. Смачивает и смачивает марлю на воронке мундштука.

Капельки стекают по подбородку девочки в ямку между ключицами. Пятнышко воды. Светлана следит, как оно

пульсирует у горла. Боится вытереть. Кажется, что, если прикоснется, перестанет пульсировать, девочка погибнет.

Светлана не отрываясь смотрит на него, на это пятнышко.

Потянулись длинные, молчаливые минуты. Молчал Володя. Молчала Светлана. Только сипел кислород в мундштуке подушки. Дыхание девочки делалось реже и неслышнее.

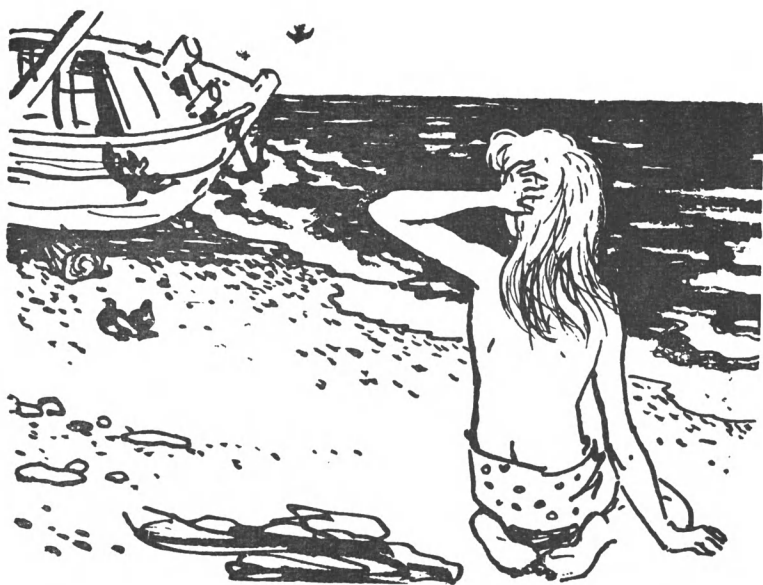
И вот свершилось то, что должно было свершиться: пятнышко воды шевельнулось в последний раз и застыло.

Сыпался холодный снег за холодным окном.

Потонули в снегу, погасли огни города.

Потонули, погасли звезды.





СИНЯЯ ПЕСНЯ

1

Длинные накатистые волны медленно идут на берег. Морская трава, свалившаяся в коричневый пояс, лежит вдоль берега у самого края прибоя. В траве копошатся мелкие крабы и улитки.

Берег — узкая стрелка. По одну сторону — гнилое море Сиваш, по другую — Азовское.

Место пустынное, нежилое: песок, ракушки. Ни деревьев, ни пресной воды. Кустики песчанки и степные жесткие цветы дрока.

На стрелке жили дед Ермак с внучкой Капой.

Дед сторожил соль, которую рабочие добывали из Сиваша. Ее посылали на химический завод в Запорожье, ставили опыты.

Дед прикрывал соль рогожей, чтобы не раздувало ветром, сушил, перебрасывал лопатой. Оберегал от коз, которые приходили стадами из соседнего поселка Джурчи.

Рабочие были сезонными. Когда приезжали, разбивали палатки. Добыв нужное количество соли, оставляли деду Ермаку для окончательной просушки, сворачивали палатки и уезжали.

И вновь на стрелке возвышался одинокий дом из белого камня с медным флюгером на крыше, пропахший рыбацкими сетями и канатами, сложенными на чердаке.

Возле дома под навесом стояла железная бочка на резиновых надувных колесах. В ней была питьевая вода.

Шофер Георгий дважды в неделю привозил полную бочку и забирал пустую. Бочку цеплял к маленькому открытому автомобилю с брезентовым верхом и деревянным на заклепках рулем. Привозил еще Георгий табак для трубки. Больше деду Ермаку ничего и не надо. Главнде — табак. А для Капы главное — море. Пробеги двадцать шагов, и вот оно — синяя песня!.. И Капа любила эту синюю песню.

...Встанет утром солнце и разбудит море. А море тронет пески и разбудит в песках ветер. А ветер повернет на крыше флюгер, зашумит вертушкой и разбудит Капу.

Растопив мангал и поставив на него чайник, Капа хватает гребешок и бежит к морю.

Над морем летают дикие голуби. Плавает пух одуванчиков: за ночь нанесло ветром со стрелки, и он держится на воде. Когда поднимется первая волна, пух намокнет и утонет.

На берегу на бревенчатых катках стоит баркас «Гном». Он такой же старый, как и якорь, который свисает с его носа.

Дед в молодости рыбачил на баркасе со своими сетями.

На «Гноме» давно не плавают. С тех пор, как пропали рыбы пастбища и большая рыба ушла.

Сохранились и цементные чаны для засолки бычков и султанки, и домик-кухня для стряпухи, и ворот с тросом, чтобы вытаскивать из воды лодки, и колья для починки и сушки сетей. Стоит и рыбацкая вышка, сколоченная из жердей, с лестницей. С вышки наблюдали за ходом рыбы.

Капа сбросила платье, вошла в утреннее море.

Вода светлая, тихая до самого дна, где лежит ребристый песок. Под ногой вскидывается облачком и медленно оседает, затягивает след ноги.

Вздрагивают, плещутся на ребристом песке водяные тени, бродят пугливые мальки. Спят тяжелые молчаливые камни.

Капа плывет в глубину. Уходит из-под ног ребристый песок, густеют водяные тени. Капа ныряет с открытыми глазами.

В глубине, подсвеченная солнцем, висит розовая лампа медузы.

Капа переворачивается на спину и плывет к берегу. Прохладная вода обтекает плечи. Звонко и чисто стучит сердце. Без усталости бьют воду ноги. Широкими взмахами работают руки. Капа выходит на берег. Сквозь тонкую кожу просвечивают голубые жилки, будто наведенные морем.

Капа не спеша расчесывает гребнем волосы. Потом ложится на мелкие сухие ракушки, подкладывает под голову руки и смотрит вдаль, где поднимается в небо дым летних облаков, а в бурю летают соленые косяки брызг.

На десятки километров тянется пляж. И на нем только Капа и дикие голуби. Старый «Гном» и пух одуванчиков.

Ветер высушил Капины волосы и рассыпал по плечам.

В море вдалеке, куда смотрела Капа, родилась волна. На верхушке зашелестела пена. Волна дошла до берега и потопила одуванчики.

Послышался сигнал автомобиля. Это Георгий везет воду и зовет сигналом Капу.

Капа надела теплое от солнца платье и побежала навстречу маленькому автомобилю, сзади которого на резиновых колесах катилась бочка с водой.

Дороги на стрелке нет. Ровный, слежавшийся ракушечник и крепкие, затвердевшие пески. Можно ездить вдоль и поперек.

Георгий увидел Капу, повернул к ней.

— Здравствуй, Георгий! — кричит Капа и размахивает гребешком.

— Здравствуй! — высовывается сбоку из машины Георгий.

Капа забирается в автомобиль.

— Ну, как старик? — спрашивает Георгий. — Табак не кончился?

— Кончился. Сердитый.

— Повеселеет.

Георгий кивнул на заднее сиденье, где лежал перевязанный шпагатом листовой табак. Внизу у сиденья стоял короб с углем для мангала.

— А тебе Марик не повстречался?

— Нет. Спит, наверное.

— А Пухляш?

— Тоже нет. Разбой повстречался. Сюда идет.

Капа засмеялась. Разбой — самый отчаянный козел на стрелке.

Дед Ермак не любит Разбоя. Считает, что от него больше всего беспорядка и что другие козлы тянутся за ним, подражают.

Отгоняя Разбоя от опытной соли и глядя на его черные с косинкой зрачки и powyдерганную бороду, дед Ермак качает головой: «Сотворил бог — и заплакал».

Георгий и Капа едут к дому. Слышно, как в бочке плещется вода.

Дом виден издали. Крытая оцинкованным железом крыша остро сверкает. Вдоль стен висит, вялится на солнце рыба: недавний улов деда Ермака.

Возле порога дымит мангал. На нем вместо чайника уже стоит чугунок: дед варит бычков с луком и стручковым перцем.

Георгий въезжает под навес, отцепляет полную бочку и подкатывает для прицепа пустую. Капа вытаскивает короб с углем.

На порог выходит дед Ермак в рубахе навывпуск, простроченной понижу красной ниткой.

— Приехал, значит, — говорит дед. — Ну, иди в дом, бычками с перцем угощать буду. Рыба к нам подходить начала.

Георгий протянул деду табачные листья.

Дед повертел их, отломил кусочек, растер в пальцах, понюхал и одобрительно хмыкнул.

— А ты, — обернулся он к внучке, — воду из старого бочонка в рукомойник выпусти.

— Выпущу.

— И за бычками пригляди, чтоб не перекипели.

— Пригляжу.

— Крышку попусту не поднимай — навар ослабнет.

— Да что я, не знаю!

Дед всегда давал указания по хозяйству. Когда кончался табак и холодная трубка валялась на лавке, указывал особенно усердно. И, если внучка не слушалась, обижаясь и говорил: «Невеличка ты, Капитолина: растолочь в ступке — и на понюшку табаку не хватит, а чистой вредности сплошные проценты».

Георгий и дед Ермак вошли в дом.

Капа выпустила из старой бочки, которую Георгий увезет с собой, остатки воды в ведро. Наполнила рукомойник, потом прошла в степь, где у камня Петушина Шпора стояла поилка для голубей, и налила в нее воды.

Вокруг поилки сидели угрюмые жуки и пауки-сенокосцы на высоких соломенных ногах. Они тоже пришли пить воду.

Покончив со старым бочонком, Капа подняла крышку чугуна. Бычки с перцем были готовы. Капа ухватила тряпкой чугуна, внесла в дом.

Дед тонко заточенным ножом резал на дощечке табачные листья.

Георгий подмигнул Капе в сторону деда. Капа улыбнулась и в ответ тоже подмигнула.

— Над стариком смешки выстраиваете...

Поднял голову дед Ермак, нашел под рукой трубку и набил ее табаком.

Капа сбегала и принесла в щипцах уголек из мангала.

Дед положил уголек в трубку. Трубка вздохнула и ожила.

2

Бычки со стручковым перцем оказались под силу одному деду Ермаку.

Георгий откладывал ложку, кашлял и вытирал рукавом глаза. Капа крепилась, но потом тоже начала кашлять, смахивать слезы.

— Хилое вы племя, на ратный подвиг неспособное, — сказал дед Ермак.

— Нет, способное, — ответила Капа, все еще со слезами на ресницах. — Только без ваших стручков и бычков!

— В прежние года,— поднял ложку дед,— когда я служил в пушкарях в Шестом Яртаульском семисотенном гвардейском...

Во дворе хрипло, как треснутый кувшин, заблеял Разбой.

— Вражья сила! — Дед бросил ложку.— Припожаловал!

Капа и Георгий выбежали на порог.

Автомобиль окружили козлы. Разбой взобрался в кабину, что-то дожевывал и покрикивал — подбадривал дружков.

Георгий схватил лопату, начал разгонять стадо.

Разбой подпрыгнул, боднул лопату и убежал за угол дома.

— Сигареты слопал,— сказал Георгий, поднимая со дна машины пустую пачку.

Из-за угла высунулась повыдерганная борода и косящий черный глаз.

— Поймаю — привяжу за бороду к машине и отвезу на меховую фабрику! — пригрозил Георгий Разбою.— Так и запомни!

Разбой ответил треснутым кувшином и убрал бороду.

Георгий поставил лопату на порог и спросил у Капы:

— Может, в магазин подвезти? Чего по хозяйству нужно?

— Дедусь! — крикнула Капа в дом.— У нас чай кончается. Я поеду в Джурчи!

— Поезжай.

Дед сидел у открытого окна, набивал трубку.

Капа взяла кошелку, положила неполную бутылку козьего молока и кусок хлеба.

Георгий развернул автомобиль.

Капа села, как всегда, впереди. Кошелку пристроила у ног, чтобы не пролить молоко. Георгий дал газ, и автомобиль помчался.

Пустая бочка громко тряслась на буграх. Из-под колес часто выскакивали дикие кролики. Они расплодились на стрелке. Хлопая желто-синими крыльями, вспархивали сизоворонки и опять садились, исчезали среди песков.

В низине, где густо цвели дроки, Капа попросила Георгия остановиться. Достала из кошелки бутылку молока и подошла к дрокам:

— Марик, Марик!

Никто не показывался. Капа тихонько присвистнула и зашипела:

— Пст-шш... Пст-шш...

Из дрока высунулась голова ужа.

Капа протянула ладонь:

— Марик, это я, Капа!

Марик положил на ладонь голову и закрыл глаза.

— Марик, я спешу в Джурчи, в магазин,— сказала Капа.— Буду возвращаться — тогда с тобой посижу,— мне надо купить чай.

Капа отыскала в кустах блюдце, которое здесь прятала, и налила молока.

Махнула Марику на прощание рукой и пошла к автомобилю.

Возле деревянного настила через сухую канаву Георгий сам остановил машину.

Под настилом жил кролик Пухляш. Серый с черным рваным ухом.

Когда Пухляш был маленьким, ухо ему порвал кобчик.

Капа долго звала кролика, но Пухляш не показывался.

Капа положила под настил хлеб, и автомобиль покатил дальше.

В поселке Капа распрощалась с Георгием и пошла в магазин.

В магазине Капа купила две большие пачки чая, послушала новые пластинки с песнями. Их заводил на патефоне продавец Витя, чтобы веселее было торговать. С разрешения Вити перемерила все береты и шляпы. Просто так, тоже для веселости. Потом пошла на почту к Зое за свежими газетами и журналами.

3

Капа сидела в «Гноме».

На борту было развешено мокрое белье. Капа закончила стирку и отдыхала.

На дне «Гнома» валялись банки из-под краски, черпак, багор, пробковые поплавки для кошельковых неводов, вешки.

Море дремало, и тихие волны не трогали на берегу коричневый пояс водорослей, оставленный большим прибоем. Крабы и улитки перебрались из пояса ближе к воде.

Вокруг «Гнома» вились стрекозы. Цеплялись к мокрому белью и повисали голубыми крестами с прозрачной перекладиной.

Над стрелкой курилось полуденное марево.

Если в него поглядеть повнимательнее, то в дрожании степного жара можно увидеть горы, деревья, водопады или застывшие выдуманные цветы.

Это мираж.

Капе нравилось наблюдать горы, деревья, водопады и застывшие выдуманные цветы. Тогда и стрелка, и «Гном», и море становились сказкой солнца.

И начиналось путешествие, которое Капа придумывала сама для себя.

Старый «Гном», поскрипывая килем, медленно сползает по каткам и шумит парусами, разворачивается, чтобы унести ее в солнечный разлив, где поднимается в небо дым облаков и летают соленые косяки брызг. Часто смотрела она туда вдаль с берега.

По темному следу за кормой летят голуби, провожают.

Медный флюгер повернулся, тоже провожает — пусть скорее несется баркас, вскидывает носом упругие волны.

В глубине моря лежат корабли, не пришедшие в гавань...

В заросшем скалистом гроте затаились длинные тени. Это рыбы-меченосцы.

Еще здесь хранятся чугунные пушки, из которых стрелял дедушка.

На тяжелых лафетах, с затравкой, они бросали ядра в пятнадцать фунтов весом и могли сокрушить любой вражеский фрегат или крепость.

А вокруг грота возвышаются рифы, окаменелые растения, сидят старые бородатые крабы, светятся зелеными искрами моллюски.

Но «Гном» несется все дальше и быстрее. Напрягаются паруса и канаты, срывает пену железный якорь, похрустывают переборки...

Время перешло за полдень. Мираж исчез.

Капа прилегла на скамейке «Гнома», посчитала, когда должен приехать Георгий. Нет, не сегодня. Она решила сделать в доме уборку: помыть полы и окна. Для этого надо много воды. Дедушка тоже ждет Георгия: кончился табак.

Капа услышала крик чаек. Вначале далекий, а потом все ближе и ближе.

Чайки к стрелке прилетали редко, с тех пор как ушла рыба.

Удивленная Капа поглядела в море.

Низко над водой кружились десятки чаек, кричали и суеились.

Капа влезла на рыбацкую вышку. Ладонью прикрыла от солнца глаза. На поверхности моря колыхалось бурое пятно.

«Рыба! Целое поле рыбы».

Капа спустилась с вышки и побежала к дому:

— Дедусь! Дедусь!

Дед Ермак прибывал к форточке нарезанную полосками бумагу от мух.

— Дедусь! Рыба пришла! Много рыбы! У стрелки стоит!

— А не привиделось тебе?

— Да нет же! Вы молотком стучите и не слышите, что на море чайки кормятся.

Дед Ермак прислушался, потом кинул на землю молоток и заспешил вслед за Капой к вышке.

— Сейнер надо,— сказала Капа.— А где его взять?

Дед Ермак взобрался на вышку, поискал по карманам трубку.

— Пустая она, на лавке валяется,— напомнила Капа.

— Ну и бес с ней,— неожиданно равнодушно сказал дед. Он вглядывался в бурое пятно.— Да. Сейнер требуется,— задумчиво покачал дед головой. Вдруг, оживившись, сказал: — Беги в Джурчи, Капитолина. Во всю мочь беги! Ноги у тебя крепкие. И позвони в Керчь.

— А кого спрашивать, дедусь, в Керчи?

— Кого спрашивать?.. Штаб путины еще не работает. Вот что: спрашивай базу Гослова или правление ближайшего колхоза. И все обскажи. Рыбу где-то спугнули, и

она к нам в тишину пришла, спряталась. А может, и пастбища отросли, и она кормится. Ну беги, беги же!

Сначала Капа бежала быстро, потом медленнее, потом пошла шагом.

Передохнула и вновь побежала.

Степной жар, хотя и спал после полудня, все равно затруднял дыхание, обжигал лицо. Сухая трава царапала ноги, хотелось пить.

Повстречался бы Георгий или продавец Витя с велосипедом!

Но нигде никого.

Пусто.

Песок да ракушки.

Георгий, очевидно, уехал за бензином в Славуту, а Витя крутит пластинки и ни о чем не догадывается.

Капа добралась до Джурчей, покраснелась и едва дышала.

Ее окликнули, хотели расспросить о дедке Ермаке.

Она ответила:

— Некогда мне. После!

И бежала дальше, на почту.

На почте было прохладно от побрызганных водой полов. Тихо постукивал телеграфный аппарат. Пахло штемпельной краской и теплым сургучом.

Телеграфистка Зоя читала ленту, которую отстукивал аппарат.

— Тетя Зоя! — кинулась к окошку Капа. — Мне надо позвонить в Керчь.

— погоди, освобожусь.

— Нельзя ждать.

— Дедушка заболел?

— Дедушка здоров. Рыба пришла. Тетя Зоя, скорее, скорее!

Зоя оставила ленту и подошла к коммутатору:

— С кем соединить?

— С базой Гослова.

Зоя надела наушники, включила линию:

— Алло, Керчь! Алло, Керчь! Отвечайте.

Телеграфный аппарат продолжал стучать и выдавать ленту. Она скручивалась на столе белыми шуршащими кольцами.

— Керчь?.. Дайте базу Гослова. Правление... Занято? С кем разговор? С междугородной? На двадцать минут?

— Дедушка говорил, можно спрашивать ближайший колхоз.

Но Зоя уже вызывала дальше:

— Керчь! Дайте контору Рыбакколхозсоюза. Что? Перерыв на обед? Тогда Госрыбтрест. Алло! Госрыбтрест? Принимайте сообщение о рыбе.

Зоя кивнула Капе на телефонную трубку на полочке возле окошка.

Капа схватила трубку и закричала:

— К нам с дедушкой пришла рыба!

— Кто это говорит? Откуда?

— Капа Асанова со стрелки. Дедушка велел позвонить про рыбу.

— Это где Джурчи?

— Да. Высылайте сейнер. Наш дом один на стрелке. И еще «Гном» на берегу. Против него рыба и стоит.

— Кто на берегу?

— «Гном». Баркас.

— Спасибо, Капа Асанова. До свидания!

4

Когда Капа возвращалась из Джурчей и, как всегда, одна шла по стрелке, низко над морем пролетел маленький самолет.

Капа догадалась, что из Керчи послали промыслового разведчика — определить количество рыбы и точное нахождение.

Самолет сделал круг над тем местом, где стояла рыба, потом еще один и вдруг, резко снизившись, полетел навстречу Капе.

Капа испугалась, замерла.

А самолет уже тронул колесами землю и катился по стрелке, вздымая хвостом густую пыль. Выруливал прямо к девочке. Остановился так близко, что были видны фонарики на крыльях, растяжки крепления и даже как мелькают лопасти винта, вспыхивая на солнце.

Летчик махнул рукой.

Капа не поверила, что это он ей машет. Оглянулась. На стрелке по-прежнему никого не было, кроме нее.

Летчик выбрался на крыло, спрыгнул на землю и еще раз махнул.

Тогда Капа побежала к нему.

Она подумала — может, сломался самолет или еще что-нибудь случилось.

Летчик был в легком кожаном шлеме, очки подняты на лоб, в рубашке с подвернутыми рукавами, в брюках галифе и в брезентовых сапогах. На узком ремешке почти у самого колена висел планшет.

Под винтом самолета гнулись от ветра кустики песчанки, а сзади остались на ракушках следы колес.

— Ты Капа Асанова? — громко спросил летчик, перебивая треск мотора.

— Я, — тоже громко ответила Капа. — А вы откуда знаете?

— Поглядел сверху и догадался. И рыбу видел. Много. Скоро сейнер придет.

— Вы его вызовете?

— Уже вызвал по радио. А там что, твой «Гном» на берегу?

— Да.

— И белье на нем сохнет.

Капа удивилась:

— А разве белье сверху видно?

— И коза у дома бегают.

— Это не коза, а козел.

— Ну козел. За ним кто-то с лопатой гоняется.

— Это дедушка. И все-все так и видно? Или вам кто-нибудь рассказал?

— Конечно, видно. Не веришь? Садись, покажу!

— Кто? Я?

— Садись быстренько. Премия тебе за рыбу. Для того и посадку сделал.

Пилот помог Капе влезть в кабину сзади своего кресла. Влез сам. Положил на колени планшет, надел очки.

Капа впервые сидела в самолете. От неожиданности и счастья трудно было дышать. Она напряглась и не шевелилась.

Мотор набрал обороты. Кустики песчанки совсем легли на землю, белым дымом взметнулись ракушки.

Самолет качнулся и двинулся по стрелке. Капа ухвати-
лась за сиденье. Оно напоминало автомобильное: было
на мягких пружинах.

Когда самолет оставил землю и повис в воздухе, Ка-
па не заметила. Самолет наклонил крыло, разворачивался.

Пилот показал вниз.

Внизу Капа отчетливо увидела дом, Разбоя, дедушку,
который, задрав голову, глядел вверх, «Гнома», белье,
рыбачью вышку, соль, покрытую рогожей, камень Пету-
шина Шпора, бурое поле рыбы.

Капа хотела помахать деду рукой, но боялась отпу-
стить сиденье.

А самолет наклонил уже другое крыло и разворачи-
вался в открытое море.

Капу нашел ветер и растрепал волосы.

Самолет выпрямился. Капа перестала бояться и засмея-
лась.





АНТОН ПРИЛЕТИТ ЗАВТРА

1

Отца принесли из леса.

Шесты были переплетены ельником. На ельнике лежал отец.

Дома была Иренка. Мать ушла в костел на спевку.

Иренка в окно увидела, что пильщики несут во двор носилки. За ними шел народ.

Иренка выбежала из дома.

На носилках лежал отец, бледный, неподвижный, с закрытыми глазами. В рабочей блузе, в сапогах с широкими отвернутыми голенищами.

Сбоку на ветки был положен отцовский лесосечный топор на долгом прямом топорнице, брезентовые рукавицы

и скрученная кольцами веревка-ужище, которой оттаскивают срубленные деревья.

Пильщики поставили на землю носилки. Суровые и молчаливые, через плечо на веревках-ужищах замотанные в тряпки пилы, за поясом — рукавицы и лесосечные топоры.

— Отец, — испуганно и тихо позвала Иренка.

— Ель на него упала, — сказал один из пильщиков.

— Ужище в ногах зацуталось, а тут ель подсекли. Она и пакрыла, — сказал другой пильщик.

В толпе вздохнули:

— Иисусе! Мария!

Иренка узнала голос Клитинья.

Кто-то спросил:

— За доктором послали?

— Послали.

— Ксендза надо, — сказала Клитинья.

Она протолкалась вперед. В узком черном платье с кармапом для молитвенной книжки. На кожаном шнурке вокруг шеи привеска с распятием Спасителя, Христа Господня. Привеска железная — отличительный знак общины черного капитула.

Иренка прижалась щекой к ладони отца. От ладони пахло смолой, лесом. Иренка почувствовала — пальцы шевельнулись. Отец смотрел на нее.

Иренка осторожно выбрала из волос отца кусочки коры и хвою.

— Отец...

Она заплакала и прижалась к ладони. Пальцы шевелились, гладили ее по мокрой от слез щеке.

В толпе кто-то сказал:

— Тереза идет.

Шла мать.

Иренка тоже увидела ее. Мать, как и Клитинья, была в черном узком платье.

Она шла торопливо. На груди держала молитвенную книжку.

Рядом с матерью шел ксендз Явид. Высокий, прямой, в плоской шляпе и в белом стихаре. Половина лица у ксендза была обгорелая, стянутая рубцами. Поврежденная ожогом ноздря закрыта шариком ваты.

Люди расступились, пропуская мать и ксендза.

— Тереза, вот...— тихо сказал отец. Он не двигался, только говорил.

Мать глубоко вздохнула, придавила молитвенную книжку к подбородку.

— Я чувствовала. Должно было случиться несчастье.

Ксендз снял шляпу. Одна часть лица скорбно нахмурилась. Другая, обгорелая, осталась неподвижной.

Мать опустила на колени возле носилок.

Ксендз сказал:

— Молитесь, пани Тереза. Молитесь. И ты тоже молись.

Ксендз положил руку на голову Иренки.

— Не надо,— вырвалась Иренка.

— Как ты смеешь?..— прошептала Клитинья и схватила Иренку за плечо.

— Пани Клитинья,— сказал ксендз,— оставьте ребенка. Душа ее в смятении.

— Пусть он уйдет, Тереза.

Это сказал отец. Он сказал громко, изо всех сил.

— Очистите душу, пан Будник,— вмешалась Клитинья.— Перед вами духовный пастырь. Смирите зло перед Спасителем.

— Пусть он уйдет, Тереза,— повторил отец, слабая. Он побледнел еще больше.

— Внесите в дом,— сказала мать пыльщикам и поднялась с колен.

Те взяли носилки. Долго и неумело толкались в дверях.

— Извините,— поклонилась мать ксендзу.

— Душа его в смятении, как и дочери вашей.

Ксендз ребром ладони перекрестил мать и Иренку. Надел шляпу.

— Амэн.

Кто-то из соседей поклонился ксендзу.

Он и их перекрестил и пошел по улице в белом стихаре, будто свеча.

2

Городок Звенец находился в ста пятидесяти километрах от Минска, в Волховицких лесах.

Прежде городок принадлежал еще панской Польше,

хотя жили в нем белорусы. С той поры в Звенце сохранились костел, ксендз Явид, черный капитул, обращение среди старых людей «пан» и «пани».

На краю городка, на поляне, мачтой с полосатым конусом был обозначен аэродром.

Три раза в неделю из Минска прилетал легкий одномоторный самолет. Привозил почту и забирал пассажиров, которым нужно было в Минск. Управлял самолетом молодой пилот Антон Протасов. Летал в клетчатой рубашке и в спортивных тапочках. Догадаться, что Антон пилот, можно было только по летным очкам.

Иренка дружила с Антоном. Всегда встречала на поляне.

Если был базарный день, они шли за молоком и медом. Самолет поручали стеречь мальчишкам, чтобы об него не чесались коровы.

Иренка помогала Антону выбрать глечик с хорошим светлым медом-подседом.

Антон возил мед своей матери, а молоко выпивали сами вместе с мальчишками. Антон скручивал куски старой березовой коры, закалывал щепкой. Получались чашки-колпачки.

Из них пили молоко. Оно пахло березой.

Сажал Иренку в самолет, показывал, куда нужно двигать ручку управления, чтобы самолет летел вверх или вниз. Объяснял геометрию рулей, названия приборов, тумблеров.

Иренка научилась помогать Антону запускать мотор. Антон крутил винт, а она регулировала в кабине сектором газа.

Знала, что такое мазануть посадку, прочно сидеть в небе, угол снижения, скапотировать, данные ориентировки, режим оборотов.

Когда Антон улетал, Иренка привязывала к самолету нитку. Нитка быстро бежала из рук, пока не обрывалась.

— До свидания, Антон!

— До свидания, Иренка!

Иренку, еще маленькой, впервые привела в костел Клитинья.

Отец с бригадой пильщиков ушел на неделю промышлять древесину. Клитинья и мать воспользовались этим, решили приучать Иренку к Спасителю, Христу Господню.

Костел стоял на кладбище. Острый шпиль с крестом на конце, будто воронья лапа. Окна запряты в ниши. На стенах под окнами сухие ручки ржавчины от железных ставен и решеток. Железные двери, бугристые, в густой клепке, с кольцами под навесной замок.

Со шпиля, со звонницы, свешивались до земли веревки. Они были привязаны к колоколам. На звонницу подниматься не безопасно: истлели ступеньки. Поэтому колокола раскачивали снизу.

Мать ушла на хоры.

Клитинья усадила Иренку в зале на скамью рядом с собой. Достала из кармана молитвенную книжку.

Разговаривать и о чем-нибудь спрашивать запретила.

На стенах и на колоннах были намазаны голубые кресты. Перед ними горели свечи. Капли горячего воска, перемешиваясь с пылью, текли по стенам. В глубине зала — крест с распятием Спасителя, Христа Господня.

Такой же крест, только маленький, был дома на століке матери.

Иренка хотела понять и не могла, почему мать всю свою радость и все свое горе отдавала этому человеку, который висел на кресте, неживой и ко всему равнодушный.

Когда отец оставался с пильщиками в лесу, мать в ночной рубашке стояла перед Спасителем, плакала, улыбалась или давала клятвы на верность, на муку мученическую, ежечасную и вечную.

Иренка просыпалась от ее плача или тихого пения, вставала с постели и пугливо заглядывала сквозь открытые двери в комнату, где мать жгла свечу и молилась.

В открытое окно задувал из леса ветер. Мать загорала ладонью свечу. Ладонь становилась красноватой.

Мать не двигалась. Шевелились только губы в молитве: «Иисусе, спаси и помилуй...»

От кого спаси?

От чего помилуй?

Дрожит пламя свечи. Разгорается или тухнет красноватая ладонь. Ширится, дрожит тень креста на стене.

Иренка возвращалась в постель.

Если бы можно, она ушла бы к отцу ночью в лес, где он спит у костра с пильщиками, простой и ясный для Иренки человек.

В зале появился ксендз Явид. На плечах широкая лента. Открыл дверцу в будку, сделанную из фанеры. Сел в кресло, приложил к уху ленту и постучал пальцем в стенку.

В стенке было окно, задернутое рваным покрывалом. Перед окном на полу лежала подушка.

К подушке подошла пани Лапуцкая, жена провизора. Припала на колени и что-то шепотом заговорила в окно ксендзу.

Ксендз кивал головой, слушал.

Иренка догадалась — это исповедь.

Когда пани Лапуцкая поднялась с колен, ксендз ребром ладони благословил ее и постучал пальцем: следующий.

Быстро отпустил всем грехи. Вышел и запер на крючок будку.

Около Иренки на скамью села пани Лапуцкая. Достала увеличительное стекло в черепаховой оправе и начала разбирать тексты молитв в книжке.

Ксендз Явид с прислужниками вышел к распятию. Прислужники вынесли Евангелие.

Кто-то позвонил в ручной звонок, будто встряхнул жестянку с камнями. Ксендз поднял руки. Заиграл орган. Мелодию органа подхватил хор. И в нем голос матери, самый высокий и сильный. Мать в хоре ведущая.

— Секули секулорум, — запел Явид.

— Амэн! Амэн! — ответил хор.

— Доминус вобискум.

— Ойя! Ойя! Ойя! — ответил хор.

Иренка знала: сейчас у матери лицо чужое, недомашнее, нелюбимое. И все здесь в церкви чужое, нелюбимое. Хотелось вскочить со скамьи и бежать. Бежать от ксендза

Явида, от свечей, от непонятных слов молитвы. Но возле Иренки плотно сидели Клитинья и пани Лапуцкая.

Клитинья намотала на палец кожаный шнурок привески. Шнурок вдавился в шею. Клитинья прикрыла глаза, не двигается, шепчет, молится.

«Вот на кого похожа мать», — думает Иренка.

Отекают, мутнеют свечи. Чадят фитили. Душно. Острый запах пота. Голубые кресты покрываются полосками копоти. Гремит жестянка.

Иренка плохо спала ночью. Металась в жару, бредила.

Клитинья душила ее кожаным шнурком. Пани Лапуцкая толкала на грязную от чужих колен подушку. Стучал пальцами Явид. Гремела жестянка. Светилась красноватая ладонь матери, и ширилась на стене тень креста.

Иренка очнулась. Открыла глаза. Холодная мокрая салфетка лежала на лбу. Возле кровати сидела испуганная мать в шерстяном платке поверх ночной рубашки.

— Мама, — прижалась Иренка к ее груди. — Не позволяй Клитинье водить меня в церковь. Не надо больше.

Мать обняла ее. Притянула к себе. Грудь матери пахла теплым платком.

И вдруг у изголовья кровати на тумбочке, где лежали учебники и тетради, Иренка увидела распятие.

Мать принесла его из своей комнаты.

Тень креста высилась над головой Иренки.

4

Мать не отходила от отца. Дежурила. Казалось, она забыла костел и черный капитул.

Ксендз Явид присылал за матерью прислужника напомнить о спевках и о молитвах, которые она пропускает.

Мать идти в костел отказывалась. Не слушала она и Клитинью, которая привела из дальнего села Рольники человека Вараксу, «ожившего из-под святых» и который сам теперь вершит святые дела.

Варакса с заплетенной в косу седой бородой принес мешок с банками. В банках — притирки и взвары из толченых костей медведя и змеиных яиц.

Мать Вараксу в дом не пустила. Клитинья стыдила мать, говорила о клятвах, о муче мученической, ежечасной и вечной. Пугала, что имя матери огласят в костеле.

Мать отвечала отказом. Слушалась только доктора. Хотя он ее и предупредил, что отца спасти почти невозможно. Она кипятила доктору воду для шприцев, когда он делал болеутоляющие уколы, помогала при перевязках, готовила растворы риванола и марганцовки.

Умывала отца, причесывала, сметала с постели крошки, перекладывала поудобнее валики из подушек.

Ходила с Иренкой на поляну, на аэродром, встречать Антона. Он должен был привезти из Минска хирурга. Об этом попросил доктор. Может быть, хирург сумеет что-нибудь сделать.

Мать и дочь сидели на поляне.

Обхватив руками колени, мать смотрела на шпиль костела. Слушала, как звенит сигнатурка — самый маленький колокол в костеле, — созывает к обедне. Молчала, похудевшая и бледная. Неизвестно было, о чем думала.

Иренка ждала Антона. Она знала, что Антон не успокоится, пока не отыщет профессора и не привезет.

И Антон привез.

5

Отец умер утром в пятницу.

В доме появились Клитинья, пани Лапуцкая, Варакса и еще какие-то старухи в черных платках-запасах.

Прислужники ксендза принесли большой деревянный крест. Его прислонили к вешалке в коридоре. Распятие, натертое фосфором, вспыхнуло холодным светом. Такие кресты с фосфорными распятиями стояли на могилах, на кладбище вокруг костела.

Иренка, когда увидела крест, схватила мать за руку: — Не надо, чтобы церковь, мама.

Мать ничего не ответила. Она опять была чужой, недомашней, нелюбимой.

Днем мать ушла в костел на исповедь. За Иренкой поручила смотреть Клитинье.

Но Иренка тоже ушла из дома. Убежала на поляну, на аэродром. Она упала головой в траву и заплакала.

Недавно здесь плакала мать, тоже головой в траве. Они были тогда вместе, Иренка и мать. И отец был живой, Иренка могла взять его ладонь, тяжелую и теплую, и тихо что-нибудь говорить, ласковое, ободряющее.

И отец мог тихо отвечать, даже улыбаться, хотя ему было это совсем нелегко.

А теперь отца нет. Он умер. А мать стоит в костеле на коленях, исповедывается ксендзу Явиду, кается, что забыла церковь и бога.

Ксендз Явид слушает, приложив к уху ленту.

А потом ксендз Явид и его прислужники придут в дом в длинных сутанах, перевязанных в поясе. Запоют молитвы и понесут гроб отца на кладбище. Впереди будут держать крест с фосфорным распятием.

На кресте напишут имя отца, год рождения и год смерти. Имя матери, год рождения, а для года смерти оставят пустое место. Имя Иренки, год рождения и пустое место для года смерти.

Пустые места будут оставлены и перед крестом на кладбище для нее и для матери.

Церковники сделают все то, что ненавидел отец, что ненавидит и не понимает Иренка. Но такова воля матери.

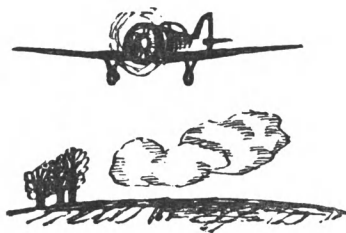
В костеле зазвонили колокола, дробно и неровно. Их раскачивал, дергал за веревки сторож Казыро.

Иренка, не поднимая головы, лежала в траве. Плакала и никак не могла выплакаться.

В дом приходили пильщики, друзья отца. Приходили и ее друзья из школы.

С ними со всеми было хорошо и легче, чем с матерью.

Но Иренка ждала Антона. Антон сегодня не прилетит. Но завтра он прилетит обязательно.





КРАСНЫЕ КАШТАНЫ

1

Никита Денисович был художник, иллюстрировал книги для ребят.

Рисовал щербатых мальчишек с побитыми локтями и коленями, в пестрых рубашках, в поцарапанных башмаках. Веснушчатых девчонок, точно забрызганных весенним солнцем, с узелками волос на макушке, ловких и пронырливых, как ящерицы.

Но больше всего любил рисовать море. Рисовал его и летним, спокойным, когда в нем отражались бакланы и белые тучи, а по вечерам лежал тихий лунный свет, и

осенним, шумным, когда волны разбивали лунный свет, облаком вскидывались над утесами.

Детство Никита Денисович провел на юге, у моря. Скитался по отмелям и лагунам в поисках раковин морских фиников, морских ушек, помогал рыбакам обшивать кромки парусов ликтросом, наметывал накидными сетями скачущую султанку, красил баркасы и шаланды. Тогда и познакомился с красками.

Прошло детство, прошла юность. Потом уехал далеко от моря, окончил художественное училище и занялся работой в детском издательстве. Но море любил по-прежнему. Часто бывал на юге, в особенности после Отечественной войны.

Только никогда не посещал город с высокой башней маяка и древней генуэзской крепостью. Путешествовал везде, а этот город, если шел пешком,— обходил стороной, если ехал на машине,— объезжал, если плыл на пароходе,— проплывал мимо.

Были причины — давние, когда был еще молод. В том городе жила девушка Оля, смуглая и подвижная. Волосы подвязывала лентой от бескозырки. Бегала летом в расклешенной юбке из флотского сукна и в тонкой маркизетовой кофточке. Осенью — в старом бушлате с медными пуговицами.

Много лет был с нею знаком Никита Денисович, много лет они были друзьями.

Никита Денисович любил Олю, и одно время ему показалось, что Оля его тоже любит.

Но однажды в город приплыл миноносец и встал на ремонт. Это был юркий, маленький миноносец, за что на Черноморье его в шутку называли «Салажонок». На миноносце служил лейтенант Платонов. Он познакомился с Олей.

В скуластом, обветренном лице Платонова, в поджарой сильной фигуре были отвага и лихость, свойственные молодости. Но ощущалась в нем — в его глазах, в том, как при разговоре с Олей неожиданно краснел,— мягкость, доброта и даже застенчивость.

Он часто дарил Оле цветы, стыдливо завернутые с «головой» в бумагу. Присылал местные телеграммы. Почтальон поднимал Олю с постели рано поутру стуком в дверь:

— Вам молния! Распишитесь!

Оля, испуганная, придерживая на груди домашнее платье, расписывалась в получении телеграммы и распечатывала ее тут же, на пороге: «С добрым утром. Солнце взошло — пора вставать».

Передавал Платонов через дворовых ребят и смешные записочки: «Приходите к морю. Будем сидеть на скале, болтать ногами и грызть яблоки».

В парке на кустах сирени отыскивал для Оли «волшебные» цветки с пятью лепестками, которые, по приметам кудесников, полагалось съесть, и тогда будешь обеспечен сорока бочками счастья.

По вечерам показывал Оле созвездия Стрелы, Лисичек, Единорога. Рассказывал, что на Луне есть море Дождей, море Ясности, море Паров, гора Варгентин. А небо там вечно черное, поэтому звезды видны и днем и ночью.

Когда «Салажонек» был готов к отплытию, Оля и Платонов поженились.

Через два года у них родилась дочка Юна, которую моряки «Салажонка» окрестили Юнгой.

Наступила Отечественная война. Никита Денисович попал в отряд водолазов.

Находясь на фронте, случайно прочитал во фронтовой газете, что командир миноносца капитан третьего ранга Платонов погиб в морском бою неподалеку от Керчи.

Прошла война. Прошли еще годы. Никита Денисович все собирался заехать в город с высокой башней маяка, но в последнюю минуту передумывал и не заезжал.

Этой осенью Никита Денисович плыл на попутном сейнере вдоль Черноморского побережья. Было задание — сделать рисунки для книги, в которой рассказывалось о море.

Он стоял на палубе, когда услышал распоряжение капитана зайти в город с высокой башней маяка, пополнить запас горючего.

Никита Денисович вдруг неожиданно для самого себя решил покинуть сейнер. Если то, что сейнер собирался завернуть в город, было случайностью, так пусть будет случайность во всем, что бы ни произошло дальше! А зарисовки для книги можно начать делать и здесь.

Никита Денисович побросал в заплочный мешок вещи,

подхватил мелкие арбузы, которые ел в дороге, и, когда сейнер причалил к пирсу, спустился по трапу на берег.

Все произошло быстро, без раздумий и колебаний, потому легко и просто.

У морского вокзала снял в гостинице номер — кровать, шкаф, два венских стула, письменный стол. На столе телефон и графин с водой. Сколько раз бывал он в подобных комнатах!

Разъезды, командировки, поиски натуры для рисунков, смутные поиски и какого-то личного счастья, устроенности в жизни.

И всегда эти венские стулья, крашенная железная кровать, шкаф с пустыми полками и письменный стол тоже с пустыми ящиками или, в лучшем случае, в одном из ящиков болталась одежная щетка.

Никита Денисович прошелся по комнате. Арбузы положил в угол. Пол был покатым, и они выкатились на середину. Никита Денисович спотыкался об арбузы, продолжал ходить.

Вдруг испугался, что Оли здесь нет. Конечно, можно позвонить по телефону в справочное бюро, узнать, проживает ли в городе Ольга Павловна Платонова с дочкой Юной. Никита Денисович опустил на телефон руку, но трубку так и не снял.

И вот примечательно: он никогда не пользовался в гостиницах телефоном — ему никто не звонил и он никому не звонил. И телефон обычно так и стоял, молчаливый и одинокий.

Художник взял небольшой альбом, положил в карман полотняного пиджака, вышел из гостиницы. Хотелось избавиться от волнующих мыслей, отодвинуть те минуты, когда надо будет окончательно все узнать, выяснить и, очевидно, как и прежде, остаться одному.

Направился в старую часть города, к генуэзской крепости. Крепость была в противоположной стороне от набережной, где когда-то жила Оля.

Все здесь было известным с детства: нагорные кривые проулки, кусты айвы и трехлистного колючего лимона, стволы раkitника, скрученные между собой, точно морские узлы.

Идешь дворами с переходами, арками, перелазами, идешь как улицей.

Мальчишки щеголяют в отцовских поношенных фуражках-мичманках. Мичманки сваливаются им на глаза, мальчишкам приходится задирать головы, чтобы хоть что-нибудь видеть.

В плиты тротуаров вделаны металлические дощечки с фамилиями подрядчиков-мостовщиков. В каждом доме, на чердаке, — сушильня для белья с решетчатыми, как жалюзи, стенами, сквозь которые сушильня продувается ветром.

Первая мастерская Никиты Денисовича была в такой сушильне, потому что другого места для его этюдов, банок с кистями, подрамников и холстов не находилось.

Но вскоре его прогнали из сушильни: хозяйская простыня из голландского полотна с прошивами свалилась с веревки на мольберт, испачкалась в краске...

Никита Денисович выбрал подходящий двор, присел на ступеньках мансарды, достал альбом, карандаш и начал работать.

Над крышами мазанок, уложенными по углам камня, чтобы не сдула буря, над осыпчивыми уступами скал возвысилось море, светлое, с темными дорожками от подводных встречных потоков. Катера и пароходы прорезали эту светлую, нагретую солнцем поверхность моря и оставляли за собой синие полосы прохладной приглубинной воды.

Сделав несколько рисунков, Никита Денисович взобрался в горы, где росли оголенные, сбросившие кору, земляничные деревья, где с воздуха стерегли землю кобчики и пустельги.

Солнце опустилось за горы, отпылал на тучах закат. Море ушло куда-то за горизонт, высоко в небо.

Никита Денисович убрал альбом, но долго еще бродил в горах — встречал сумерки, курил, думал.

Проснулись, заморгали звезды, вначале близкие, крупные, потом мелкие, далекие. Луна осветила море и отделила его от неба.

Никита Денисович докурил папиросу, начал спускаться к городу. Спускался поспешно, точно стремился поскорее уйти из тихих, сумеречных гор.

В конце набережной, среди каштанов, которые цвели красным цветом, стоял дом из дикого горного камня с железными венцами на трубах.

Крайние окна в доме были окнами квартиры, где прежде жила Оля.

У крыльца дома, в палисаднике, — чугунная скамейка. Никита Денисович хорошо ее помнил. Когда на море штормило и брызги перелетали через набережную, скамейка бывала мокрой. Это не смущало Олю и Никиту Денисовича. Они даже в шторм упрямо сидели на ней.

Никита Денисович все еще не хотел идти в ту часть города, где красные каштаны, но сам не заметил, как прошел вдоль набережной, и вот они — каштаны. Вот он — дом из дикого камня. Крайние окна.

Никита Денисович разволновался. Перешел с тротуара к перилам набережной, к самому морю, чтобы пройти подальше от дома.

В окнах горел свет. На подоконниках — книги, тетради, пузырек с чернилами, нотная папка, велосипедный насос. За тонкими плетеными занавесками — никого.

Художник постоял и ушел. Не решился вот так, сразу, зайти в дом, в квартиру номер два, постучать в дверь, спросить — здесь живет Ольга Павловна Платонова? Подумал — как-нибудь потом. Не сейчас.

Никита Денисович попал на окраину города, где было кафе «Поплавок». Завернул в «Поплавок» поужинать. Выбрал столик у самого барьера.

Совсем стемнело. Заблудились в темноте горные дороги. Среди скал изредка вспыхивал сторожевой прожектор, дымным лучом далеко оглядывал море. В его луч попадали спящие на воде морские утки.

В «Поплавке» играл оркестр. В оркестре выделялся аккордеон.

Никита Денисович любил его слушать: на нем играла Оля. Надевала на свои узкие покатые плечи широкие ремни аккордеона и легко держала на худеньких коленях. Аккордеон был большой, с четырьмя регистрами. Привезли его моряки в подарок Оле из-за границы.

Оля играла морские песни, придумывала и свои танцевальные напевы, переключая регистры, отчего аккордеон пел то протяжными, спокойными звуками, будто один звук вытекал из другого, то короткими, тревожными, с двойным звучанием, когда слышен низкий голос и свирельный свист. Все в порту знали босоногую девочку с большим аккордеоном.

Торопиться было некуда. Радовала близость моря. В его просторах, будто потерянные звезды, блуждали огни катеров и моторных лодок. Надвигалась полночь. Затих шум мотовозов в порту. Гасли огни на набережной, в магазинах, в домах.

Вернувшись в гостиницу, Никита Денисович, не зажигая света, принялся шагать по комнате, опять спотыкаясь об арбузы.

Звезды над горами сделались зелеными: приближался рассвет.

2

Юна ревниво относилась к памяти отца, портрет которого стоял на столе в комнате. Это был не единственный портрет: такой же висел в кают-компании «Салажонка».

Иногда «Салажонок» заходил в город. Моряки звали Юну в гости. Подплывая на катере к «Салажонку», Юна слышала команду «вахтенные, на трап!». Это дежурные по кораблю матросы спешили к трапу, чтобы помочь Юне подняться на миноносец.

Юна стояла на боевой рубке, на которой стоял отец. Сжимала в руках поручни, которые сжимал отец. Видела нактоуз с магнитным компасом, ветроотвод, кнопку колокола громкого боя, лоции и вахтенный журнал. Видела зеркало в кают-компании, проклеенное бумажными полосами. Значит, была учебная стрельба и зеркало проклеили, чтобы не лопнуло при стрельбе корабельных орудий. В вахтенный журнал изо дня в день заносилась жизнь миноносца. В сорок четвертом году в нем было записано:

«25 апреля, 16 часов 05 минут. Туман рассеивается. Видимость улучшается. На курсе зюйд, на дистанции 98 кабельтовых, показался неприятельский эсминец. Отдана боевая тревога. Идем на сближение.

16 часов 15 минут. Завязался бой с эсминцем. Штурман доложил пеленг, дистанцию, скорость и курсовой угол противника. Ведем огонь главным калибром. Противник отвечает.

16 часов 25 минут. Взрывом снаряда повреждена рубка и телефонная связь. Командир тяжело ранен в голову.

16 часов 30 минут. Командир умер. Командование принял старший лейтенант Савенков».

Ольга Павловна в дни прихода «Салажонка» бывала очень взволнованна.

Из окна табачной фабрики, где она работала, смотрела на «Салажонка» — низкого, с зачехленными пушками и пулеметами, со стремительными линиями корпуса, палубных надстроек и широкой скошенной трубой. И обычно вечером, когда «Салажонок» отваливал от стенки, уходил из города, Юна и Ольга Павловна провожали его и до тех пор стояли на набережной, пока «Салажонок» не скрывался за горизонтом, оставив над морем темную полосу дыма.

Савенков и ныне командует кораблем. Это он передал Ольге Павловне на память кортик Платонова.

Юна начала замечать, что мама запаздывала с работы. Бывало и прежде, что мама запаздывала, приходила усталая, но спокойная и внимательная. Перевязывала у Юны смявшийся бант, поправляла плечики на сарафане, переодевалась и готовила ужин. Юна помогала: резала хлеб, доставала из шкафчика сахарницу, заварной чайник, масленку, расставляла чашки, сделанные в виде дубовых пеньков. Вместо ручек в пеньки были вколоты топорики.

А теперь, когда мама задерживалась, в ее движениях, в глазах не было прежнего спокойствия, прежней уверенности. Чем бы мама ни занималась — готовила ужин, стирала белье, убирала комнаты, — во всем была поспешность, неровность, будто мама хотела поскорее себя утомить, отвести какие-то сомнения.

Юна однажды не выдержала, заинтересовалась: все ли хорошо у мамы на фабрике? Может, опять перебой с табачным листом или на базе не отгружают тару?

— На фабрике все хорошо, — ответила мама. — А почему ты спрашиваешь?

— Так просто, — уклончиво ответила Юна.

При жизни отца часто ходили в приморский парк. Мама обычно долго выбирала, какое надеть платье. Отец соберется и ходит по комнате, торопит маму и Юну: «Скоро экипаж будет готов? А то объявлю боевую тревогу. Две минуты на все одежки-застежки!» Мама отвечала: «Скоро!» Юна смеялась, повторяла отцовскую поговорку: «Нас мало, но все мы в тельняшках!» Отец ласково лохматил Юнины волосы, помогал застегнуть пряжки на туфлях.

И вот как-то Юна заметила, что мама слишком долго стоит у зеркала, чего с ней давно не бывало.

С каждым днем мама делалась молчаливее. Юна что-нибудь рассказывала, она слушала, кивала, но Юне казалось, что думала о своем, беспокойном и неотступном.

Иногда ночью мама осторожно поднималась с кровати, набрасывала на плечи халат, садилась к окну и смотрела в палисадник, где стояла чугунная скамейка, цвели по весне красные каштаны.

Юна задумывалась: что произошло в жизни мамы такое важное, такое необычайное, что заставило перемениться, вселило беспокойство?

Юна наблюдала за матерью. Ольга Павловна ощущала настороженный, выжидающий взгляд дочери, пристальное внимание. Думала, как простыми, правильными словами сказать Юне о сложном чувстве, которое возникло у нее при встрече с Никитой Денисовичем. Думала и не могла подобрать эти простые, правильные слова. Нужна была бережность и осторожность, чтобы Юна сама убедилась, поверила, что от дружбы с Никитой Денисовичем не уйдет, не исчезнет из семьи память об отце.

Но пока ничего подобного предвидеть нельзя было. Даже наоборот: Юна все больше отгораживалась от матери, замыкалась в себе. Ольга Павловна не хотела, чтобы Никита Денисович встретился с дочерью, боялась этой встречи, откладывала ее.

Юна сидела на ступеньках парадного, поджидала маму. Пришли из города соседи — старшеклассница Валя и секретарша директора табачной фабрики Капитолина.

— Мать ждешь? — спросила Капитолина.

— А вам что?

— Ну, жди. — Капитолина вздохнула. — С каким-то курортником в городе гуляет. И не в первый раз.

— Врете! — вскочила со ступенек Юна, подступила к Капитолине.

— Звереныш!

— Вы всегда врете! — еще громче закричала Юна, сжимая кулаки.

— Да чего мне врать! Спроси у Вали. Костюм на нем, правда, дешевый, парусиновый.

Юна повернулась к Вале, но Валя опустила глаза, молча прошла в дом.

Когда Ольга Павловна вернулась из города, Юна встала рядом с кортиком, который положила перед портретом отца. В глазах — суровое внимание.

Ольга Павловна хотела, но не могла скрыть от дочери волнения: кортик! Они доставали его в самые трудные дни. И потом дочь... Строгие брови. Две морщинки в уголках рта. Упрямо выдвинуто плечо...

Ольга Павловна устало провела ладонями по лицу, а Юна с криком: «Капитолина про все рассказала!» — убежала в палисадник, кинулась к скамейке.

Шумел в каштанах ночной ветер. Гремело море.

Юна прикусила губы, крепко сжала ресницы, чтобы не расплакаться.

Вдруг почувствовала — рядом кто-то осторожно сел. Она взглянула. Это была мама. Юна не выдержала, сунула голову к ней в колени и громко заплакала.

— Мама! Я больше не буду тебя обижать! Не буду, мама!

— Юна, доченька... Ну что ты, милая! — подняла Ольга Павловна ее лицо. — Успокойся. Ты ни в чем не виновата! Ни в чем!

— Нет, виновата! Виновата!

3

Юна не раз встречала в городе Никиту Денисовича, они были уже знакомы.

Сегодня Юна случайно встретилась с ним. Он шел один по набережной, и она шла одна.

Юна поздоровалась, хотела пройти мимо, но Никита Денисович остановил ее, спросил:

— Где тут в скалах партизанская площадка? — Потом, как бы спохватившись, сказал: — Впрочем, откуда тебе знать, — и собрался уходить.

— А зачем вам партизанская площадка? — спросила в запальчивости Юна, обиженная словами: «Откуда тебе знать».

— Хотел поглядеть. Говорят, есть еще греческая часовня, где был штаб десантников-черноморцев. А на обры-

ве, над морем, на братской могиле лежит якорь. Но тебе и про это, конечно, неизвестно.

— Почему неизвестно?

— Да так, мне кажется. Мальчишкам, очевидно, известно. Надо будет кого-нибудь из них взять в проводники.

— Да я, может, в двести раз лучше их все в городе знаю! — возмутилась Юна. — А вам не покажу!

— Потому что не знаешь.

— По-вашему, я хважусь?

— Может быть.

— Значит, не верите?

— Значит, не верю.

— Ах, не верите! Идемте, покажу!

— Ну, идем.

Юна промолчала.

Молча пересекли порт, вышли на окраину города. Юна шла впереди быстрым, сердитым шагом. Оглядывалась, проверяла — не отстает ли этот седоватый, полнеющий человек, с кепкой в руках, в мятом парусиновом пиджаке. Он не отставал. Взираясь на косогор, Юна едва не сорвалась на скользкой траве. Никита Денисович поспешил подержать.

— Я сама!

Когда сквозь чащу кустов по кручам и оврагам добрались до партизанской площадки — места, где партизаны в сорок третьем году жгли костры, подавая сигналы кораблям о расположении немецких батарей, — Юна сказала:

— Вот.

Никита Денисович долго разглядывал площадку. Достал альбом, начал стоя рисовать.

Юна отошла в сторону, села на круглом валуне, скатившемся когда-то с гор.

Потом пошли к греческой часовне, потом к братской могиле с якорем. По-прежнему молча.

Юна интереса к Никите Денисовичу и его рисункам не проявляла. Никита Денисович тоже вел себя так, вроде был занят только работой.

Когда возвратились в город, в порт, Юна сказала, что ей некогда, надо уходить.

— Жаль, очень жаль, — сказал Никита Денисович и вздохнул. — А я хотел прокатиться с тобой в море на лодке.

«А что, если согласиться? — подумала Юна. — Он ху-

дожник. Только и умеет, что с красками возиться. Пусть посмотрит, как грести надо».

И Юна сказала как можно безразличнее, что согласна прокатиться.

Лодку «соймочку» наняли в порту. Юна уселась к веслам. Примерилась, передвинула поближе подножку, установила весла так, чтобы рукоятка левого проходила ниже рукоятки правого. Никита Денисович устроился на корме. Юна развернула соймочку, подтабанила и направила к выходу из бухты. Гребла старательно, изо всех сил, правильно чередуя вдох и выдох: на заносе весел — вдох, на проводке — выдох.

Миновали дамбу, под защитой которой находилась бухта, и вышли в открытое море. Грести стало сложнее: увеличилась волна. Весла у Юны срывались, брызгали или загружали, захватывали много воды. Их трудно было протягивать.

Юна хмурилась, злилась. Пальцы и складочки на запястьях побелели, на верхней губе проступила испарина. Но продолжала грести из упрямства.

Никита Денисович сказал:

— Дай-ка, попробую.

— Попробуйте, если сумеете.

Никита Денисович сел, передвинул подножку под свой рост, и начал грести замашисто, длинно, как гребут моряки. Весла не шлепали, не плескали. Соймочка рванулась, устремилась ходко вперед.

Вышли за маяк. Никита Денисович бросил весла, закурил.

Надеялся, Юна разговорится, спросит, кто он. Где жил? Что делал? И он расскажет, что тоже родился и вырос у моря, здесь вот, в этом городе. Что в юности жизнь сложилась тяжело. Был швартовщиком в порту, угольщиком, работал на плавучем кране, счищал в доках с кораблей ракушки, чинил старые паруса и канаты. Не легко далось исполнение мечты: получить образование и сделаться художником.

Юна молчала, свесилась через борт лодки, смотрела в глубину моря, где в толще воды потухало солнце.

Никита Денисович докурил папиросу. Пора возвращаться. Обратную дорогу к берегу Юна тоже молчала. Сдали соймочку. В порту у разносчика Никита Денисович

купил слоистые караимские пирожки. Протянул Юне. Она взяла. Надкусив пирожок, сказала:

— А вы хорошо гребете.

— Ты тоже неплохо. Окрепнут руки — и еще лучше грести будешь.

После прогулки и караимских пирожков Юна перестала быть сдержанной. Предложила пойти в приморский парк, где была устроена лотерея. В кассе взяли два лотерейных билета, но ничего не выиграли. Потом еще два — тоже не выиграли.

Никита Денисович захотел взять дюжину билетов, но Юна сказала — не нужно, лучше попытать счастья в тире. За удачные выстрелы дают призы. Стреляли из духовых ружей. Очень хотелось достреляться до чего-нибудь существенного, например, банки с вареньем, — но не посчастливилось.

Когда настрелялись вволю, сели отдыхать у фонтана. Но долго не просидели. Юне захотелось сразиться с мальчишками в кегли.

Мальчишки попались на редкость принципиальные и горластые. Юна ссорилась с ними каждую минуту. Примириться с мальчишками удалось лишь после того, как они выпили за счет Никиты Денисовича девять стаканов газированной воды с вишневым сиропом.

В довершение скитаний по парку Юна и Никита Денисович забрели в «комнату смеха», где висели кривые зеркала. Юну и Никиту Денисовича то вытягивало, то сплющивало. Никита Денисович набросал в альбоме такую вытянутую и сплюсненную Юну. Она поглядела и сказала:

— Похоже.

Когда уходили из парка, натолкнулись на рыбака в резиновых сапогах и в брезентовой куртке параспашку. Он взгляделся в Никиту Денисовича и вдруг воскликнул басом:

— Акулий Нос! Никита, ты?!

Никита Денисович тоже взгляделся в рыбака, а потом тоже воскликнул:

— Архип! Соленые Уши! — и громко хлопнул рыбака по плечу.

Рыбак тоже громко хлопнул Никиту Денисовича по плечу:

— Лет двенадцать не видались, а? Да нет, какое там—двенадцать!—И он, нахмутив жесткие, прищеченные солнцем брови, начал загибать пальцы, считать.— Все пятнадцать, а? Каково! Три пятилетки! Но ты, хотя и постарел, еще кряжевик.

— Да и в тебе,— сказал Никита Денисович,— сила не откипела. Как есть — воевода.

— Не-ет! Не говори. Ревматизм мучает, в груди осколок гранаты торчит. Но не обо мне речь. Видел я твои книжки. Здорово море рисуешь.

— Стараюсь.

— Вот что: пошли ко мне! И не пытайся отказываться, махать руками — завтра, послезавтра, то да се.

— А я и не пытаюсь. Только вот спутница моя как? Пойдем, Юна?

— Пойдемте,— согласилась Юна. Ее заинтересовала встреча друзей, которые называли друг друга «Акулий Нос» и «Соленые Уши». Получалось, что художник был не просто художник.

Никита Денисович начал было объяснять Архипу, кто такая Юна.

— Да знаю. Олина дочка. Нынешним летом заплыла черт те куда к дельфинам и тонуть вздумала. Наши артельные спасли. Было такое? — обратился рыбак к Юне.

— Было.

— То-то, «было». Пороть некому. Не дуй губы-то! Я по-свойски говорю. Ну, братцы, потопали. Тут рядом. Помнишь, Никита?

— Еще бы!

Пришли во двор, огороженный пористым желтым камнем. На брусках сушилась лодка. Под ветви деревьев, отяжелевших от яблок, были подставлены весла. Загон для кур был обтянут куском рыбацкой сети.

Устроились на веранде, у кадок с вееролистными пальмами.

Архип скинул брезентовую куртку и остался в тонком бумажном свитере с подвернутыми рукавами. Руки плотные, мускулистые. Принес огромную сковородку с жареной чуларкой, лобаньей икрой и жбан с коржачным домашним пивом.

— Сам пиво варишь? — спросил Никита Денисович, тоже снимая свой парусиновый пиджак.

— Сам. У меня так: коли выйдет — будет пиво, а не выйдет — будет квас.

Друзья разговаривали, время от времени наполняя из жбана большие глиняные кружки — брѣтины. Юна занялась журналами «Крокодил», которые ей дал Архип. До нее долетали обрывки разговора.

— Хватит по свету мыкаться. Поселился бы здесь, на родине.

— Может, и поселюсь, — как-то задумчиво отвечал Никита Денисович.

— И рисуй море натуральное зимой и летом. А то, хочешь, определяйся в моряки — будем, как в старину, вместе плавать. Это не помешает рисованию?

— Конечно, не помешает.

— Я от ребят слышал — у тебя контузия была?

— Да, была.

— Ну, а как теперь?

— Ничего. Отлежался.

— Знаешь, братва помнит тебя. А грузовой «Артанакс» не забыл?

— Как же! Я на нем кочегаром плавал.

— Коптит старина, гребет еще. Да, про Степку Крюкова слышал?

— Нет... А что?

— Погиб. Гитлеровцы расстреляли. И Гусейн погиб. Торпедным катером командовал. На mine подорвался.

Друзья помолчали, закурили. Потом опять начали вспоминать названия кораблей, шаланд, баркасов, фамилии капитанов, штурманов, грузчиков.

Когда Никита Денисович и Юна ушли от Архипа, уже смеркалось. Архип подарил Юне засушенную морскую звезду «солнце» и плавник морской собаки катрана.

— Ну вот, Юна, — сказал Никита Денисович. — Иди домой. Пора отдыхать, уроки делать, а я побреду в гости-ницу. Нагулялись сегодня досыта. Как, а?

— Да, — не сразу ответила Юна и вдруг взяла Никиту Денисовича за руку, посмотрела в лицо: — Пойдемте к нам. Я вам на аккордеоне поиграю. Вы любите аккордеон?

— Люблю.

— И я тоже. Пойдемте!

Никита Денисович помедлил, потом сказал:

— Хорошо, пойдем.

...Вечером, когда вернулась с работы Ольга Павловна, она увидела: в палисаднике на чугунной скамейке у красных каштанов сидели Юна и Никита Денисович.

Юна держала на коленях аккордеон, играла. Изредка тянула шею, заглядывала под пальцы правой руки, отыскивала кнопку основного баса. Кнопка эта была с углублением, и Юна называла ее «кнопка с ямочкой на щеке».

Ольга Павловна осторожно присела рядом.





КОГДА ЗАМЕРЗЛИ ДОЖДИ

1

Они никого не встречали и никого не провожали.

Но они ездили на аэродром — старина Петрович и Зая. Еще старину Петровича называли комэск. Комэск значит командир эскадрильи. Это в войну он служил в авиации дальнего действия АДД. Но вообще Петрович гражданский летчик.

Теперь он на пенсии, но продолжает ездить на аэродром. Иначе не может. Пытался разное делать, чтобы отвлечься, забыть самолеты. Но они не забывались. Сидели в Петровиче, как гвозди. Попробуй выдерни!

Петрович заводит автомобиль.

Внучка садится рядом, и они едут через город на аэродром.

Занимают в потоке машин крайний правый ряд. Пет-

рович и Зая свободны, никуда не спешат. Петрович курит сигарету, Зая просто тихо сидит.

Выезжают на шоссе.

Последние жилые дома с разноцветными ящиками для цветов на балконах, овраг в желтых морщинах песка, бензозаправочная колонка. Под колесами — шершавый холст бетона.

Появляются самолеты.

Петрович глядит вслед каждому самолету. Автомобиль едет в крайнем правом ряду: они ведь никуда не спешат.

И Зая тоже глядит.

Самолеты тянут над головой низкий гул моторов, идут на аэродром на посадку. Или, наоборот, набирают высоту, уходят со старта, синие и прохладные.

Зая все знает на шоссе.

Сначала будут маленькие елки. Они недавно посажены ряд за рядом. Потом будут березовые рощи с потоптанными тропинками. На тропинках корни, как узелки на нитке.

Возле опушек вкопаны скамеечки. Они пахнут старыми пнями. Пауки обязательно приклеивают к скамеечкам паутину.

За березами начинается дубовый лес. Осенью, когда ходишь там, слышно, как падают желуди, стучат по сухим листьям.

Иногда на шоссе попадаете автоинспектор, следит за порядком.

Петрович поднимает руку — здравствуйте.

Инспектор тоже поднимает руку — здравствуйте.

Они знают Петровича. И Зая поднимает руку — здравствуйте. Ее они тоже знают.

На двадцатом километре будет поворот налево, на тихую сельскую дорогу, где около речки стоит дом с верандой.

Он построен из новых светлых бревен, только недавно обструганных топором. В нем еще живет лес.

Здесь отдыхают летчики. Гуляют, удят в речке рыбу, показывают друг другу ладонями, кто как недавно летал.

После дома из светлых бревен будут сады. Весной они

цветут, лежат на земле белым облаком. Подует ветер, и сады улетают в небо.

Потом будет тонкая и длинная стрела с надписью «Аэропорт». Стрела показывает направо.

Шершавый холст бетона тоже поворачивает направо.

Поворачивают и Петрович с Заей. Они едут мимо поселка, где гостиница и ремонтные мастерские, мимо сигнальных на мачтах прожекторов. Прожектора обозначают границы аэродрома. Они по ночам ждут самолеты.

Узкая аллея. Стриженные кусты, асфальтированные площадки. Зая и Петрович подъезжают к аэровокзалу.

На крыше аэровокзала веточки антенн, а в них, точно листья, запутались красные сигнальные лампочки. Они тоже ждут самолеты — и веточки антенн, и красные лампочки.

Петрович ставит машину на асфальтированную площадку среди такси и автобусов-экспрессов и входит с внучкой в аэровокзал.

— Здравствуйте, старина,— говорят ему носильщики.

— Здравствуйте, комэск,— говорят дежурные девушки в справочном бюро.

Если встречается пилот, то вначале Петрович обязательно полетает с ним немного на ладонях и только потом сможет говорить про всякое другое.

У дежурных девушек он узнаёт, где его знакомые, на каких рейсах. Девушки по микрофону спрашивают у диспетчера:

— Где пятьдесят шестая?

Диспетчер отвечает:

— В Челябинске.

— А семьдесят первая?

— В Ростове.

— А тридцать вторая?

— Ушла на Казань.

Петрович слушает, кивает:

— Так, так.

— А про восемнадцатую спросить?

— Да. Пожалуйста.

На машине под номером восемнадцать дед летал перед пенсией. Это был тихоходный поршневого самолет.

— Где восемнадцатая?

— Восемнадцатая... Пошла за помидорами.

— За помидорами, — повторяет Петрович. — Так, так. Дед и внучка идут к метеотехникам.

— Здравствуйте, старина, — говорят метеотехники.

— Здравствуйте.

— Здравствуй, Зая.

— Здравствуйте.

Метеотехники не дружат с дождями и ветром. Они дружат с солнцем.

Дед и внучка заглядывают в пункт самолетного зондирования, в телетайпную, в регламентное бюро, в службу локации и радионавигации. И повсюду им улыбаются, кивают.

— Здравствуйте, старина. Здравствуй, Зая.

И они кивают и улыбаются.

Зае не терпится подняться на третий этаж, в комнату подготовки экипажей к полетам.

Здесь, отправляясь в рейс, собираются летчики, штурманы, радисты. Говорят про всю страну сразу — про теплое море и про снег, про день и ночь. Кто куда летит или кто откуда прилетел.

И говорить в этой комнате можно день и ночь, потому что одни экипажи уходят, а другие приходят. Пустой комната не бывает.

Петровича здесь всегда ждут. Он здесь всегда нужен. У каждого к нему свои вопросы, и поэтому каждый спешит завладеть Петровичем.

Если даже общий спор — ночной полет в тундре, ориентировка в пустыне, радиосвязь в грозу или при северном сиянии, полет над морем или над горами, — ждут Петровича. Он разберется. Он скажет.

Старина Петрович больше любого из них летал от снега к теплому морю, из ночи в день. Он больше любого из них имеет право говорить про всю страну сразу.

А тут на днях заспорили, как удобнее ставить на аэродроме реактивные и турбовинтовые лайнеры. Они занимают много места.

Чертили на бумаге схемы. И Петрович чертил. А чтобы еще понятнее было, вытащил из кармана коробок со спичками, высыпал спички на стол.

Стол — это аэродром. Спички — это лайнеры.

И начал Петрович двигать по аэродрому лайнеры, устраивать их, делать взлеты и посадки.

Зая наблюдала и думала: «Вот бабушка уверена — дед старый и теперь не летает. А дед все равно летает — на ладонях, на спичках... Недаром самолеты сидят в нем, как гвозди».

Петрович и Зая так надолго здесь застревают, в этой комнате на третьем этаже, что диспетчер успевает объявить по радио о посадке самолетов из Челябинска и Ростова. Он бы, наверное, сказал и про помидоры, да про них по радио не объявляют.

Потом Петрович и Зая идут в буфет. Устраиваются в низких креслах с растопыренными ножками. Петрович пьет черный кофе, а Зая — молочный коктейль. Он в тонком высоком стакане, и пить его надо через соломинку.

Заю это веселит, она незаметно дует в соломинку, пускает в стакане пузыри.

Петрович и Зая смотрят в окно на аэродром. Наблюдают, как тягачи подвозят самолеты к перрону. Как их заправляют горючим. Чистят и моют, чтобы стали синими и прохладными. Как подъезжают и отъезжают трапы, тележки. На тележках пакеты и посуда для буфетов, или почта, или еще какие-нибудь грузы.

Петрович и Зая никого не встречают и никого не провозжают. Но им хорошо на аэродроме.

А когда они вернутся домой, их будут ругать, что опять опоздали на обед, что опять неизвестно где болтались и что у них надо забрать автомобиль и запереть в сарай. Ведь дома никто не знает, что они ездят на аэродром.

2

Это был первый после осени зимний холод. Дожди замерзли и выпали снегом.

Петрович и Зая ехали на аэродром. Дед был в теплой куртке, а внучка — в короткой шубе с капюшоном.

В автомобиле пахло зимой. На крыше ехал снег, а на буферах ехали сосульки.

В последних жилых домах в разноцветных ящиках на балконах торчали цветы, белые от снега.

Морщины в овраге тоже сделались белыми, и дубовый лес, и скамеечки в березовых рощах.

Стрела «Аэропорт» заледеanela на ветру длинной

капелей. Побелели прожектора на летном поле и веточки антенн на крыше аэровокзала.

Петрович и Зая ставят машину, как всегда, на асфальтированную площадку среди такси и автобусов-экспрессов.

Такси и автобусы тоже привезли снег на крышах и сосульки на буферах.

Петрович и Зая сидели в креслах в буфете у окна. Теплая куртка Петровича и Заина шуба с капюшоном висели у дверей на вешалке.

Петрович пил черный кофе, а Зая пила молочный коктейль.

В буфет вошел пилот, улыбнулся, крикнул:

— Комэск! Петрович!

Дед тоже улыбнулся, крикнул:

— Максим!

Они хлопнули друг друга по плечу. Потом Максим заказал чашку черного кофе. Снял куртку, бросил на пустое кресло.

Петрович кивнул в окно на машину сорокчетверку, в которую по транспортеру грузили бумажные мешки с почтой:

— Твоя?

— Моя. Лечу в Адлер. Полетим со мной?

— Когда?

— Сейчас.

— Ну да...

— Что — «ну да»? — Максим подмигнул Зае. — Два часа — и море.

— Нельзя. Нас дома убьют, — сказал Петрович. — А, Зая?

— Убьют, — сказала Зая. — Обязательно. Бабушка убьет.

— Не успеет. К вечеру вы снова на месте. Бабушка ничего не спросит, а вы ничего не скажете. Откуда ей знать?

Зая вслух подумала:

— И правда, откуда ей знать.

— Так, так, — сказал Петрович. Ему давно хотелось, чтобы Зая поняла то, чем он жил всю свою жизнь. Чтобы она поняла, что такое самолет.

Когда сорокчетверка пробила облачность, Зая увидела море, яркое, эмалевое. Урони что-нибудь — и море зазвонит. Скалы были в желтых морщинах песка. Дороги сверху напоминали потоптанные тропинки. Леса — зеленые озера, а настоящие озера — пятнышки летнего солнечного дождя.

Сорокчетверка потянула над морем низкий гул моторов, пошла на посадку.

Зая сидела у моря. Рядом лежала шуба с капюшоном. Прибой подкатывал к шубе белую снежную пену — это все, что было здесь похожим на зиму.

Сквозь пальцы Зая сыпала горячий песок. Дышала влажным, горьковатым от соли ветром.

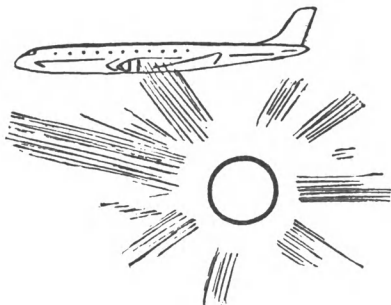
Щурилась, смотрела, как сверкали большие камни. Их накрывала волна, текла над ними прозрачным стеклом. В стекле отражалось солнце и тоже текло над камнями.

Вдоль берега ходили птицы, разгребали водоросли, искали корм. Птицы жили в кустах, в скалах. Они туда летали и возвращались.

Зая легла на спину, на горячий песок. Солнце слепило глаза, трогало лицо и руки.

...Самолет. Он показал Зае тучи и солнце, ветер и дождь. Показал снег и теплое море. Всю страну сразу.

Было поздно. Уже давно стемнело, когда Зая и Петрович вернулись из Адлера. Петрович завел автомобиль, и они поехали домой в крайнем левом ряду. Они спешили. А в крайнем левом ряду едут те, кто спешит.





МЫ ПРИЕХАЛИ ЛЕНТАЙНИЧАТЬ

1

Нам с Леной давно хотелось поехать к Черному морю.

Часто по вечерам мы всё говорили и говорили про море: вспоминали, как еще до войны жили в Крыму, вспоминали крепость Зиго-Исар, тысячелетний тис близ Ай-Петри, дачу «Нюра» в Мисхоре, где отдыхал Горький.

Вспоминали сладкую рыбешку ставридку, летние закаты, когда солнце опускается в море и зажигает его, виноград «тайфи», в котором сквозь дымчатый налет просвечивают розовые косточки, майские теплые и густые, как облака, туманы с моря и бушующее цветение глицинии.

Осыпаются голубые хлопья цветов. Их подхватывает ветер, сметает в пенистые гребни. Крепкий запах пропитывает камни, дома, траву, гравий на дорожках, и даже морские туманы начинают пахнуть глицинией.

Мы с Леной решили: поедem в Крым, в Ялту. Я у себя на работе взял отпуск, Лена — у себя.

Стали думать, выбирать, на чем и как интереснее поехать. Но долго выбирать не пришлось. Лена сразу предложила:

— А не отправиться ли на автобусе?

— Конечно,— согласился я,— надо отправиться на автобусе.

От Москвы до Черного моря построена шоссейная дорога — автострада.

Чемодан упакован. В нем самое важное для путешествия, начиная от стопочки почтовых открыток, которые мы будем присылать из Ялты нашему приятелю — мальчишке Гошке, и кончая махровой простыней для купания, желтой, как цыпленок.

Мы с Леной сидим в автобусе, в мягких широких креслах с кнопками на подлокотниках.

Нажмешь одну кнопку — спинка у кресла откинется, чтобы лежать можно было; нажмешь другую — спинка придвинется, чтобы сидеть и в окно все видеть.

Пассажиры открыли окна. В автобус влетел ветерок, подхватил на окнах белые занавески.

Помахал наш автобус этими занавесками Москве: «До свиданья! До свиданья, милый город, сердце Родины моей!» И мы тронулись в путь.

Выехали из Москвы ночью. Пассажиры нажали кнопки, откинули у кресел спинки и уснули. Уснули и мы с Леной. Уснули недалеко от Москвы, а проснулись уже в городе Туле.

Чем дальше ехали, тем просторнее становились поля, а леса редели.

Чаще всего попадались на дороге белые одинаковые постройки. Это были гостиницы, бензозаправочные станции, домики линейных мастеров.

Под крышами на высоких чердаках жили веселые, любопытные птицы. Когда автобус останавливался — набирал воду или бензин,— птицы внимательно нас разглядывали: что за люди? Куда они едут?

Около каждой деревни, поселка, реки на столбе прикреплена табличка с названием.

Лена затеяла состязание, кто раньше прочтет самое интересное: Ивановские дворики, Озерки, река Плава, река Зуша, село Крапивное.

Побеждала Лена. Я уставал и лежал в кресле с закрытыми глазами. А Лена — человек неутомимый: все в окошко глядит. Высмотрит что-нибудь удивительное, толкает меня:

— «Бутылки»!

— Какие бутылки?

— Деревня так называется. Правда, смешно?

— Смешно.

— Только странно, почему «Бутылки»?

— Наверное, прежде здесь жили стеклодувы, — пытаюсь догадаться я.

Увлекательно ехать в сумерки. Вспыхивают в темноте дорожные знаки — паровозы, выложенные рубиновыми стеклышками: «Внимание! Переезд!»; белые и зеленые стрелки: «До поворота 200 м», «До Белгорода 150 км» — вспыхивают и гаснут.

Шофер объяснил, что стеклышки, которыми выложены знаки, состоят из маленьких призмочек. Они преломляют свет фар, а потом отражают его.

Бежит и бежит дорога навстречу колесам автобуса, то с уклона, то на уклон, то направо свернет, то налево. А то прямая сделается, точно в край земли упрется.

А мы с Леной говорим о море, о теплоходах, о черном бамбуке, цветущем в Крыму раз в семьдесят лет, о мускате «Красный камень» и «Магарач» — вино, в котором никогда не увядает виноград и не остывает солнце.

Шофер включил радио, и мы слышали голос диктора: «Девять годин, пятнадцать хвилин».

Тут мы почувствовали, как далеко находимся от Москвы.

За окнами автобуса один город сменялся другим: Лозовая, Павлоград, Запорожье, Мелитополь.

Попадались эшелоны грузовиков с ящиками, а в ящиках — фрукты. Это в Москву. И мы с Леной радовались, что фрукты едут в Москву.

По обочинам автострады встречались мальчишки в пе-

стрых рубашках и в брюках разной длины. Когда автобус проезжал мимо мальчишек, они поднимали на вытянутых руках арбузы, предлагали купить.

— Эх вы, чудаки! — смеялась Лена. — Ну кто поверит, что арбузы у вас спелые. Вы всегда торопитесь и все срываете раньше времени!

На второй день мы прибыли в город Симферополь, откуда началась горная дорога на Ялту.

Когда приехали в Ялту, было уже темно.

Мы выбрались из автобуса. Подошли к перилам набережной.

— Постоим немного, — сказала Лена.

— Постоим.

— И помолчим, да?

— И помолчим.

Когда море рядом — хочется молчать.

На бетонном молу то вспыхивала, то меркла лампа маяка-мигуна. Мы вдыхали запах камней набережной, причальных канатов, запах смолы в ведерках с квачами для засмолки баркасов и лодок. Все это принадлежало морю. Далеко покачивались огоньки катера: бортовые — зеленые и красный и белый — на мачте.

Лена сказала:

— Здравствуй, море Черное!

Точно в ответ, мощно и протяжно загудел пароход. Парохода видно не было. Эхо от гудка долго блуждало в ночных горах.

— Пойдем. Поздно уже.

— Хорошо, пойдем. — Лена достала из кармана серебряные деньги и бросила за перила: — Дань морскому царю, чтобы не было штормов.

Мы отправились на поиски Севастопольской улицы, дома номер шесть.

Такой адрес был обозначен на конверте рекомендательного письма к Елизавете Захаровне Блажке, у которой мы должны остановиться. Наши московские знакомые, родители Гошки, уже послали Елизавете Захаровне телеграмму, предупредили о приезде.

Улица эта оказалась в противоположном конце города и поднималась от набережной круто в гору, как почти и все улицы Ялты.

Лена обладает удивительной способностью: быстро

ориентироваться в незнакомых местах. Вот и сейчас, хотя номера домов почти не были видны — на улицу выходили сады, в которых в глубине стояли дома, — Лена отыскала шестой номер.

Мы прошли по аллее, обвитой виноградом. Около дома женщина снимала с веревок белье.

— Скажите, здесь живет Елизавета Захаровна Блажко?

— Здесь. Поднимитесь на веранду, крайняя дверь налево. Стучите громче — они, кажется, легли спать.

Мы поднялись на веранду, нашли крайнюю дверь налево.

— Неудобно получается, — сказала Лена. — Люди уже спят, а мы...

За дверью раздался громкий лай, царапанье, потом кто-то прикрикнул: «На место!» — дверь отворилась, и мы увидели девочку в коротком ситцевом халате, с подвязанными на ночь косами.

Сзади девочки, толкая ее лапами в спину, прыгали две большие собаки.

— Вы из Москвы?

— Да, из Москвы.

— А я слышу — спрашивают маму. Проходите. Динка! Марта! Кому сказано — на место!

Мы прошли в комнату.

Девочка зажгла настольную лампу.

Я поставил в угол комнаты чемодан. Приблизилась одна из собак, собралась потрогать носом, узнать, с чем пожаловали.

Вторая собака, переминаясь с лапы на лапу, выглядывала из-под стола.

Это были охотничьи псы из породы пойнтеров, коричневой масти.

Девочка предупредила:

— Они не кусаются.

Мы и сами знали, что пойнтеры — псы незлобивые.

Из соседней комнаты вышла молодая женщина, направляя на ходу прическу.

— Здравствуйте! С приездом!

— Спасибо.

Лена извинилась за поздний приезд, потому что была уверена, что перед нами Елизавета Захаровна. Передала письмо. Елизавета Захаровна взяла письмо, сказала:

— Это мы с Татьяной рано улеглись. А вас мы ожидали. Кровати давно готовы. Пожалуйста, располагайтесь. Собаки не помешают? А то заберу к себе.

Мы заявили, что собаки не мешают, что мы хотим с ними подружиться.

— Тогда пусть остаются. Татьяна, покажи, где умывальник.

Мы раскрыли чемодан и достали мохнатую, желтую, как цыпленок, купальную простыню, заменявшую нам в поездках полотенце.

Умывальник оказался во дворе, в саду.

Простыню я зацепил за сучок какого-то дерева.

Приятно было умываться на прохладном воздухе. Он спустился с остывших влажных гор и пропитался в садах запахами олеандров и гималайских маслин.

Высоко в горах — электрические огни. А над головой — огни звезд, мигающие точно под ветром.

— Ты доволен, что мы в Ялте? — спросила Лена.

— Очень доволен! — сказал я.

Когда мы вернулись, постели были уже разобраны. Стояли они около широкого окна, которое было открыто в сад. Комнату разгораживала ширма. За ширмой слышалась возня собак, их позевывание, протяжные вздохи.

Мы разделись и легли.

Вдруг, тоже из-за ширмы, долетел голос Тани:

— Удобно вам?

— Таня! Где ты там разместилась?

— На диванчике. У нас здесь есть.

— А собаки?

— Собаки рядом. У них своя раскладушка. Свет гасить?

— Гасить.

Из-за ширмы просунулась тонкая детская рука, повернула рычажок выключателя, и настольная лампа потухла.

2

Утром я проснулся оттого, что собаки, встряхиваясь от сна, начали крутить головами и хлопать длинными ушами.

Было светло. Солнечные пятна бродили по потолку.

Веселые часы-ходики над моей головой показывали

семь часов. Ходики были веселыми, потому что на циферблате была нарисована морда лисенка и в такт движению маятника у лисенка двигались глаза.

— Собарня! — слышался шепот Тани. — Лежите еще. Марта, вытащи нос. Я кому говорю — вытащи из-под лапы нос и перестань храпеть! А ты, Динка, подвинься, дай Марте шею вытянуть.

Собаки заворочались, завздохали. Вскоре показалась Динка. Подошла к нам, положила голову на край Лениной кровати. Лена погладила Динку.

— Вы уже не спите? — спросила Таня.

— Нет, не спим.

— Это вас собаки разбудили, да?

— Совсем не собаки, мы сами проснулись, — сказал я, хотя, по правде, проснулись мы из-за собак.

— А почему Марта не выходит? — спросила Лена.

— Она стеснительная.

В окно влетела маленькая, похожая на футбольный мяч, кипарисная шишка. Со звоном ударила по медному тазу для варенья, который стоял на тумбочке.

Динка подошла к шишке, понюхала, взяла в зубы и понесла Тане.

— Ой! Пора подниматься! Вы пойдете с нами на море? Динка, брось шишку, я уже встаю.

— С кем это — с вами?

— Ну, с нами, с ребятами из Дома пионеров, — говорила Таня, а сама одевалась. — Динка, отстань! Мы к соревнованиям по плаванию готовимся ко Дню Военно-Морского Флота. Артековцы в гости приедут на своем «Павлике Морозове». Это катер так называется. Сами управляют. Ну как, идете? Динка, отдай туфлю, куда потащила?

— Идем, — согласились мы.

— Только вы быстрее одевайтесь, нас уже ждут.

Мы начали быстро одеваться.

Я выглянул в окно и увидел в саду ребят в пионерских галстуках и среди них старшего — очевидно, это был вожакий.

Так вот откуда появилась кипарисная шишка!

Из своей комнаты вышла Елизавета Захаровна.

— Погодите. А завтракать?

— Некогда, мама. Потом, после моря.

— Тогда хоть компоту попейте.

Мы наскоро ополоснулись не в саду, а в коридоре, выпили со сдобой по кружке холодного, настоявшегося компота из груш и собрались к морю. Таня захватила легкий купальник, красную резиновую шапочку, и мы вышли во двор.

Таня познакомила нас со своими друзьями и с вожатым Гришей.

Из ребят мне сразу запомнились плотный черноглазый Спартак, Вадим и подвижная, красивая Юлия.

Когда мы проходили по аллее, я увидел, что аллея полна смуглых кистей винограда и что простыню я вчера вешал на дерево, усеянное спелым черным инжиром.

Мы вышли на улицу и спустились к морю. Горы были чистыми, тихими, омытыми за ночь прохладой. На высоких скалах, сырых еще от росы, на изгибах шоссе, на крышах горных построек сверкало восходящее солнце, которое вскоре зальет искристым жаром горы от подножий до вершин. Высушит, сделает горячими и знойными.

Море, разбуженное солнцем, светилось у берега и на отмелях светлой зеленой водой. Дышалось свежо, легко, в полную грудь.

На берегу лежали старые валуны. Копошились птицы, собирали морских улиток. Невдалеке от валунов был огорожен бассейн с вышкой для ныряния.

На пляже было много народу. Плавали яхты и моторные лодки. За одной из лодок гнались стаяй чайки, штук сорок. Громко кричали, садились на воду, что-то торопливо глотали и опять продолжали погоню.

— Что это с чайками? — спросила Лена.

— Рыбаки кидают мелкую рыбешку, — объяснил Гриша. — Вот они и кричат, еще требуют. Не отстанут до самой бухты. А в бухте рыбаков встретят портовые коты. Тоже будут кланчить кефаль или султанку.

— Нет, вы это серьезно, Гриша?

— Честное слово!

Ребята повели нас к бассейну.

— Мы здесь тренируемся.

— А кто вас тренирует? — спросил я.

— Гриша.

Я хотел было сказать, что в тренировке Грише может

помочь Лена. Она закончила школу плавания и свободно владела различными стилями — кролем на груди с выносом рук и без выноса, кролем на спине, плавала на боку, плавала брассом. Но подумал, что это будет нескромно. Ребята и Гриша сами позовут Лену, если захотят.

По дощатым мосткам прошли к бассейну. Переоделись в фанерных кабинках.

Таня надела купальник и резиновую шапочку. Шапочка была высокая, как колпак, потому что в ней помещались косы, и с круглой желтой заплаточкой.

На мостках бассейна было много моряков. Их большие шлюпки с крутыми высокими бортами стояли поблизости, «на рейде». Моряки тренировались к празднику — молодые ребята с выносливыми мускулами. Они наблюдали за плавающей публикой, подшучивали над «санаторскими».

Я решил не идти в воду, потому что плаваю скверно, хотя Лена неоднократно наставляла меня, в особенности в кроле (она больше всего любила этот стиль), что ногами надо «нажимать» на воду вроде рыбьего хвоста, а руки «должны создавать зацепление, что и обеспечит равномерное продвижение вперед».

Слова прямо из учебника!

Но, сколько я ни пробовал, ноги у меня не работали, как рыбий хвост, и зацепления тоже не создавалось — летели брызги, я быстро задыхался, и никакого равномерного продвижения не обеспечивалось тоже.

Лена подошла к краю бассейна — в белом шерстяном купальнике, в белой повязке, придерживающей волосы (шапочку Лена не носила), и в белых резиновых туфельках на плотных маленьких каблучках.

Матросы потеснились, пропуская ее к воде. С интересом поглядели на Лену.

Но за нее я был спокоен.

Лена присела, отвела руки — прямые, напряженные, — оттолкнулась, без всплеска прорезала воду и ровным, неспешным кролем поплыла в море.

В прозрачной зеленой воде все дальше уходили белые туфельки, чуть-чуть вспенивая воду.

Матросы с одобрением отметили четкость и красоту стиля.

Гриша с ребятами отрабатывали старт. Лучше всех получалось у Спартакa. Неплохо получалось и у Юли. У Тани — хуже.

Мне казалось, что Таня сердится и что между пей и Юлей происходит какое-то внутреннее соревнование.

Из-за мола показались два парусника — один большой, синий, другой — поменьше, белый. Это было совершенно неожиданно. Откуда взялись фрегаты?

— Ушаковцы приплыли, — сказали моряки.

Я не понял, почему «ушаковцы». Из истории я, конечно, знал, что в XVIII веке был знаменитый русский флотоводец адмирал Ушаков. Но при чем тут он и эти фрегаты?

На расстоянии полумили шел морской охотник, вскидывал носом буруны.

С капитанского мостика сигналили флажками парусникам.

— Убрать грот-бом-брамсель, — прочитал один из матросов.

Вскоре из разговоров моряков я понял, что в Ялте происходит съемка кинокартины «Адмирал Ушаков». Фрегаты назывались: большой, синий, — «Дунай», а поменьше, белый, — «Товарищ».

Из заплыва вернулась Лена. Моряки почтительно протянули ей руки, чтобы помочь подняться на мостки бассейна.

Лена села рядом со мной.

Мы разговорились с моряками и узнали, что они тоже снимаются в «Адмирале Ушакове».

Приплыл еще буксир, который тянул баржу, оборудованную как фрегат. Из люков выглядывали черные пушки. На флагштоке висел французский флаг.

К нам подсели и пионеры с Гришей: у них была передышка в тренировке. Ребят заинтересовало, почему на барже поднят французский флаг. Адмирал Ушаков сражался с французами? А если сражался, то где?

Моряки рассказали ребятам, что Ушаков сражался с французами в Средиземном море и освободил крепость Корфу. А у Синопа Ушаков разбил турецкую эскадру, которая хотела захватить Крым.

«Французский фрегат» отцепили от буксира, и начался бой между ним и «Дунаем».

На «Дунае» взвился русский флаг — белый с синим крестом. Слышно было, как затрубили сигнальные рожки: «Приготовиться к баталии!» Крышки у люков откинулись, вылезли голые по пояс матросы и протерли шомполами стволы пушек. «Дунай» разворачивался под ветром, прицеливался. Раздалась команда: «Фитиль пали!» — и ударили пушки.

Воздух сдвинулся, качнулся. В горах заухало, загремело, точно кто-то сбросил пустую железную бочку и она покатилась, грохоча и подскакивая на утесах. Над морем нависли плотные клубы порохового дыма. Едко запахло серой.

У «Дуная» обломилась рея, вспыхнул, как бумажный, парус. У «французов» тоже что-то загорелось: там, видимо, подожгли специально приготовленную паклю.

Дым сделался гуще. Вода покрылась копотью и пятнами оружейной смазки.

Морской охотник с киноаппаратом не переставал суетиться. Матросы и мы с ребятами были в восторге — когда бы еще привелось увидеть такое!

А сражение крепчалось. Рывкали бомбами и фугасами чугунные пушки. Это так казалось, что бомбами и фугасами, потому что настоящих-то бомб и фугасов, конечно, не было.

Отлетали от кораблей щепки, обрывки вант и шлеек, пеньковых тросов. Обвисли, почернели в дыму паруса. У «Дуная» срезало кусок бизань-мачты, но зато «французы», охваченные сильным пламенем, начали крениться на борт.

До нас донеслось русское «ура». Мы тоже повскакали и закричали:

— Ура-а!

— Слава храброму адмиралу!

Когда бой утих и глядеть было не на что, все попрыгали в бассейн. Началась веселая игра в мяч.

Отказалась играть только Таня. Она осталась сидеть на берегу, обняла колени и положила на них подбородок.

Мяч был цветной, огромный. Прыгнул в воду и я. Пустяки, что плаваю скверно! Сейчас это незаметно. Громче всех смеялись и веселились Юля и Спартак.

И тут я понял причину Таниной грусти: Юля и Спар-

так всегда вместе, и, когда они вместе, им весело. А Тане от этого совсем наоборот — ей грустно.

От Юли и Спартак не отставала и моя Лена. Она кувыркалась, выжимала в воде стойки, вскарабкивалась ко мне на плечи и с громким смехом и брызгами сваливалась в воду, нарочно посылнее оттолкнувшись ногами, чтобы я тоже не устоял и свалился.

Один из матросов нырнул возле Юли и, неожиданно вынырнув, поднял на голове два пучка скрученных волос — получился черт.

Юля засмеялась. Засмеялись и мы все. Только Таня не смеялась, продолжала смотреть в море, где медленно рассеивался дым недавнего сражения.

— Жорка! — крикнул Спартак. — Ну-ка, я!

Спартак нырнул, долго пыхтел под водой, накручивал чуб, наконец, красный и задыхающийся, вылетел из воды, но рога не получились. Попытался и Жорка, но у него тоже не получились. А моряк все нырял и выныривал чертом.

Матросы погрузились в свои высокие шлюпки и поплыли в бухту. Мы с Гришей и ребятами помахали им на прощание и пошли на берег, на валуны, греться.

А солнце поднималось все выше — жаркое, ослепительное. Прижмуришься, посмотришь на воду — будто падают на нее с солнца брызги: это так отражается свет на мелких волнах.

В каменных излучинах гор и над скалами закурился желтый зной, задрожали в нем кипарисы и черепичные крыши домов.

Народу в море полно. Плавают на камерах от автомашин, которые потом катят к дому по тротуару, на смешных надувных рыбах и крокодилах.

Курносый щенок с высунутым сухим языком долго бегал возле моря, никак не мог подступить. То он гнал-ся за волной, то волна за ним.

Наконец щенок изловчился и укусил море. Чихнул, плюнул, потом рассердился и залаял.

Мы загорали, положив на глаза легкие и плоские камешки: это чтоб не напекло солнце.

Когда вдоволь нажарились, то напоследок окунулись, оделись и пошли в палатку пить со льда «богатырь-воду» — нарзан. Если б о нарзане узнал щенок с сухим

языком, он бы, наверное, с радостью к нам присоединился.

Домой возвращались помолодевшие и голодные.

С ребятами договорились о встрече на завтра. Гриша и ребята попросили Лёну помочь в тренировке. А потренироваться надо было: артековцы — соперники серьезные.

По пути к дому Лёна купила плетенную из камыша корзиночку — легкую, прочную. В нее сложили махровую простыню и купальные костюмы. Таня шла с нами уже веселая — грусти не осталось и в помине.

Во дворе нас встретила Динка. От радости визжала и топтала нам ноги. Марта все еще стеснялась и не подходила.

Динка отобрала у Лёны корзинку, крепко закусилась ручки и побежала в дом. И потом дома, когда Лёна хотела взять у Динки корзинку, вынуть белье и повесить сушить, Динка отдавать не пожелала. Сомкнула челюсти и стояла, посапывая и помахивая коротким хвостом.

— Надо что-нибудь дать, — сказала Таня. — Иначе не отпустит.

Лёна дала Динке московский хлебец, который мы привезли с собой. Динка, не разжимая челюстей, понюхала хлебец, одобрила и только тогда вернула корзинку.

Угостили хлебцем и Марту. Она подошла к Лёне боком, опустив глаза. Вежливо и аккуратно взяла хлебец из рук.

Первый шаг к знакомству.

3

Так и повелась наша жизнь в Ялте.

По утрам Гриша с ребятами заходили за нами, и мы отправлялись к морю. Лёна стала тренером, строгим и даже деспотичным. Не то что мягкий и сговорчивый Гриша.

Тренировка начиналась каждый день с упражнения: глубокий вдох, погрузиться в воду с открытыми глазами и выдохнуть через рот, чтобы поднялись крупные пузыри.

Все мы, в том числе и бывший тренер Гриша, сидели в воде и пускали пузыри. Когда пытались протестовать,

Лена укоряла — оказывается, лучшие пловцы ежедневно и помногу проделывают это упражнение. Оно развивает легкие, дыхание. А кто не умеет дышать, тот не умеет плавать. Вот такая горькая истина!

Мы опять покорно лезли в воду и опять пускали пузыри. Делали мы и такое: всплывали поплавками или ложились на спину и лежали на воде.

И все по часам и по суровой команде:

— Входи в воду!

— Выходи!

— Сесть!

— Встать!

Люди на пляже отдыхали, веселились, входили в море и выходили, когда им вздумается, а мы — как военное поселение: туда-сюда, кругом-бегом!

Должен был подчиняться муштре и я, хотя совсем не собирался участвовать в соревнованиях с артековцами.

Но Лена заявила, что ей надоело из сезона в сезон возиться со мной, как с новобранцем, и что пора в конце концов в отношении плавания поставить меня на ноги.

Лена завела должность секретаря. Определила на нее Вадима.

Ему вменялось в обязанность носить тетрадь под названием «Дневник тренировок», в которую Лена записывала, кто на какие дистанции плавает, самочувствие, вес, пульс до и после плавания (мой пульс тоже «до» и «после»).

Вечерами мы сидели на набережной под платанами, отдыхали после занятий или прогулок, которые совершали пешком по побережью.

Говорили о Москве, о высотных зданиях со скоростными лифтами и эскалаторами, о новом пресном море, которое будет около Симферополя.

Нравилось нам встречать теплоходы. В море темно и пустынно, а небо переполнено звездами — похоже, будто там выпал снег.

Вдруг далеко на горизонте приходит в движение созвездие. Начинает приближаться к Ялте, постепенно отрываясь от горизонта, глубже вплывая в темноту моря.

— Теплоход! — заявляет Вадим.

— Да, теплоход, — соглашаются остальные и молча ждут приближения теплохода.

Созвездие вытягивается, принимает очертания корабля.

— «Петр Великий», — говорит Жорка.

— Нет, — возражает Юля. — У «Петра Великого» трубы тонкие и высокие, а у этого — широкие и низкие.

— Тогда «Украина», — уступает Жорка.

— И не «Украина», — вмешивается Спартак, — а электроход «Россия».

Корабль, охваченный огнями, подходит к порту. Вокруг так покойно — и в море и в горах, — что с корабля долетает музыка.

На носу сильным толчком света загорается прожектор. Освещает не только порт, а и городские переулки высоко в горах.

Корабль рулит к молу. Тихий ход! Стоп, машина! Звенит цепной канат станového якоря, и электроход, пришвартовавшись, роняет в море огни.

Мы разбираем название: «Победа».

Съемка кинокартины «Адмирал Ушаков» продолжалась. На набережной из дерева и полотна выстроили колоннаду с лепным фронтоном и большими ступенями.

По вечерам вспыхивала вольтовая лампа «ДИГ» — дуга интенсивного горения. Вспыхивали и более тусклые — юпитеры с марлевыми сетками и всевозможные лампы-подсветы — «бебики». Всем этим хозяйством управляли осветители.

О названиях ламп и о людях, управляющих ими, я узнал позже, и узнал от Тани. Как и при каких обстоятельствах, я еще расскажу.

В городе поселилась сказка. По улицам маршировали переодетые кирасирами и гренадерами матросы в треугольных шапках с золотыми кисточками и в белых лосевых ремнях крест-накрест. У офицеров позвякивали шпаги и кортики, развевались на шляпах плюмажи, сверкали эполеты с красными и серебряными шнурами. На рукавах были повязаны шелковые банты победителей.

На съемку и со съемки шли женщины и мужчины, одетые турками, креолами, итальянцами: в ярких шляпах с бахромой, в черных мантильях, в суконных плащах,

в тюрбанах, с фальшивыми жемчугами. Шли украшенные серьгами, монистами, браслетами.

Попадались даже монахи, подпоясанные веревками, с пробритыми головами и с четками. Гудели бубны и банджо.

На набережной между пальмами и японскими мимозами появились фонари со свечами и жировыми горелками.

На рейде застыла трехмачтовая баркентина. Возле баркентины стоял клипер с украшенным резьбой форштевнем.

«Динь-динь, динь-динь!» — звонил тоненький колокольчик у него на юте. «Донг-донг, донг-донг!» — отвечал басом двадцатифунтовый колокол на баке. На клипере и на баркентине сверкали оттертые песчаником и густо промазанные льняным маслом палубы.

Мы с ребятами гуляли по сказочному городу, и нам вспоминались приключения из старинных книг, в которых говорилось о летучих голландцах, о впередсмотрящих, о тайфунах, о смелых невольниках, разбивавших цепи на галерах, о кругосветных путешествиях адмирала Крузенштерна и капитана Головнина.

4

От нашего приятеля Гошки приходили из Москвы директивы.

Во-первых, мы с Леной должны были собирать образцы цветов и листьев и высылать Гошке для гербария. Во-вторых, ловить бабочек и насекомых для коллекции. В общем, указания следовали за указаниями: раздобыть моллюсков — мидию и гребешок; узнать, что за щука сарган и кого она ест; уточнить, водятся ли в Черном море раковины-хищники, под названием «морские желуди». Потом был прислан рисунок бабочки «кавалер» — белой с темными хвостами.

Мне и Лене вменялось в обязанность изловить таковую и доставить в Москву. Для чего, писал Гошка, необходимо сделать расправилку и сушилку, с помощью которых обрабатываются бабочки.

Мы пожаловались Тане, что нигде не можем разыскать моллюска и бабочку «кавалер». Таня посоветовала зайти

в магазин «Подарки Крыма». Какова была радость, когда в «Подарках Крыма» мы обнаружили «кавалера», и даже в готовом виде — расправленного и засушенного. В этом же магазине удалось еще купить маленького краба. Он тоже был расправленный и засушенный.

А вот моллюска мидии не было. Мы с Леной подумали и решили, что краб вполне его заменит.

Гошкина страсть к коллекциям была велика. Среди друзей он слыл знающим человеком в ботанике и зоологии. Я, например, не от кого другого, как от Гошки, узнал, что скорпионы не пьют воды и что осы уничтожают мух.

В семье мать и отец поддерживали Гошку, а вот бабушка была против. Она пугалась загромождения единственной комнаты, в которой жила вся семья, образцами, экземплярами, видами и подвидами из Гошкиных накоплений.

И когда бабушка и внук недавно провели вместе лето в Подмосковье и потом возвращались домой, то бабушка укоряла Гошку: «Комната двадцать квадратных метров, а ты опять везешь стрекозла!..» Но Гошка был неумолим.

Мы с Леной побывали в Никитском ботаническом саду, недалеко от Ялты, где набрали для Гошки образцы растений и листьев: пампасскую траву, окант, пробковый дуб, индийскую сирень, секвойю гигантскую, магнолию калифорнийскую.

С образцами пришли на почту, чтобы вложить в конверты и отослать Гошке.

С одним образцом получилась заминка — с листом калифорнийской магнолии. Лист не помещался в конверт.

Я призадумался: как быть? Вмешалась Лена. Взяла у меня лист и обратилась в окошко к девушке-администратору:

— Можно отправить вот этот лист?

— Как — лист?

— Ну, очень просто — вроде открытки. Поглядите, он плотнее, чем картон. — И Лена передала девушке лист. — Вы понимаете, это необходимо для гербария одному мальчику в Москве. Очень необходимо! Мы надпишем на листе адрес, наклеим марку, и готова открытка.

— Марку, адрес, — повторила машинально девушка, разглядывая лист. — Пройду к начальнику и узнаю, возможно это или нет.

— Узнайте, будьте добры.

Девушка ушла.

— Ну что ты затеяла! — сказал я Лене. — Начальник смеяться будет. Подумает, что тебе солнцем голову напекло.

— Ничего он не подумает. Я даже в книге об этом читала, еще в детстве.

Только было я хотел спрятаться за колонну — будто никакого отношения к даме с калифорнийским листом не имею, — девушка вернулась и сказала, что начальник решил послать.

Лена взглянула на меня, как на трусливого таракана, потом презрительно проговорила:

— Напиши адрес и наклей марку.

Я взял лист, вывел на нем крупными буквами адрес и наклеил в углу марку.

На обороте сообщил Гошке, что это лист с дерева вечнозеленой магнолии и что семена ее впервые были завезены в Крым в 1817 году из Калифорнии. Так было написано на табличке при дереве в Никитском ботаническом саду.

Мы опустили лист в почтовый ящик, и он поехал в Москву.

5

Таня была девочкой удивительной: она знала уйму загадок, головоломок, шуточных задач, ребусов.

Когда я и Лена укладывались на ночь в кровати, Таня укладывалась на диванчике, а Динка и Марта — на раскладушке, мы, прежде чем потушить настольную лампу, слушали Таню, которая задавала загадки и головоломки.

— Скажите, как правильно: перепонная барабанка или пирепонная барабанка?

Лена спешит ответить первой:

— Конечно, перепонная.

Таня спокойно возражает:

— А может, барабанная перепонка? — не выдерживает и хохочет.

Все это тем более смешно, потому что Лена во время войны работала процедурной сестрой в госпитале.

Не выдерживаю и я и тоже хохочу. Слышно, как у Динки и Марты звякают номерки на ошейниках,— это собаки поднимают головы, стараются понять причину веселья. Лена почему-то грозит мне пальцем и потом тоже смеется.

— А вот как, по-вашему,— продолжает Таня,— плыли на пароходе два капитана — один сухопутный, другой морской...

Я внимательно слежу за интонациями голоса Тани, пытаюсь уловить тот момент, где она сфальшивит, потопится — тут-то и кроется в загадке подвох. Но Таня говорит ровным и даже будто безразличным голосом:

— Значит, один сухопутный капитан, а другой — морской. А маяк на берегу то погаснет, то потухнет, как у нас в Ялте. Который из капитанов первый увидит маяк?

Тут уже наступает моя очередь. Я не выдерживаю и говорю:

— Наверное, морской капитан: у него должен быть бинокль.

За ширмой тишина.

Потом доносится еле сдерживаемый, приглушенный подушкой смех.

— Маяк ведь,— говорит Таня,— то погаснет, то потухнет! Он и не горит вовсе!

И опять мы все смеемся. И Динка и Марта тоже, очевидно, смеются, трясут головами, потому что у них беспрерывно звенят ошейники.

А загадкам, скороговоркам, шуточным задачам нет конца. Что вверх ногами растёт? Оказывается, сосулька. В какое озеро впадает триста тридцать шесть рек, а вытекает одна? Выясняется, что это озеро Байкал с рекой Ангарой. Скажите быстро: «Щетинка у чушки, чешуя у щучки».

А на море гремят выстрелы и отражаются на небе высокими огненными свечками.

— Адмирал Ушаков турок бьет,— говорит Таня.— Ну что, будем спать? Тушить свет?

И, как всегда, из-за ширмы просовывается тонкая детская рука и поворачивает выключатель на лампе.

Я сидел дома один с собаками. Таня ушла в школу получать тетради и новые учебники для пятого класса. Лена с камышовой корзинкой отправилась на базар за дынями и виноградом.

Динка и Марта, воспользовавшись отсутствием большой хозяйки — Елизаветы Захаровны и маленькой хозяйки — Татьяны, выманили у меня коржики и остатки печенья.

Потом им показалось этого мало, и они начали требовать халвы, которую недавно купила Таня. Я сделал вид, что не знаю, где она хранится.

Но Динка лапой поскребла дверцу тумбочки: отворй — халва здесь.

Покончив с халвой, Динка и Марта сошлись друг с другом, морда к морде, пошептались и опять направились ко мне учинять насилие.

Я решил прикинуться спящим — лег с краю на постель, протяжно задышал.

Собаки долго расталкивали меня носами, повизгивали, тянули за брюки, но я продолжал упорствовать. Они отчаялись добудиться, залезли под кровать, поворчали на мою неучтивость и задремали.

Я еще немного полежал, потом осторожно встал и прокрался к Таниной этажерке с книгами. Собаки заснули, кажется, крепко.

Тогда я прибодрился и уже смело начал рассказывать вокруг этажерки, выбирать для чтения книгу. Беляев «Старая крепость», «Русские сказки», Короленко «Слепой музыкант»... Все это я читал.

Но вот я достал большую книгу — «Первоклассница». Мне хорошо помнилась кинокартина под таким же названием. На обложке узнал Наташу Зацепину, маленькую актрису, которая исполняла роль первоклассницы Маруси.

Я пролистал книгу. Из нее выпали фотография и распечатанное письмо. На фотографии была группа девочек вокруг народной артистки СССР Тамары Федоровны Макаровой. В «Первокласснице» Тамара Федоровна снималась в роли учительницы Анны Ивановны. На руках у нее сидела маленькая девочка с худенькими косичками. Я узнал Таню. Кого же она играла в кинокартине?

Книга лежала раскрытой. Я взглянул на иллюстрацию. Посреди класса стояла смущенная и растерянная девочка в форменном платье и в черном переднике. И опять я узнал Татьяну. Под иллюстрацией было написано:

«Когда кончилась большая перемена, все вдруг увидели, что в классе стоит никому не знакомая девочка.

Не успели первоклассницы спросить девочку, кто она такая, как в класс вошла Анна Ивановна. Увидев Анну Ивановну, незнакомая девочка горько заплакала.

— Что с тобой? — спрашивает Анна Ивановна.

— Я заблудилась! — отвечает девочка, громко плача. — Где мой класс — первый «Б»? Где мои девочки? Где моя Любовь Викторовна?

— Ну, ну, не плачь! — говорит Анна Ивановна ласково. — Они совсем близко, здесь, за стеной. Идем, идем, я тебя провожу».

Тут я не удержался и вытащил из конверта письмо. Конверт-то был раскрыт, и даже уголок письма торчал из него.

Письмо было Тане от Тамары Федоровны.

«Дорогая моя Блошка! — писала Тамара Федоровна. — Я получила оба твои письма, которые меня очень обрадовали — и тем, что ты меня помнишь, и тем, что ты уже так хорошо пишешь. Значит, не зря я вас учила.

Я не могла тебе ответить только потому, что очень занята. Заканчиваем съемки по картине «Первоклассница». Снова снимаем лес. Настоящий — со снегом, морозом и ветром. Холодно сниматься очень, и все простужаемся. Вспоминаем милую, теплую Ялту. В марте ты увидишь себя в кино. Ты всем нравишься. И когда меня спрашивают, хорошая ли ты девочка, я говорю — да. Учится хорошо. Это ведь правда? Да? Напиши мне, как твои успехи в балете. Целую тебя крепко. Всем девочкам передай привет.

Макарова».

Тамара Федоровна не ошиблась: Таня хорошо училась, и я могу подтвердить.

Когда мы приехали, я видел ее табель, где стояли пятерки и была только одна четверка по устному русскому языку. Видел я и похвальную грамоту:

*Выдана ученице 4-го класса женской средней школы № 6
г. Ялты, Крымской области*

БЛАЖКО ТАТЬЯНЕ

За отличные успехи и примерное поведение

31 мая 1952 года.

Когда вернулась Таня с тетрадями и учебниками, она застала меня за чтением книги «Первоклассница».

— А-а, вот вы что читаете! — сказала Таня.

— А-а,— сказал я.— Значит, ты не только Таня, а еще и Блошка?

— Да. Меня так называла Тамара Федоровна. Я была самой маленькой.

И вот тут-то я все и узнал о съемке кино: и про «ДИГ», и про лампы-подсветы, «бебики», и про осветителей, которых артисты в шутку называют «ослепителями», и про то, как Таня вначале робела, когда стояла перед киноаппаратом — камерой — и помощник режиссера командовал: «Приготовиться к съемке! Тишина! Мотор!»

Это значило, что в камере запускалась пленка, а совсем низко, на штативе, свешивался к самой Тане микрофон.

И все, что теперь бы Таня ни сделала и ни сказала, оставалось на пленке у операторов и на пленке у «звукоников».

Таня терялась, забывала слова роли. И тогда раздавался голос помощника режиссера: «Стоп! Сначала!»

Потом вдруг обнаруживалось, что в кадр откуда-то лезла тень, и тут же раздавался голос оператора: «Стоп! Каширует!» Камеру передвигали и брали новый кадр.

Тамара Федоровна, стремясь облегчить положение маленькой Блошки, которая от растерянности все время путала имя учительницы, Любови Викторовны, сказала ей, чтобы она говорила имя и отчество своей мамы: «Где моя Елизавета Захаровна?»

Так имя Елизаветы Захаровны и попало на пленку кинокартины.

Потом я узнал, что Таня снималась еще — в фильме «День чудесных впечатлений». Этот фильм был посвящен Артеку.

7

Тренировка по плаванию продолжалась. Секретарь Вадим носил дневник, Лена все детально в него вписывала.

Я, на свое горе, прибавил в весе полтора килограмма, что, по мнению Лены, было противопоказано. Я тотчас попал под режим усложненных вольных движений и процедуры номер четыре — возлежание на воде в полосе прибоа.

Волны должны были удалить с меня следы постыдного ожирения мышц. Ведь не напрасно же Лена была когда-то процедурной сестрой. А что касается «перепонной барабанки», то я предусмотрительно сохранял молчание, чтобы не быть приписанным к еще каким-нибудь манипуляциям и параграфам дневника тренировок.

Спартак и Юля пропускали занятия. На них сердилась, и больше всех сердилась Таня.

В такие дни она бывала неразговорчивой, с глазами скучными, с опущенными ресницами, или вдруг вся вспыхивала, словно огонек, смеялась и уплывала далеко в море, так что Лене приходилось спешить за ней вдогонку.

Я понимал Таню. Ей очень хотелось преодолеть, может быть первое в жизни, чувство боли и огорчения. И по всему видно было, что такая девочка, как Таня, сумеет это совершить, сумеет отстоять себя перед самой же собой, если это потребуется ей окончательно. И сделает это без всякой посторонней помощи.

К нашей команде прибавилось еще два человека. Правда, двое эти не плавали из-за своего малолетства, но всюду присутствовали.

Были они Таниными соседями по квартире. Звали их Вовками. Один — из Рязани, другой — из Казани. Два Вовки, два двоюродных брата.

Оба драчуны и скандалисты с конопатыми, как воробьиные яички, носами, с измазанными зеленкой локтями и коленями.

Ребята во дворе окрестили Вовок Чуком и Геком, потому что Вовки часто дрались между собой и потом дол-

го были, бесстыдно сваливая вину друг на друга, что и случилось с Чуком и Геком.

Старик Лаврентий, под надзором которого они состояли, день ото дня сокрушался и раздумывал, как раздумывала иногда мать Чука и Гека: «Ну что с таким народом будешь делать? Поколотить их палкой? Посадить в тюрьму? Заковать в кандалы и отправить на каторгу?»

Думал старик Лаврентий ровно три дня и наконец придумал: сдать внуков нам на сохранение.

Вовки приветствовали это восторженным до хрипоты криком. Вовки поняли, что в их жизни наступит некоторое разнообразие.

И вот теперь за нами повсюду следовали два брата, ни в чем не доверявшие друг другу.

Пока мы занимались тренировкой, они искали обкатанную морем цветную гальку или заводили знакомства с доверчивыми посетителями пляжа и начинали над ними истязания: заставляли сворачивать из газет кульки для собранной гальки, прикладывали к пяткам нагретые солнцем камни, поливали из резиновых шапок водой.

И все это длилось до тех пор, пока я, Лена или Гриша не торопились на выручку к людям, которые лишились свежих, не прочитанных еще газет, были обложены с головы до ног горячими голышами и усердно, как морковные грядки, смочены водой.

Все мы загорели. Крымское солнце и крымское море выдубили нам носы и подпалили, обесцветили чубы.

Мы ели большущие синеглазые сливы, про которые продавцы на базаре в шутку говорили: «Есть сливы — черные, как жук, зеленые, как лук». Срывали с деревьев пьяный от солнца инжир, грызли фисташки, били на камнях твердый миндаль. Ели мягкие сладкие дыни, от которых потом, если не сполоснешь руки, клеились в доме все дверные ручки. Ели и талое, теплое мороженое, что ничуть не смущало продавцов-армян, заявлявших: «Сахарный мороз из Балаклавы приполоз».

Праздник Военно-Морского Флота приходился на воскресенье.

В субботу вечером все бегали к метеостанции, около морского вокзала, читать бюллетень погоды — не предвидится ли ветер, похолодание или дождь. Сводка была благоприятной: обещала спокойное море, без дождя и ветра.

Ранним утром репродукторы всколыхнули Ялту фанфарным маршем. Проснулись чайки и цветы. Опали с гор туманы. Глубоко в синеву ушли последние утренние звезды. Корабли в бухте подняли флаги навстречу солнцу. День начался.

В город сошли с кораблей матросы и офицеры.

Таня, Жорка, Спартак, Юля, Вадим появились накрашенные и отутюженные.

Артековцы должны были приплыть на «Павлике Морозове» к четырем часам. Встречать их собралась делегация. Увязались и Вовки.

Начальник порта разрешил ребятам пройти на мол, где была башня маяка.

На маяке ребят встретил паренек в капитанке и в новеньком кителе.

На окружающих он смотрел снисходительно, почесывая пальцем подбородок, как и полагается моряку, у которого уже «весь нос в ракушках».

Спартак рассказал пареньку, кого они ждут.

«Павлик Морозов» должен был выйти из-за мыса. Спусти несколько минут с той стороны выплыл кораблик.

— Может, артековцы? — спросила Юля.

— Нет, — ответил не спеша паренек, снял свою капитанку, подышал на козырек, протер его рукавом кителя и потом надвинул круче прежнего на правое ухо. — Это «Альбатрос». Сегодня со всего побережья гости швартуются. Дела, да-а...

В огромной зеленой раковине среди гор лежала Ялта, залитая теплом и светом. На набережной, на балконах домов, в нагорных переулках смешались пестрые платья, газовые косынки, морские воротники-гюйсы, разноцветные майки спортивных обществ.

Над витринами магазинов опустили полосатые тенты,

в открытых кафе над каждым столиком раскрыли белые зонты. Не смолкая гремела праздничная музыка.

Наконец появился «Павлик Морозов». Сегодня он, как и все большие корабли, был разукрашен вымпелами. На капитанском мостике красной птицей билось под ветром пионерское знамя.

Ребята выстроились шеренгой у причала. На левом фланге стояли Вовки.

Когда катер причалил, артековцы в белых матросках и бескозырках сбежали на берег и тоже выровнялись в шеренгу. Были среди них барабанщики и горнисты.

Гриша сказал приветственное слово, и ребята отдали пионерский салют. Незаметно отсалютовали и Вовки. Паренек на маяке вежливо козырнул.

Загрохотали упругие серебряные барабаны, вскинулись и затрубили голосистые горны.

В четком равнении отбивая шаг, двинулась через город сводная колонна пионеров.

Вовки шли в середине колонны. Потом Вовка из Рязани пошел сбоку. Вовка из Казани — с другого. Тогда рязанский Вовка побежал вперед. И казанский Вовка побежал вперед.

Неизвестно, чем бы это кончилось, но тут колонна подошла к Дому пионеров. Распахнулись ворота, пропускающая колонну в сад, где высилось здание из белого мрамора и голубого диорита.

Вовка из Рязани держал одну половину ворот. Вовка из Казани — другую.

Стихли барабаны. Стихли и трубы.

Вовки закрыли ворота.

Соревнования начались в половине пятого. Около бассейна собрались местные жители, моряки, приезжая публика. С гор, с виноградников и табачных плантаций приехали на автобусах колхозники. Они угощали моряков яблоками, виноградом и папиросами с табаком «Дюбек».

На вышку для ныряния забрались мальчишки, свесили ноги и приготовились наблюдать за ходом борьбы. Но мальчишек с вышки прогнали, потому что они затеяли ссору. Они посыпались в воду — кто солдатиком, кто

вниз головой, кто просто кубарем — и, громко фыркая и шлепая ладонями по воде, потянулись к берегу.

Вокруг стола собралась судейская коллегия. Председателем был капитан второго ранга, известный всему Черноморью герой, начальник дивизиона летучих торпедных катеров.

Лена давала ребятам последние наставления: взяв старт, заботиться о правильном дыхании. При кроле увеличивать скорость, когда обращен спиной к противнику. Обходить его, когда он плывет спиной к тебе. Дышать, поворачивая голову в обе стороны. Это позволит наблюдать за другими участниками.

Первым Лена выпустила Вадима. Помощник судьи объявил:

— На дорожках Вадим Бакшеев — Дом пионеров, и Анатолий Горяев — «Артек»! Заплыв вольным стилем на двадцать пять метров!

Рядом со мной сидели Вовки. Один справа, другой слева. Расположились мы у самого моря, на гальке.

Вадим и Анатолий поднялись на стартовые тумбочки. Помощник судьи скомандовал:

— Приготовиться!

Ребята присели, отвели назад руки, напрягли мышцы.

— Марш!

Судейские секундомеры начали быстро отщелкивать время.

Я наблюдаю за пловцами и за Леной. Она стоит на ступеньках вышки, чтобы лучше видеть бассейн. В руках тоже секундомер.

Вадим плохо начал заплыв: его тянет в сторону, пока он не наткнется на поплавки, которыми разгораживаются дорожки. Артековец идет равномерно и уверенно брассом. Вадим проигрывает, отстав на две и четыре десятых секунды.

Как ни странно, проигрывает и Спартак болгарскому пионеру Стефанеку, который плыл, точно верткая щука, быстрыми, резкими нырками.

Таня поскуцнела. Она была уверена в Спартаке. Он для нее, несмотря на ссору, по-прежнему был самым ловким и сильным.

Лена и Гриша тоже поскуцнели. Внешне Лена как будто продолжает оставаться спокойной. Но это для тех,

кто ее не знает. А я уже по одному тому, как она проводит пальцем по бровям, вижу, что волнуется.

Я тоже начинаю волноваться. Неужели все наши проигрывают?

Ко мне подошла Таня. Села. Ее поразило, что Спартак проиграл. Ей тяжело.

Спартак как вылез из воды, так и остался на противоположной стороне бассейна. Ему было горько от проигрыша, и он даже не захотел к нам подходить. За ним пошел Гриша.

Над морем летали чайки.

Таня помолчала и сказала:

— Мартышки рыбу высматривают.

— Мартышки? — удивился я.

— Ну да. Крылья темные, видите? А Спартак проиграл из-за Юльки, — вдруг совсем неожиданно сказала Таня.

— Почему?

— А так... Из-за Юльки, — упрямо повторила Таня. — Я знаю. Она его хвалила, хвалила и захвалила. Тренировки пропускал, вообразил себя мастером спорта.

Таня выбрала камешек, несколько раз подкинула на ладони, потом забросила в море. Камешек булькнул, не оставил на поверхности даже кругов.

Таня вздохнула и сказала:

— Я сегодня плыть не буду. Не хочу.

Я молчал. Ведь я давно уже догадался, что между Спартаком и Таней существовала дружба, а тут появилась «приезжая» Юлька. И никто ее вовсе не просил вмешиваться в чужую дружбу, а она вмешалась.

За моей спиной Вовки спорили о чайках: почему мартышки? Спорили, спорили и закончили спор, как всегда, скандалом.

Начинался заплыв девочек. Помощник судьи объявил:

— На дорожках Юля Колесникова — Ялта и Сима Муромцева — «Артек»!

Юля проплыла красиво, чисто и выиграла. Эта девочка, очевидно, все умела делать красиво, ловко и быстро. Она первая принесла победу ялтинским пионерам. Ей аплодировали и наши и артековцы.

Таня вскочила и побежала к Лене. И тут же в очеред-

ном заплыве объявили, что от Ялты будет участвовать Татьяна Блажко.

«Правильно Лена сделала,— подумал я,— что немедленно выпустила Таню». А как мне хотелось, чтобы Таня вышла победительницей! Ведь это было ей просто необходимо.

Даже Вовки перестали толкать друг друга локтями и замолкли: как-никак Таня их соседка и до некоторой степени воспитательница.

И Таня выиграла. На одну секунду, а выиграла! К ней подошел Спартак и помог подняться из бассейна.

Вовки хлопали и кричали:

— Трах-бах, тук-тук! Наша взяла!

Хлопать старались один громче другого. И дохлопались до того, что опять едва не сцепились.

Общий результат соревнований получился таков: по группе мальчиков победили артековцы, по группе девочек — ялтинцы.

Потом начали соревноваться моряки — корабль с кораблем, рыбаки-колхозники — артель на артель, и даже санаторские.

Сумерки потушили солнце и море. Среди гор, в ущельях и лощинах, показалась легкая влажная дымка, из которой выпадут тихие росы.

На кораблях вспыхнули прожекторы и застыли высокими синими колоннами между морем и небом. Начался фейерверк — полетели в небо брызги света. По всему городу — песни, смех, огни, музыка. В летнем театре состоялся концерт пионерской самодеятельности.

Я с Вовками сидел в зрительном зале. Таня, Спартак, Гриша и даже Лена были за кулисами — готовили артистов к выступлениям: помогали переодеваться, накладывать грим.

Ребята, распорядители торжества, долго таскали по сцене старенькое пианино: поставят его в ближнем правом углу, потом сбудутся в кучу, поспорят и катят уже в правый дальний.

Один из ребят ходил следом. Носил от пианино колесико, которое вываливалось, и его надо было подставлять.

Я подумал, что для споров им не хватает наших Вовк: тогда бы пианино кочевало по сцене суток двое.

Первыми выступали гости — артековцы. Они сплясали матросский танец.

Танец начинался с того, что на сцену вышел мальчик в форме боцмана и продудел в боцманскую, на цепочке, дудку сигнал: «Свистать всех наверх!»

Выбежали тут со всех сторон моряки; гикнули, притопнули, и пошел общий пляс: отбивали ногами различные переборы, ходили на руках, высоко подпрыгивали.

И вдруг, совершенно неожиданно, выскочил из-за кулис маленький поваренок в колпаке, в фартуке и с огромной разливательной ложкой, размером с самого поваренка. Он схватил свой колпак, стукнул им о землю и включился в танец.

Зал засмеялся. Вовки тут же занялись разговором: как артековцы сумели незаметно пронести с катера эту разливательную ложку?

Ялтинские пионеры танцевали польку и мазурку. Ребята, одетые суворовцами, прищелкивали начищенными полуботинками, расправляли плечи и вообще демонстрировали манеры.

Жорка, почти не фальшивя, сыграл на аккордеоне. Таня вела программу и выходила и уходила со сцены, строго постукивая каблучками новых красных туфель.

Под конец вечера наши всех удивили: показали кинокартину, которую сами снимали, — поход отряда на Ай-Петри.

В луче киноаппарата летали ночные мотыли. Кипарисы в горах, пронизанные светом прожекторов, стояли как зеленые факелы. Под звездами загорались звезды ракет.

После концерта мы провожали гостей до пристани. Шли без строя, кто с кем. Вовок удалось отправить домой. Чешские и болгарские пионеры пели песни на родном языке.

Таня шла со Спартаком.

Когда катер с гостями уплыл, ребята разошлись.

Ушли и Таня со Спартаком, взявшись за руки.

А мы с Леной остались. Остались у того же места в порту, к которому приехали на автобусе.

И вновь, как и тогда, мы стояли на набережной, облокотившись о чугунные перила. С набережной опрокину-

лись в море огни фонарей. Раскачивались на тихих волнах. Слышно было, как поскрипывали у лодок и баркасов чалки.

Над морем повис ковш Большой Медведицы. Казалось, сейчас окунется, зачерпнет теплой сверкающей воды и поднимет к звездам.

Я стоял и думал: вырастут Вовки и сделаются хорошими людьми. Вырастет Гошка и делается зоологом или ботаником. Вырастут Таня, Спартак, Жорка, Юля, Вадим, а мы с Леной постареем. И только море останется таким, каким оно и было.





ДОМ В ЧЕРЕМУШКАХ

1

Леонид Аркадьевич Лавров работал в университете — занимался изучением стран Востока.

У него была сестра Женя, а у Жени был сынишка Гарька.

Женя предложила Леониду Аркадьевичу, чтобы взял Гарьку и отправился на лето пожить за город, в лес, в поселок Черемушки.

В Черемушках у Жени небольшой домик, сложенный из сосновых бревен, под деревянной, покрытой щепой крышей.

Сама Женя псехать в Черемушки не могла: ее проектная мастерская, где она работала архитектором, была занята выполнением срочного заказа и отпуска следовало ждать не раньше осени.

Гарьку тоже никуда нельзя было послать с детским садом: только что переболел свинкой и теперь должен был выдержать три недели карантина.

— Ну хорошо,— сказал сестре Леонид Аркадьевич.— Отправляй. Только...

— Всякие «только» потем. В основном вопрос решен. Правильно?

— Ну правильно... ну решен,— уступил Леонид Аркадьевич и слабо махнул рукой.

Перечить Жене бесполезно: нравом упряма и напориста.

— Как с продуктами? Устроитесь. В Черемушках есть магазин. Из деревни станут носить молоко. А готовить будет Матрена Ивановна, она живет через три двора. Как приедете, зайдите к ней. Я послала письмо. Да и вообще среди людей не пропадете.

Дома Леонид Аркадьевич уложил в чемодан свои восточные книги и словари, бутылку с чернилами, полотняные брюки, майку, галстук, запасные косточки-вкладыши, которые употребляются для того, чтобы не мялись концы воротничков у рубашек, круглые резинки для рукавов.

Женя собрала Гарьке тоже чемодан, а в чемодане — белье, тетрадь для рисования, краски, заводной волчок с сиреной, пара новеньких ботинок.

Леонид Аркадьевич жил отдельно от сестры, жил одиноко, занимался научной работой в университете и с детьми никогда ничего общего не имел.

Дети пугали его той заботой, которой, как ему казалось, они требовали.

А тут предстояло прожить вместе с Гарькой с глазу на глаз почти два месяца.

В день отъезда все трое сошлись на вокзале.

Пока Гарька восседал верхом на одном из чемоданов и старательно сосал леденцовую конфету, гоняя языком от щеки к щеке, Женя негромко говорила брату:

— Ты, Леонид, его воспитывай, не стесняйся. Принимай меры, какие найдешь нужными.

— Что, обязательно меры? — насторожился Леонид Аркадьевич, поглядывая искоса на Гарьку.

Сквозь ворот рубашки видны тоненькие ключицы, на худеньком затылке — ямка, куда уползла косица нестриженных волос, колени и локти по-детски острые. Ну какие там меры!

— Нет, конечно, не обязательно, но если расшалится и будет мешать работать...

— Ну хорошо, хорошо, там видно будет, — ответил Леонид Аркадьевич, человек мягкий, вежливый, с застенчивыми близорукими глазами.

К перрону подали пригородный поезд.

Женя обняла и поцеловала сына с карамелькой во рту, потом брата и заторопилась на работу.

Когда Женя отошла уже на порядочное расстояние, Гарька, одолев наконец свою нескончаемую карамель, проговорил со вздохом:

— А ключ от дома...

— Что ключ? — не понял Леонид Аркадьевич.

— У мамы в сумке остался. От дома в Черемушках. Она просила напомнить.

— Так что ж ты прежде молчал! — с сокрушением воскликнул Леонид Аркадьевич и от волнения сдернул с себя очки.

— Я сам только вспомнил.

Женя ходит быстро, размашисто, и догнать ее не просто.

Дядька и племянник закричали на весь перрон:

— Женя!

— Мама!

— Женя!

— Мама!

Женя оглянулась: то ли услышала крики, то ли хотела окончательно удостовериться, что уже отправила брата и сына в Черемушки.

Леонид Аркадьевич и Гарька беспорядочно замахали руками

— погоди!

— Ключ! Ключ!..

Но вот ключ у Леонида Аркадьевича, и они с Гарькой, успокоенные и примиренные, сидят в вагоне друг против друга у окна.

Над головами в багажных сетках, тоже друг против друга, два чемодана — большой и маленький.

Всё в порядке.

Крикливый, петушиный гудок пригородного поезда.

Толчок назад — состав скрипнул, сомкнулась сцепка. Толчок вперед — состав болтнулся, лязгнул перекидными мостками и стронулся с места.

Отстучали под колесами сортировочные стрелки, проплыли водонапорные башни и угольные ямы, и поезд за скакал по рельсам легкими дачными вагончиками.

Леонид Аркадьевич и Гарька молчали, смотрели в окно.

Густой паровозный дым опадал низко на землю, и козы, привязанные к колышкам на лужайках и в рощах, отворачивались, мотали в неудовольствии головой. Ребята-пастухи приветственно подкидывали фуражки.

Пересекли узкую речушку, сплошь усыпанную рыболовами.

По шоссе, соревнуясь с поездом, мчалась полуторка.

Леонид Аркадьевич спохватился: Гарька ничего не жует.

— Ты есть не хочешь?

— Нет. А вы?

— Я тоже не хочу. Ты, когда захочешь, скажи.

— Скажу.

У Леонида Аркадьевича в кармане пиджака два яблока. Ими надеялся поддержать Гарьку, если тот неожиданно проголодается, пока они устроятся в Черемушках с едой.

Гарьке о яблоках было известно. Еще на вокзале он поинтересовался у дядьки, отчего это у его пиджака так оттопырен один карман.

На ближайшей станции Гарька сказал, увидев, как из шланга поливают платформу водой:

— Я тоже поливал из кишки улицы. А вы поливали, дядя Лёня?

Леонид Аркадьевич пристально сквозь очки поглядел на платформу и ответил, что как будто никогда прежде не поливал из кишки улицы.

— А яблоки вы как едите? — неожиданно спросил Гарька. — Я — вместе с косточками.

Леонид Аркадьевич сказал, что предпочитает есть без

косточек, но понял, в чем дело: достал из кармана яблоко и протянул Гарьке.

Гарька взял яблоко, поблагодарил и начал грызть, побалтывая ногами.

Покончив с яблоком, перестал болтать ногами и завел разговор со стариком соседом: попросил у старика примерить его очки, потому что они были в тяжелой роговой оправе и имели гораздо более внушительный вид, чем очки Леонида Аркадьевича — маленькие, с тонкой металлической окантовкой.

Старик очки дал.

Гарька напялил их, но ему не понравилось: было мутно видно, а он думал, что будет как в бинокль.

Гарька от безделья пересчитал в вагоне окна, прошелся между скамейками, внимательно разглядывая пассажиров, успел два раза стукнуться обо что-то головой и в конце концов задремал, привалился к старику.

На одной из остановок паровоз резко толкнул вагон.

Гарька проснулся, вздохнул и сказал:

— А почему вы яблоки едите без косточек?

Леонид Аркадьевич молча протянул Гарьке второе яблоко.

Солнце заволокла большая туча, и полил дождь.

Вначале заскользил по окну легкими косыми каплями, потом отяжелел, выпрямился и ударил по земле гулким частым проливнем.

Вспенились, потекли пузырчатые потоки, пригнулись деревья, легла на землю трава. Даль исчезла в мутном водяном вихре.

Поезд приближался к Черемушкам, а ливень ещё не стихал.

Сквозь водяную завесу показались очертания платформы.

Леонид Аркадьевич и Гарька взяли чемоданы, попрощались со стариком и сошли с поезда. На платформе укрыться от дождя было негде.

— Побежали! — крикнул Гарька.

— Куда?

— Под дерево!

Леонид Аркадьевич кивнул, и они припустились с платформы к ближайшим деревьям.

Гарька мчался во весь дух, легко, точно кузнечик, перемахивая через лужи.

Леонид Аркадьевич бежал, громко отдуваясь, высоко расплескивая грязь, а когда перепрыгивал через лужи, то в чемодане у него что-то грюкало.

«Наверно, древние греки»,— решил Гарька. Он знал, что Леонид Аркадьевич вечно копается в старинных и очень увесистых книгах.

Выбрали осину и устроились под ней.

Запахло влажными листьями и подгнившими корневищами. Дождь шумел в листве дерева, осыпаясь на землю.

Вскоре из-за тучи проглянуло солнце и запалило лес теплым светом.

Плеснули последние струи дождя. Деревья, травы, цветы начали пить чистую дождевую воду, вбирать в себя теплый солнечный свет.

— Теперь грибы полезут,— сказал Гарька и предложил: — Дядя Лёня, пойдемте в поселок напрямик через лес.

— Пойдем,— согласился Леонид Аркадьевич.

Ему самому хотелось надышаться мокрым свежим лесом, хотелось ломиться напрямик через чащу, без дорог и тропинок.

Гарьке первому посчастливилось обнаружить гриб — желтую сыроежку, треснутую, словно заячья губа. Гарька был в восторге.

Леонид Аркадьевич сохранял спокойствие до тех пор, пока сам не нашел у коряжистой моховины стайку личичек.

Он поставил чемодан, снял очки, подышал на них, обтер платком и вновь надел, после чего, подпернув брюки, опустился на корточки и выбрал из моха грибы.

С этого момента Леонида Аркадьевича, как говорят охотники, «захватило и повело в угон».

Он обломил себе палку и начал ворошить кучки лежалой листвы, ковыряться среди влажных зарослей папоротника, внимательно осматривать места порубок.

Чиркал спички и заглядывал в темные густые ельники.

Грибов прибавлялось: рыжики, подберезовики, подосиновики.

— Куда складывать? — растерялся Гарька. — Сделаем из рубашки мешок?

— Из рубашки не годится, — сказал Леонид Аркадьевич. — Лучше используем майку.

Он вытащил из своего чемодана майку, низ ее завязал узлом, а из плечиков получились ручки, как у кошелки.

Гарька тащил теперь самодельную кошелку с грибами, а Леонид Аркадьевич — чемоданы.

Что дядька, что племянник — оба были возбужденные, всклокоченные. В волосах — старая паутина и хвоя, руки испачканы в земле.

Гарька и Леонид Аркадьевич выбрались на опушку леса. Вновь был синий солнечный день.

— Дядя Лень, а от вас пар идет, как от горячей каши! — засмеялся Гарька.

— И от тебя, братец ты мой, тоже идет, как от горячей каши! — ответил Леонид Аркадьевич и тоже засмеялся.

Дядька и племянник дымились, просыхая на солнце.

Улицы в Черемушках были с глубокими канавами, поросшими чертополохом и лопушником.

Лужи на тропинках стояли прозрачные и согретые. В них видны были корни деревьев, отпечатки велосипедных покрышек, следы босых ребячьих ног.

Гарька еще издали заметил знакомый дом, построенный по собственному проекту Жени, с узорными наличниками и расписными коньками на столбцах крыльца.

Но прежде всего зашли к Матрене Ивановне, и тут случилось непредвиденное: муж Матрены Ивановны, Яков Данилович, сообщил, что у жены разыгрался приступ аппендицита и ее увезли в больницу.

— Но ничего, — утешил он Леонида Аркадьевича. — Ей уже лучше. Скоро вернется и будет вам готовить, а пока что просила передать вот это. — И Яков Данилович протянул Леониду Аркадьевичу большую книгу в кожаном ветхом переплете с обломанными углами.

Книга называлась: «Подарок молодым хозяйкам, или Средство к уменьшению расходов в домашней кухне».

Леонид Аркадьевич поблагодарил за внимание, взял книгу, и они с Гарькой вышли на улицу.

«Как же быть? — соображал Леонид Аркадьевич. — Возвращаться в город — обидно. Собирались, приехали — и тут же назад! А может, попробовать пожить самостоятельно, пока выпишется из больницы Матрена Ивановна? Всего несколько дней...»

Гарька догадывался, о чем думал Леонид Аркадьевич. Он сказал:

— А давайте вдвоем.

— Что — вдвоем?

— Жить вдвоем и варить. Книга у нас есть.

— Ты, пожалуй, прав, — сказал Леонид Аркадьевич и ускорил шаг, как человек, утвердившийся в принятом решении. — Книга имеется, давай попробуем.

— Будем, как Робинзон Кукуруза.

— Не Кукуруза, а Крузо.

— Ну Крузо. Мне Колька из нашего двора рассказывал.

Калитка перед домом была прочно закручена проволокой, чтобы во двор не забрели коровы.

Гарька проворно перелез через забор.

Леонид Аркадьевич в раздумье потоптался перед забором, помедлил, огляделся — нет ли кого на улице — и потом тоже перелез.

Ототкнули на дверях замок и прошли в дом.

В комнатах духота, запустение: серые комья слежавшейся пыли, обрывки хрупких, пересохших газет, глиняные горшки из-под рассады, пучки соломы, черенки от лопат.

Леонид Аркадьевич распахнул окна, и сразу приятно повеяло дождем и лесом.

В домике было две комнаты, кухня и кладовка.

В комнатах — кровати без матрацев, сбитые из горбылей столы и табуреты, промятый матерчатый диван.

Необходимо было привести в порядок жилье, а для этого, насколько понимал Леонид Аркадьевич, прежде всего следовало подмести и вымыть полы.

— Гарька, — сказал Леонид Аркадьевич бодрым голосом, — где у вас ведра?

— На чердаке.

— Хорошо. Карабкайся на чердак.

Лестница на чердак вела из кладовки. Гарька полез. Вскоре с чердака долетел его голос:

— Здесь и ящик с инструментами... А-а-пчхи!.. И дрова и умывальник. Достать?.. А-а-пчхи!.. И топор и корыто...

— Хорошо,— сказал Леонид Аркадьевич, хотя по-прежнему не знал, что, собственно, «хорошо»: то ли, что они сюда приехали, то ли, что обнаружено корыто.

Гарька предложил мыть полы так, как моет бухгалтер Станислав Дмитриевич, их сосед по квартире в городе. У него быстро получается: выльет ведро воды на пол, а потом только ходит выкручивает тряпку — собирает воду обратно в ведро.

Разделись до трусов, быстренько вынесли мусор и выплеснули в комнатах и в кухне по ведру воды.

Начали собирать воду обратно тряпками, но не тут-то было: развелась невообразимая слякоть.

Леонид Аркадьевич и Гарька елозили на коленях по дому, протяжно сопели, сгоняя воду из кухни и комнат уже не в ведра, как бухгалтер Станислав Дмитриевич, а прямо с крыльца во двор.

Но вода сгонялась плохо: мешали в дверях порожки.

Леонид Аркадьевич устал, вышел из дому, чтобы передохнуть.

В доме раздался стук. Потом все смолкло.

Когда Леонид Аркадьевич вернулся, то в комнате, где трудился Гарька, воды не было.

Леонид Аркадьевич очень удивился.

— А я дыру пробил,— сказал Гарька.— Тут в полу гнилая доска, сразу долотом пробила. Может, и в кухне пробить?

— Что ты! — испугался Леонид Аркадьевич.— Так весь дом продырявим!

Кое-как покончив с полами, устроили отдых.

Потом Гарька укрепил умывальник и занялся полочкой для зубного порошка и мыла, а Леонид Аркадьевич подступился к печке.

Дом наполнился дымом. Это из печки, которая у Леонида Аркадьевича долго не разгоралась: не было тяги, он забыл открыть в трубе заслонку.

Но вот столы покрыли бумажными скатертями, которые предусмотрительно сунула Гарьке в чемодан Женья, вкрутили в патроны электрические лампочки, о которых

тоже позаботилась Женя, и привели в порядок хозяйство в кухонном шкафу. В нем оказалось все необходимое: кастрюли, сковородки, чайник, тарелки, вилки.

Подсохли даже полы. Наступила очередь подумать о еде.

— Что ж, — сказал Леонид Аркадьевич, — поджарим грибы?

— Поджарим, — согласился Гарька.

— Ты побудь дома, а я схожу в магазин.

Леонид Аркадьевич надел новые полотняные брюки, свежую рубашку и отправился в центр поселка, где помещались магазин, парикмахерская и пожарная будка.

В магазине попросил масла, хлеба и сахара.

— Только приехали? — спросила продавщица, оглядывая седоватого человека в клетчатых домашних туфлях.

— Да, сегодня приехали.

— А соль у вас есть?

— Соль?.. Конечно, нет. Спасибо, что напомнили.

— И пачечку чая возьмите.

— Тоже не повредит.

— А на сдачу я вам спичек дам.

Леонид Аркадьевич кивнул.

Возвращаясь домой, он думал, что жизнь в Черемушках будет не так уж плоха и что среди людей действительно не пропадешь. Женя права.

Когда Леонид Аркадьевич вошел в дом, увидел — Гарька сидит в кухне на чурбачке, занят чисткой грибов.

Сбоку на полу лежала раскрытая поваренная книга.

— Ты уже приступил?

— Да. Вот тут написано... — И Гарька заглянул в книгу и прочитал по складам: — «Пре-жде все-го гри-бы не-об-хо-ди-мо о-чис-тить и по-мыть».

Леонид Аркадьевич выгрузил покупки и подсел на подмогу к племяннику.

Когда грибы очистили и помыли, их нарезали ломтиками и прокипятили в кастрюле. Потом посолили и обжарили в масле.

Перед окончанием жарения книга рекомендовала добавить чайную ложку муки, положить сметану, посыпать тертым сыром и запечь. А при подаче на стол сбобрить зеленью петрушки или укропом.

Но Леонид Аркадьевич и Гарька порешили прекратить готовку своих грибов, когда они попросту окажутся съедобными.

Грибы шкворчали на чугунной сковородке и яростно брызгались маслом. Леонид Аркадьевич, придерживая очки, поминутно отпрыгивал в дальний угол кухни.

Гарька читал поваренную книгу, выискивая, что и из чего можно еще приготовить.

— «Суп из каш-та-нов». А каштаны в городе продаются, дядя Лёня?

— Мне не попадались.

— «Клец-ки из ра-ков», «Жаркое из ди-ко-го веп-ря». А кто такой вепрь? Птица, да?

— Кабан,— поспешно отвечал Леонид Аркадьевич, загнанный шипящим маслом в угол кухни.

— «Кар-то-фель-ные кро-ке-ты», «Суп из бы-чачь-их хво-стов...» Дядя Лёня, из хвостов суп! — Гарька подпрыгнул на чурбачке и уронил книгу.

«Подарок молодым хозяйкам» рассыпался по полу.

Леонид Аркадьевич подумал: «Суп из бычачьих хвостов? Черт знает что такое!»

— А ну ее, эту книгу,— сказал Гарька, складывая листки как придется: вепри, каштаны, бычачьи хвосты, крокеты... — Мы и без нее проживем. Правда, дядя Лёня?

— Правда,— ответил Леонид Аркадьевич.— Проживем и без нее.

Грибы получились отменные.

Леонид Аркадьевич сам искренне удивился, что они с Гарькой сумели так вкусно приготовить, хотя у них под руками и были только масло, соль и завалявшаяся, вялая луковица и совсем не было ложки муки, сметаны, а при подаче на стол отсутствовала зелень петрушки.

После целого дня на лесном воздухе у дядьки и племянника разыгрался аппетит. Они ели молча ложками прямо со сковородки, а хлеб не резали, а ломали кусками.

В печке с шелестом разваливались головешки. От них отстрекивали угольки и тут же гасли, падая на железный лист, прибитый на полу перед топкой. Трещала духовка — остывала.

В дом входила ночная тишина, полная трепетных теней от крыльев бабочек-бразжников, запаха еще горячих от солнца елок.

В лесу утомонились птицы, только где-то одиноко вскрикивала серая сова-сплюшка: «Сплю... сплю...»

Пужинали и загасили огонь в печке. Улеглись пока что на матерчатом диване.

Гарька уснул, едва прикоснувшись к подушке.

Леонид Аркадьевич кашлял, вставал, пил воду, долго ворочался: ныла поясница после мытья полов, побаливали в плечах руки, которые без привычки отмахал топором, в спину упирались пружины дивана.

Но не беда...

Жизнь, кажется, налаживалась.

2

Да, жизнь налаживалась — самостоятельная, трудовая, без Матрены Ивановны.

И, когда Яков Данилович сообщил, что Матрену Ивановну задержат в больнице, Леонид Аркадьевич и Гарька не отчаялись, не впали в уныние, а окончательно приняли решение: жить в Черемушках и вершить свои дела по хозяйству без посторонней помощи.

Они докажут заносчивой Жене, на что способны двое сильных духом мужчин.

...День начинался с физзарядки: дыхательные упражнения, прыжки на месте, бег вокруг дома.

Гарька с самого старта легко обходил дядьку.

— Знаете что? — сказал Гарька. — Так неинтересно... Я буду бегать в другую сторону.

— Хорошо, — согласился Леонид Аркадьевич. — Бегай в другую.

Дядька огибал дом в одном направлении, а племянник — в другом, ему навстречу, да с такой скоростью, что насккивал на Леонида Аркадьевича из-за каждого угла.

Покончив с зарядкой, завтракали — ели простоквашу, которая, как считал Леонид Аркадьевич, весьма удавалась ему в приготовлении: с вечера он заправлял молоко кусочками черного хлеба и оно быстро прокисало. (Леонид Аркадьевич узнал об этом из «Подарка молодым хозяйкам», куда наведывался потихоньку от Гарьки.)

Дни, когда назначалась простокваша, были для Гарьки стихийным бедствием: простоквашу приходилось есть

не только во время завтрака, но и за обедом и за ужином.

Леонид Аркадьевич приготавливал ее в огромном количестве, как самое несложное блюдо. Загружал простоквашей кастрюли и даже чайник.

В те часы, когда Леонид Аркадьевич обкладывался книгами, для Гарьки наступало томительное одиночество.

Вначале Гарька рисовал пейзажи, пока не израсходовал зеленую краску.

Потом Гарька взялся ремонтировать дом. Начал с крыльца.

Раздался сотрясающий грохот. У Леонида Аркадьевича попадали со стола карандаши: Гарька вколачивал в порожки строительный гвоздь.

— Ты что? — ужаснулся Леонид Аркадьевич размеру гвоздя.

— Прочно будет, — ответил Гарька.

Закончив ремонт крыльца, Гарька попросил Леонида Аркадьевича купить масляной краски.

— Для чего тебе?

— Буду забор красить.

— Хорошо, — сказал Леонид Аркадьевич и подумал: «Пусть красит забор, пусть красит даже деревья, лишь бы не стучал».

Посоветовавшись с Яковом Даниловичем, Леонид Аркадьевич сходил в нефтяную лавку, которая находилась в центре поселка, рядом с пожарной будкой, купил оранжевой краски (была только оранжевая), большую кисть и олифы.

Дома развели краску, и Гарька приступил к работе.

Леонид Аркадьевич теперь часто отрывался от книг и словарей, наблюдал, с каким вдохновением Гарька работал.

Как-то Леонид Аркадьевич поддался искушению и вышел поразмяться, попробовать покрасить забор.

Работа была настолько увлекательна — забор на глазах из грязного и линялого превращался в чистый, ярко-оранжевый, — что Леонид Аркадьевич сбегал в лавку и купил себе вторую кисть.

«Не напрасно, значит, ребята, друзья Тома Соьера, — вспомнил Леонид Аркадьевич, — предлагали Тому пару

головастика, одноглазого котенка и даже оконную раму, чтобы разрешил вместо него белить забор теткиного дома. Определенно был смысл».

Забор красили с разных концов, навстречу друг другу.

Вскоре краска кончилась.

Леонид Аркадьевич отправился в нефтелавку, но там сказали, что масляной краски больше нет. Надо подождать, пока привезут из города.

Леонид Аркадьевич, опечаленный, вернулся к недокрашенному забору, который своим цветом успел уже произвести убедительное впечатление на всех обитателей Черемушек.

После обеда Гарька и Леонид Аркадьевич часто уходили гулять, осматривать окрестности.

Собирали цветы, ловили стрекоз, сбивали с елок крепкие, еще неспелые шишки. В залитом водой большом карьере, где когда-то добывали песок, пугали лягушек. Лягушки, взбрыкнув задними лапами, шлепались с берега в воду, а потом притворялисьдохлыми — не шевелились, закрывали глаза, растопыривали лапы и колыхались на воде, как зеленые кленовые листья.

Лягушек можно было даже трогать прутиком.

В укромных, затененных лозой и ивняком излучинах карьера сидели нахохлившиеся мальчишки с кривыми удилищами из орешника.

При появлении Леонида Аркадьевича и Гарьки мальчишки хмурились, просили не шуметь и ни в какие разговоры не вступали.

Позже удалось с ними познакомиться и принять участие в рыбалке, и то в качестве сторонних и безмолвных наблюдателей.

Но сколько Леонид Аркадьевич и Гарька ни проводили времени с мальчишками и их кривыми удочками, ни разу не видели, чтобы кто-нибудь поймал хотя бы плотицу или окунька.

В карьере, кроме лягушек и жуков-ныряльщиков, никто не водился, но мальчишки ни за что не хотели этому верить и продолжали ловить рыбу.

В лесу ели мелкую дикую малину, умывались колкой

от холода ключевой водой, караулили у неизвестных норок неизвестных зверьков, которые никогда не появлялись, стучали палками по гнилым, трухлявым пенькам, вспугивая домовитых пауков и сороконожек.

Возвращались из леса усталые, полные впечатлений.

Отужинав, мыли посуду, накопившуюся за день, рубили впрок дрова, натаскивали из колодца воды, после чего Гарька садился читать книжку «Приключения барона Мюнхаузена».

Читал вслух.

Леонид Аркадьевич слышал, как Гарька у себя в комнате монотонно, словно дьячок, гудел над книжкой.

Как-то Леонид Аркадьевич взял посмотреть «Мюнхаузена»: вспомнить собственное детство, когда увлекался подобными книжками.

Вечером Гарька засел за «барона» и, не найдя своей закладки, чуть не разревелся.

— Что вы творили! — всхлипывал он. — Я не знаю, где остановился. Теперь мне все сначала начинать...

Леонид Аркадьевич понял, что он «натворил»: Гарька читает по складам и не умеет бегло просматривать текст, чтобы найти место, где остановился.

— А как же ты в поваренной книге о грибах нашел?

— Картинка с грибами была, а здесь нет никаких картинок.

Пришлось Леониду Аркадьевичу расспрашивать Гарьку:

— Про то, почему барон Мюнхаузен зеленел, когда стыдился или гневался, читал?

— Читал.

— Про слугу Буттерфогеля читал?

— Читал.

— А про шарманщика?

— Тоже читал.

— И про охотника и его дочь читал?

— Нет, не читал.

Место «остановки» было обнаружено.

Гарька забрал книжку и снова монотонно загудел над ней.

В доме установился покой...

Однажды утром в кухонном шкафу было вскрыто хищение: в гостях побывали мыши.

Леонид Аркадьевич предложил куда-нибудь перепрятать продукты.

— Все равно найдут,— возразил Гарька.— Мыши — они хитрые.

— Задача... — призадумался Леонид Аркадьевич.

— А знаете,— оживился Гарька,— давайте возле шкафа мяукать по очереди!

— Мяукать? — вначале не сообразил Леонид Аркадьевич.— А, да-да... мяукать. Так что ж это, мы все ночи и будем мяукать?

— Нет, зачем все. Одну ночь. Мыши подумают, что у нас живет кот, и уйдут.

— Кот, да. Нам он действительно необходим.

— А где же его в лесу отыщешь, кота?

— Да, задача...

В этот вечер Гарька уже не бубнил, как дьячок, а мяукал на кухне, пока Леонид Аркадьевич не уложил его спать.

3

Гарьке захотелось поймать сойку, поглядеть на нее вблизи.

От кого-то он слышал, что надо взять ящик, приподнять с одного края палочкой, а к палочке привязать бечевку. Под ящик насыпать корма.

Птицы заприметят корм, подлетят, начнут клевать, а тут — дерг за бечевку! — палочка выскочит, и ящик захлопнет птиц.

Ящика не оказалось, и его решили заменить корытом.

Сперва Гарька сидел с бечевкой за углом дома.

Но сойки то ли не замечали кусков хлеба, набросанных на земле, то ли не желали есть их под корытом.

Гарька скучал, томился.

Леонид Аркадьевич тоже принимал участие в ловле: он поминутно высовывался из окна и шепотом спрашивал:

— Ну как?

— Никого нет,— с грустью вздыхал разомлевший на солнце Гарька.

Но вот начались загадочные явления: стоило Гарьке

на минуту отлучиться, как приманка под корытом исчезала.

Гарька пытался дознаться, в чем причина исчезновения приманки, но ему ничего не удавалось выяснить.

Гарьке наскучило бесплодное сидение с веревкой в руках, и в один из дней он оставил свой пост и пошел в дом что-нибудь порисовать, где бы не требовалась зеленая краска.

Вдруг железное корыто зазвенело, свалилось с палочки. Гарька бросил кисточку и вылетел из комнаты:

— Попалась! Попалась!

Леонид Аркадьевич брился.

Немедленно оставил бритву и выбежал вслед за Гарькой. С полдороги вернулся за очками и опять устремился во двор.

Гарька и Леонид Аркадьевич почти одновременно навалились на корыто.

Гарька в нетерпении хотел подсунуть под него руку.

— Тсс... погоди,— остановил Гарьку Леонид Аркадьевич и приложился ухом ко дну корыта.

Но и уха прикладывать не надо было — под корытом кто-то громко, с неудовольствием колотился.

— Наверно, целая ворона поймалась!.. — в восхищении сказал Гарька.

— Тсс... — опять прервал его Леонид Аркадьевич и растянулся животом на траве.

Гарька лег рядом. Начали осторожно приподнимать корыто, чтобы заглянуть в щель — кто там такой?

Конечно, со стороны картина была довольно-таки странной, потому что молочница, которая появилась в калитке, так и застыла с бидонами в руках: два человека, из которых один пожилой, намыленный и в очках, лежали на земле и заглядывали под обыкновенное железное корыто.

— Здесь! — тихо сказал Гарька и от напряжения громко сглотнул. — Глаза какие, видите? И нос, видите? Нюхает. Это он нас нюхает.

— Вижу,— ответил Леонид Аркадьевич, волнуясь не меньше Гарьки.

На дядьку и племянника из-под корыта, в узкий просвет, глядели чьи-то немигающие круглые глаза и шевелился, принюхивался маленький нос.

Чем выше приподнимали корыто, тем ниже пригибались глаза и нос.

— Это кот! — первый догадался Гарька.

— Да, — сказал Леонид Аркадьевич и откинул в сторону корыто. — По всей видимости, это кот.

На траве, съежившись, замер пыльный облысевший кот с необыкновенно большими ушами и тонким, вытертым хвостом. Внимательно глядел на людей. Удирать не собирался.

Кот настолько был худ и несимпатичен, что не понравился даже Гарьке.

Леонид Аркадьевич и Гарька, разочарованные, пошли домой покупать у молочницы молоко. Кот побрел за ними: очевидно, он прекрасно понимал, что такое молочница.

В кухне Леонид Аркадьевич налил коту большую банку молока.

Кот расстелил свой длинный хвост и принялся за молоко.

Вылакав его, отошел от банки и, забравшись под стол, завалился спать. Живот настолько вздулся, что не было видно даже головы.

— Экая бесцеремонность! — сказал Леонид Аркадьевич, разглядывая через очки кота.

— Пусть останется пожить, — предложил Гарька. — Мышей распугает.

— Хорошо, — ответил Леонид Аркадьевич, снимая очки и готовясь продолжать бритье. — Пусть останется.

К вечеру кот вышел из-под стола, дерзко, во весь рот зевнул, потянулся на своих высоких, худых ногах («сделал верблюда») и отправился осматривать дом.

Он обнюхивал мебель, пристально и долго смотрел в поддувало печки, наставив туда усы и брови, дважды прикоснулся носом к метелке, а когда добрался до компаты Леонида Аркадьевича, то заглянул в чемодан.

Чемодан стоял на полу, крышка была открыта.

Кот случайно толкнул ее, крышка захлопнулась и захватила голову. Кот заорал, пытаясь освободиться.

На шум прибежали Гарька и Леонид Аркадьевич и вызволили его.

Он весь растопорщился, шипел, ругался и долго брезгливо тряс лапами.

Вообще кот оказался очень крикливым и обидчивым.

За большие уши Леонид Аркадьевич и Гарька окрестили его Ушастиком.

4

Леонида Аркадьевича все больше увлекала вольная, ни от кого не зависимая жизнь в Черемушках.

Галстук, резинки для рукавов и даже косточки от воротничков лежали в чемодане нетронутыми: Леонид Аркадьевич разгуливал в рубашке с расстегнутым воротом, с подвернутыми рукавами.

Восточные книги и словари были оставлены в покое.

Леонид Аркадьевич с любопытством постигал премудрости варки лапши или капустника, приготовления салата из помидоров и огурцов, ухода за керосинкой.

Приятно было плотничать, малярничать, пилить дрова.

Общение с Гарькой пробудило в Леониде Аркадьевиче лучшее, что было когда-то у самого в детстве.

И он теперь часто подумывал о том, что каждый человек до глубокой старости должен сохранять в душе частицу детства, частицу той поэзии и счастья, которое в детстве бывает во всем: в круто посоленном куске житного хлеба, в игре в лапту или чижика, в разгуливании босиком по росистой утренней траве, в кислых, еще зеленых яблоках, в подслушивании в лесу птичьих разговоров...

Леонид Аркадьевич принес от Якова Даниловича косу и объявил Гарьке:

— Ну-с, молодой человек, идем на косовицу.

— Куда это?

— Траву косить.

— А для чего?

— Набьем матрацы.

Оба в майках вышли на участок перед домом. За ними вышел Ушастик. Трава стояла жаркая, высокая, Гарьке по колени.

Леонид Аркадьевич только видел, как косят, но сам пробовал впервые.

Раз! Широкий замах косой.

Два! Коса с силой врезается в землю.

Три! Леонид Аркадьевич с трудом выдергивает из земли косу.

Опять раз — замах!

Два — ж-ж-жик в землю!

Три — выдергивает...

Смеется Гарька, смеется Леонид Аркадьевич.

Ушастик, пока коса бездействует, осторожно ее обнюхивает.

Вдруг через забор с соседнего участка перелетает цветной резиновый мяч, и вслед за мячом между плапками забора появляется голова девочки.

Все молча смотрят друг на друга.

— Меня зовут Дия, — говорит девочка. — А это мой мяч. Дайте, пожалуйста!

Гарька поднимает мяч и подает девочке.

— Спасибо, — кивает девочка. — А вы давно здесь живете?

— Давно, — отвечает Гарька. — А ты?

— А я только приехала с бабушкой. Очень скучно... А это ваша кошка?

— Наша.

— У меня тоже есть. Мы из города привезли. Хотите, покажу?

— Покажи.

Девочка скрылась среди кустов жимолости.

— А как же, Гарька, твоя свинка? — призадумался Леонид Аркадьевич.

— А ведь уже прошло три недели.

— Но все-таки близко к забору не подходи.

Девочка вскоре вернулась. В руках у нее, перехваченный поперек живота, телепался большой кот.

— Вот видите какой! — сказала девочка, просовывая морду кота сквозь забор. — Это Мамай. А вашу кошку как зовут?

— Нашу — Ушастик, — ответил Гарька.

Мамай оказался еще хуже Ушастика: с клочковатой шерстью, какой-то рваный, с мускулистыми лапами и с жадными на драку раскосыми глазами.

Заприметив в траве Ушастика, Мамай съежился, напружинился и начал вырываться у девочки из рук.

Ушастик прижал уши, вздыбил хвост и тихонько заворчал.

— Диля! — позвали со двора.

— Я здесь, бабушка.

— Где здесь?

— Ну здесь.

Показалась бабушка.

Леонид Аркадьевич поправил очки, убрал косу за спину и раскланялся.

Когда он раскланивался, из-за спины все равно высунулась ручка косы.

— Вы, значит, наши соседи, — сказала бабушка. — Очень приятно! Хозяйством занимаетесь?

— Да так, понемногу, — ответил Леонид Аркадьевич, все еще укрывая за спиной косу.

— Бабушка, — сказала Диля и бросила на землю Мамаю, который тотчас повернулся мордой к Ушастику, — можно мне к ним?

— Вы разрешите? — обратилась бабушка к Леониду Аркадьевичу.

— Извольте, — поспешно сказал Леонид Аркадьевич. — Но, видите ли, Игорь три недели назад перенес свинку...

— Свинку? Диля уже переболела. Да и три недели — срок для карантина достаточный.

— Вы полагаете?

— Да, вполне.

Мамай и Ушастик по разные стороны забора медленно пятились один от другого, воинственно напрягая лапы. Было ясно: друзьями не станут.

Диля отыскала в заборе отверстие пошире и пролезла в него.

— Диля, — сказала бабушка, — только, как я позову обедать, иди, не задерживайся.

— Ладно, приду.

Диля была легкая, подвижная, с пушистыми светлыми волосами, которые отсвечивали на солнце, как серый дымок.

Платье на ней тоже было легкое, широкое, с крылышками вместо рукавов.

Леонид Аркадьевич все же перестал поминутно вонзаться косою в землю, и ему удалось накосить достаточно травы для двух матрацев.

Диля и Гарька разметывали траву тонким слоем для

просушки, выбирали из нее цветы и складывали в букет.

Ушастик, подняв хвост как перо, прохаживался вдоль забора, готовый ко всяким неожиданностям, но Мамай не показывался.

5

Был воскресный день.

Леонид Аркадьевич и Гарька заканчивали зарядку: бегали вокруг дома друг другу навстречу, когда увидели Женю.

Она стояла перед калиткой и с каким-то особым вниманием смотрела на забор. В руках у Жени был большой арбуз.

Гарька помчался встречать мать.

— На, держи,— сказала Женя, передавая Гарьке арбуз и все еще не отрывая взгляда от забора.— Доне-сешь?

— Донесу! — ответил Гарька, стараясь не показывать виду, что арбуз тяжелый.— Мама, где ты его купила?

— На станции... А что это произошло с забором?

— С забором? Ничего. Мы его просто красили и не докрасили. В лавке краска кончилась.

— А почему он оранжевый?

— Другой краски не было.

— Так. А на волосах у тебя что?

— Краска. Еще не отмылась...

Возле калитки сидел Ушастик, щурился на солнце и грыз травинку. На лбу и на кончиках усов у него тоже была оранжевая краска.

— А это чей такой? Ваш, конечно, если оранжевый.

— Да, наш. Под корытом поймали.

Подошел Леонид Аркадьевич.

— Боже мой! — воскликнула Женя.

— Что случилось? — взволновался Леонид Аркадьевич.

— И ты тоже...

— Что тоже?

— Оранжевый. С ума сойти!

Женю удалось успокоить и смягчить лишь после того, как Леонид Аркадьевич и Гарька поведали ей, что Матре-

на Ивановна заболела, и что живут они одни — сами готовят еду и в доме убирают, и что, кроме всего, они отремонтировали крыльцо, выровняли и расчистили на участке дорожки и накосили для матрацев сена.

Тогда Женя их похвалила и прошла в дом — навести ревизию в кухне.

— Тарелки жирные: плохо моете. Ножи потемнели — чистить надо. А это что? — спросила Женя, открывая кастрюлю.

— Простокваша, — вздохнул Гарька.

Женя попала в тот горемычный день, когда Леонид Аркадьевич приготовил простоквашу.

Женя поглядела в другую кастрюлю:

— А это?

— Тоже простокваша.

— А это? — И она подняла крышку чайника.

— И это тоже. Остатки.

Но, несмотря на избыток простокваши, жирные тарелки и потемневшие ножи, Женя ревизией осталась довольна: Леонид Аркадьевич и Гарька были здоровыми, веселыми и хотя и оранжевыми, но во всем совершенно самостоятельными людьми.

Арбуз Леонид Аркадьевич предложил остудить в колоде. Объяснил, что подобным образом поступали древние персы, которые кидали арбузы и вообще различные фрукты в колодцы, чтобы охлаждались.

Гарька тут же поддержал дядьку:

— В колодец! В колодец! Древние персы!

— Воля ваша, — сказала Женя. — Я приехала в гости, так что ухаживайте за мной — кормите простоквашей, вымажьте оранжевой краской, бросайте арбуз в колодец, что хотите делайте!

Когда Леонид Аркадьевич нес арбуз к колодцу, Гарька поинтересовался:

— А он не разобьется?

— Собственно, не должен, — ответил Леонид Аркадьевич.

— А чем мы его обратно достанем?

— Чем? Ведром, пожалуй, и достанем.

Арбуз кинули точно по центру колодца, чтобы не зацепился за стенку и не треснул.

Долетев до воды, арбуз громко ухнул. Когда брызги

осели и вода успокоилась, Леонид Аркадьевич и Гарька с облегчением разглядели сквозь колодезный сумрак, что арбуз жив-здоров и спокойно плавает — охлаждается.

Леонид Аркадьевич сказал:

— Гипотеза о древних персах подтвердилась!

Женя хотела затеять стирку, но Леонид Аркадьевич и Гарька убедили ее, что и с этой премудростью управятся собственными силами и что пусть Женя спокойно отдыхает, как настоящая гостья.

Но отдыхать Женя не согласилась и занялась удобрением клубничных гряд торфом. Леониду Аркадьевичу и Гарьке поневоле пришлось помогать. Потом Женю понесло на крышу дома — белить трубу. Леонид Аркадьевич и Гарька попытались воспрепятствовать.

— Что вы мне мешаете! Вам нравится красить забор?

— Ну нравится.

— А мне нравится белить трубу.

Вслед за Женей на крышу вскарабкался Ушастик. Женя брызнула на него известкой, чтобы не путался под руками. Оскорбленный Ушастик тут же демонстративно удалился с крыши.

Когда труба была побелена и даже окантована синим, Леонид Аркадьевич и Гарька пригласили Женю на карьер купаться. Женя с радостью согласилась.

На карьере собралось много народу, потому что был воскресный день. Присутствовали и мальчишки-рыболовы, знакомые Леонида Аркадьевича и Гарьки. Сегодня они были без удочек и шумели громче всех.

Женя плавала и одна и с Гарькой, который держался за ее плечо.

Леонид Аркадьевич не плавал, а лежал на берегу и загорал, спрятав голову от солнца в небольшую пещерку, которую ему отрыл в песчаном бугре Гарька.

Вскоре всеобщее внимание привлек толстый человек в желтой чесучовой панаме. Он накачивал насосом на берегу резиновую лодку. Лодка постепенно вспухала, делалась похожей на тюфяк.

Когда достаточно вспухла, человек в панаме столкнул ее в карьер, осторожно сел на корме, где была устроена скамеечка, вытащил блестящее алюминиевое весло и, к всеобщей зависти, поплыл на глубину.

Но не успел проплыть и пяти метров, как нос у лодки неожиданно вымахнул из воды, и лодка с громким плюхом перекувырнулась, накрыв хозяина.

Он вынырнул уже без панамы, фыркая и отплеываясь, сжимая в руке весло. На помощь поплыли услужливые мальчишки.

Лодку перевернули, но влезть в нее из воды, сколько ни пытались сам владелец и мальчишки, было невозможно: не за что ухватиться.

Лодку отбуксировали к берегу, и только там хозяин с сердитым и решительным видом вторично утвердился на корме. Но опять ненадолго. Едва оттолкнулся от берега и взмахнул веслом, как лодка вновь стала на дыбы и мгновенно оказалась плавающей вверх дном. Зрители торжествовали.

Женя, Гарька и Леонид Аркадьевич не досмотрели до конца единоборство человека с резиновой лодкой: пора было идти обедать.

Дома Женя взялась накрывать на стол, а Гарька и Леонид Аркадьевич подхватили ведро и отправились за арбузом. Опустив ведро в колодец, начали вылавливать его.

Между досками забора показалась голова Диля.

— Что это вы делаете? — спросила Дия.— Уронили ведро и ловите?

— Нет, — ответил Гарька.— Ловим мы арбуз.

— Арбуз? В колодце?

— Да. Мы его сами бросили.

Дия сомнительно подняла брови — не смеются ли над ней? — и осталась ждать у забора, когда выловят арбуз, который сами бросили в колодец.

После долгих усилий Леонид Аркадьевич, красный, оттого что, перегнувшись, глядел в колодец, выпрямился, успокоительно вздохнул и начал накручивать веревку на барабан.

Из колодца поднялось ведро с арбузом. Дия покачала головой, сказала:

— И правда арбуз.

Леонид Аркадьевич и Гарька так и понесли его домой в ведре. Пусть-ка теперь попробует Женя подтрунивать над ними!

Арбуз был таким холодным, что даже скрипел под пальцами, когда его потрогаешь.

Женя уехала в город поздно вечером. Гарька и Леонид Аркадьевич проводили ее на станцию.

На прощание Женя дала последние наставления: сливочное масло, чтобы не распускалось от жары, держать в холодной воде; не кипятить молоко в кастрюле, в которой варят суп; картофель класть в холодную воду, а лапшу в горячую; не забывать поливать клубнику и удабривать торфом; докрасить забор и больше не соблазняться оранжевой краской и в особенности не соблазняться красной, если именно ее привезут в нефтелавку.

6

Ушастик в своем поведении совершенно развинулся. Обрывал на окнах занавески, качался на шелковом висячем абажуре, свалил в шкаф и разбил чашку, закатался в липучку для мух, и его потом еле раскатали обратно, лазил по столам, так что в дождливую погоду пятнал не только полы, но и бумажные скатерти. Приходилось его ловить и вытирать тряпкой лапы.

Но Ушастика, уже с чистыми лапами, снова тянуло во двор — то поохотиться за жуками, то навестить отдушину под домом, то поугаать боевым кличем Мамаю.

Потом Ушастик начал драть когтями материю дивана. Леонид Аркадьевич даже наказывал его за это — трепал за уши, но ничего не помогало.

Пугался Ушастик только Гарькиного волчка с сиреной; и даже когда волчок не крутился и не завывал, а просто валялся на полу, Ушастик огибал его стороной.

Иногда Ушастик часами бродил по чердаку, скребя там; урчал, чихал и потом, весь в саже и паутине, появлялся в доме. Садился, слюнявил лапы и тер свой и без того лысый затылок: освежался.

В одну из ночей Ушастик и Мамай долго грозно мяукали, перекликались — испытывали характеры.

А наутро Гарька нигде не мог найти Ушастика. Осмотрел его любимые места — отдушину, чердак, запечье, чемодан Леонида Аркадьевича.

Нет как нет!

Пропал кот.

Леонид Аркадьевич утешал племянника, хотя сам радовался, что в доме наступили тишина и покой.

Вскоре выяснилось, что Ушастик поблизости от дома сидит на вершине сосны. Едва удалось разглядеть среди ветвей.

Гарька стал звать Ушастика, чтобы спустился вниз. Кот не двигался.

Только открывал рот, но голоса слышно не было: Ушастик охрип.

Гарька помчался к Леониду Аркадьевичу, который подвязывал куст смородины, спросить, что делать, как снять с дерева Ушастика. А то ведь может оборваться и убиться.

Леонид Аркадьевич взял тонкое одеяло, и они с Гарькой растянули его под сосной, как растягивают в цирке сетку «для страховки».

Потом Леонид Аркадьевич ласково окликнул:

— Ушастик! А Ушастик!

— Ну, Ушастик! — не выдержал и Гарька. — Слезай с дерева. Не бойся, если сорвешься, мы тебя поймаем.

Ушастик еще попробовал помяукать, пожаловаться, но, убедившись, что окончательно охрип, начал осторожно сползать с дерева.

Посыпались кусочки коры из-под его когтей.

Ушастiku было очень страшно, он часто останавливался и опасливо смотрел вниз.

Когда Ушастик наконец спустился, он весь дрожал — безголосый, несчастный, голодный.

Его унесли на кухню и положили на мягкую подстилку. Сам идти не мог — болели лапы.

Вскоре Ушастик уснул. А вечером, когда проснулся и попытался подняться, силы ему совершенно изменили, и он в изнеможении повалился на подстилку.

От еды Ушастик наотрез отказался, а только пил воду.

— Он заболел, простудился, — сказал Гарька и загрустил.

Пусть Ушастик и неприглядный кот — худой, лапы у него тонкие, хвост тонкий, и характер не из мягких, уступчивых, — но все-таки Гарька уже привык к нему, сдружился. Да и мыши еще не ушли из дома.

— Надо Ушастiku померить температуру, — предложил Гарька.

Принес из чемодана термометр и подсунул коту под переднюю лапу.

Через десять минут термометр вынули, и то, что он показывал, ошеломило и дядьку и племянника: тридцать восемь градусов и пять десятых.

Ушастик лежал ко всему безучастный, изредка впадая в забытие, и тогда у него дергались усы и лапы.

Пришла Диля навесить Ушастика. Села возле него, ласкала и приговаривала:

— Кошкин-мошкин, сам весь шерстяной, уши кожные, а нос клеенчатый. И зачем ты заболел? И как тебя теперь лечить?

На следующий день Ушастик у лучше не стало. Температура продолжала оставаться угрожающей — тридцать восемь градусов и пять десятых.

Гарька пожаловался молочнице на болезнь Ушастика.

— А вы б его в поликлинику снесли, — посоветовала молочница.

— В какую поликлинику?

— В ветеринарную. Там старичок доктор Терентий Артемович, очень хороший человек и знающий.

— А где эта поликлиника?

— А тут недалеко, в деревне Темрюковке.

Когда молочница ушла, Гарька пристал к Леониду Аркадьевичу, чтобы пойти с Ушастиком к доктору.

Леониду Аркадьевичу и самому было жаль Ушастика, но идти с котом в поликлинику, хоть и в ветеринарную, неловко вроде.

Да и как его нести?

Решено было укутать в старое полотенце. Вызвалась сопровождать и Диля.

Ушастик всю дорогу молчал, иногда громко вздыхал.

Диля несла банку с водой, из которой Ушастик давали пить.

Ветеринарная поликлиника была из двух домиков: в одном принимали крупных животных, в другом — мелких.

Во дворе стояла даже карета «скорой помощи». У нее был не красный, а синий крест.

Леонид Аркадьевич и ребята вошли в дом для мелких животных.

— Обратитесь в регистратуру,— сказали Леониду Аркадьевичу, когда он просто хотел занять в приемной очередь к врачу.

Леонид Аркадьевич, покашливая, смущаясь, подошел к окошку регистратуры.

— У вас кто? — не поднимая головы, спросила регистраторша.

— У нас, так сказать, кот,— с запинкой ответил Леонид Аркадьевич.

Регистраторша взяла амбулаторную карту и приготовилась заполнять:

— Имя?

— Леонид Аркадьевич.

— Не ваше имя, а кота?

— Гм... Ушастик.

— Фамилия?

— Чья?

— Владельца, конечно.

Леонид Аркадьевич опять откашлялся и ответил:

— Лавров фамилия.

— Так...— Регистраторша по-прежнему не поднимала голову.— Ваш домашний адрес?

Леонид Аркадьевич сказал.

— Пока все. Занимайте очередь к врачу. Вам к терапевту или к хирургу?

— Очевидно, к терапевту.

— Кабинет номер семь.

Леонид Аркадьевич, Гарька и Диля нашли кабинет номер семь и сели перед ним на лавку.

Ушастик беззвучно лежал в полотенце на коленях у Леонида Аркадьевича.

— А медведей здесь лечат? — толкнув Гарьку, тихо спросила Диля.

— Не знаю,— ответил Гарька.

По соседству с Леонидом Аркадьевичем сидел мальчик в картузе с новеньким козырьком, а при мальчике—дворовый пес с перевязанными шерстяным платком ушами.

Пес изредка поднимал голову и смотрел на мальчика влажными черными глазами.

Напротив сидела женщина, придерживая за ручку огромную соломенную корзину, которая стояла рядом на стуле.

В корзине кто-то шебуршился и грыз солому.

Леониду Аркадьевичу понадобилось протереть очки. Он положил Ушастика на лавку и полез в карман за носовым платком.

Уголок полотенца отогнулся, и из свертка вывалился хвост Ушастика.

Дворняга как увидел кошачий хвост, немедля вскинул свою перевязанную голову, засверкал глазами и судорожно, с визгом залаял, точно закудахтал, порываясь цапнуть Ушастика за хвост.

Диля испуганно вскрикнула и убрала под лавку ноги.

Леонид Аркадьевич поспешил схватить полотенце с котом.

У соломенной корзины откинулась крышка. Из корзины быстро выпрямилась шея гусака.

Гусак прицелился и ткнул в пуговицу пиджака Леонида Аркадьевича.

Леонид Аркадьевич и дворняга остолбенели от неожиданности, а гусак проворно открутил клювом пуговицу и попытался проглотить.

Тут дверь кабинета распахнулась, и на пороге появился доктор в белом халате.

Гусак выплюнул пуговицу и юркнул к себе в корзину.

— Что, Демка,— сказал доктор мальчику в картузе,— снова Цезарь захворал?

— Да, Терентий Артемович,— ответил мальчик.

— Очередь-то сейчас твоя?

— Моя.

— Ну иди показывай Цезаря. Опять небось нож от мясорубки проглотил?

— Нет, Терентий Артемович, уши у него...— И Демка за ремешок потащил в кабинет к доктору Цезаря, который все удивленно оглядывался на корзину с гусакom.

После Демки с Цезарем наступила очередь гусака.

Из кабинета доктора слышались шипенье, удары крыльев, уговоры хозяйки:

— Михай, да смирись ты! Открой рот, покажи доктору горло. Нервный он у меня. Вы уж извините его, Терентий Артемович. Может, вы разом капли ему или порошки от нервов пропишете?

— И порошки пропишу и капли,— ответил доктор.— Каков боярин, а!

— Я тоже боюсь, когда мне горло смотрят,— сказала Диля.

— А я не боюсь, когда горло,— сказал Гарька.— А вот когда зубы — боюсь.

Но вот доктор вызвал:

— Лавров!

Леонид Аркадьевич, Гарька и Диля прошли в кабинет.

— Здравствуйте!

— Здравствуйте. Ну, а где больной?

Леонид Аркадьевич раскрыл полотенце.

— Кладите кота на стол, поближе к свету,— показал доктор на чистый белый стол.

Леонид Аркадьевич положил.

— Чей же это кот? — спросил доктор.— Твой, наверно? — и кивнул на Дилю.

— Кот мой,— вмешался Гарька.— А заболел он через Мамай.

— Мамай? Кто ж такой Мамай?

— А это ее кот. Он загнал Ушастика на сосну, и там Ушастик простудился. У него температура очень повышенная — тридцать восемь градусов и пять десятых.

— А ты откуда знаешь?

— Я своим градусником мерил.

Доктор улыбнулся:

— Тридцать восемь и пять — самая нормальная кошачья температура, все равно что у человека тридцать шесть и шесть.

— Что ж, по-вашему, он симулянт? — обиделся Гарька.

— Нет, не симулянт...

Терентий Артемович взял трубку и начал слушать Ушастика. Потом приподнял веки и заглянул в глаза.

— Доктор,— взволнованно спросила Диля,— он поправится?

— Поправится. Как выспится, так и поправится. Значит, Мамай твой драчун?

Доктор отошел к шкафчику, где стояли пузырьки с лекарствами.

— Да, он драчун. Его даже бабушка пугается, когда он рычит.

— А ты не пугаешься?

— Я — нет, я не пугаюсь. Он только на меня рычать, а я ему щеткой в нос!

— В нос, значит, щеткой? Отважный характер! Недаром у самой-то нос в крапинках, вроде его воробьи поклевали. — Терентий Артемович наклонился к Ушастiku с пузырьком и чайной ложкой. — Смотрите, вот вам лекарство для Ушастика. Будете давать чайную ложку в день.

— А как он из ложки... — растерянно сказал Гарька.

— А вот как. — Доктор наполнил лекарством ложку и влил Ушастiku в угол рта, где не было зубов. — Понятно?

— Понятно.

— Дома положите его на теплую грелку, и через два три дня он будет совершенно здоров.

На прощание Дilia не утерпела и спросила у Терентия Артемовича:

— А гусь показал вам горло?

— Какой гусь?

— Ну тот, нервный.

— А-а, Михей-то?.. Показал, как же.

— А медведей вы лечите?

— Лечим. Даже в больницу можем положить.

Дilia покачала головой, но ничего не сказала.

Во дворе просигналила машина: это вернулась с вызова «скорая помощь».

В окно видно было, как из машины вытащили носилки. На них лежал совсем еще молоденький жеребенок, покрытый марлей.

— Несите в перевязочную, — приказал санитарам дежурный доктор.

Санитары понесли.

В регистратуре заплатили за пузырек с микстурой и отправились в обратный путь, в Черемушки.

Леонид Аркадьевич опять нес Ушастика.

Гарька — пузырек с микстурой.

Дilia — банку с водой.

Отпуск Леонида Аркадьевича близился к концу.

Хотя ни одна из восточных книг так и не была переведена, но зато между дядькой и племянником установилось полное взаимопонимание и настоящая дружба.

Подружились они с Дилей, и с Яковом Даниловичем, и с молочницей.

Только Ушастик, который успел выздороветь, и Мамай продолжали враждовать. Караулили друг друга, нападали из-за угла, а то сходились в открытую на дороге, лоб в лоб, и затевали «рукопашную».

Мелькают хвосты, лапы... шум, крик, пыль, пока Дилия не прибежит со щеткой или Гарька с палкой, и не разгонят их.

Как-то Леонид Аркадьевич и Гарька пошли на карьер.

Там они застали все тех же упрямых мальчишек с ореховыми удочками, а самое главное — увидели человека в резиновой лодке.

Он плавал по карьере: на носу лодки для противовеса лежал камень.

Что ни день, то в совместной жизни Леонида Аркадьевича и Гарьки совершались всё новые и новые победы, которые им были особенно дороги, потому что приходили к ним через их собственный опыт: полы научились протирать шваброй, а в воду клали траву, и потом долго во всем доме было прохладно и пахло лугом.

Петли дверей смазывали маслом, чтобы не скрипели. Насушили в духовке белых грибов на зиму. Выкопали вокруг дома дождевые канавки. Залили в крыше трещину варом. Докрасили забор.

И даже простокваши Леонид Аркадьевич готовил теперь только одну кастрюлю!..

Гарька окреп, подрос, почернел на солнце.

Леонид Аркадьевич тоже изменился — перестал жаловаться на поясницу, на одышку, как-то весь подтянулся, помолодел.

Многое в жизни для дядьки и для племянника сделалось понятным, доступным и увлекательным: бродяжничать по лесу, есть картошку, печенную в углях, натыкая ее на палочки, чтобы не пожечь пальцы. Вozить на тачке

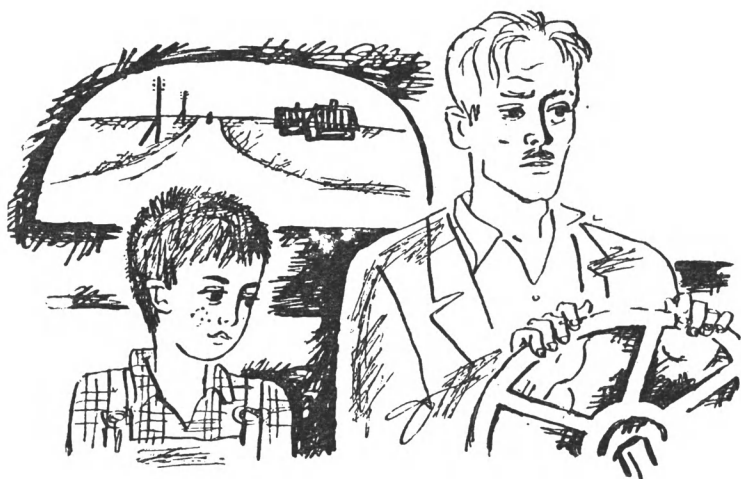
из леса торф для удобрения клубники. Натрудив лопатой руки, погружать их для отдыха в холодную воду. Ходить на базар в деревню Темрюковку. Лежать у открытого окна и слушать, как первый осенний дождь, еще теплый и не обложной, стекает с листьев деревьев в траву, как стучит он по дорожкам и по сухим стеблям цветов.

Скоро надо собираться и уезжать в город.

Леонид Аркадьевич пойдет на работу в университет, Гарька — в школу.

А в сосновом домике с узорными наличниками и расписными коньками замкнут двери, закроют ставни, и останется он пустовать на всю зиму, до следующего лета.





ДВОЕ В ДОРОГЕ

МЫ УПРЯМЫЕ

Я понял, что сюда нельзя было ехать на машине. Кир тоже понял. Я видел это по его напряженному лицу.

Не в первый раз он отправлялся со мной и уже хорошо знал, что такое автомобиль и дорога.

Песок.

Он начался, как только свернули с большака в лес. Вначале несильный, терпимый. Я думал, что вот-вот кончится. Но это «вот-вот» тянулось второй час.

Никаких дорожных знаков. Кое-где на деревьях сделаны зарубки и краской помечены километры.

Я ехал обследовать район падения метеорита. Надо было нанести на карту, оконтурить.

Кир поглядывал на приборы — температура воды, давление масла, амперметр.

По обе стороны дороги стоял лес. Где-то должны быть болота. За время пути нам никто не повстречался — ни пеший, ни конный, ни на автомобиле.

Тишина. Безлюдье. Только шелест песка под колесами. Ехать сюда на машине нельзя было. Мы серьезно рисковали.

— Девяносто пять, — сказал Кир.

Я тоже видел, что температура воды уже девяносто пять. Надо делать передышку.

Подыскал поляну и вырулил на нее. Заглушил мотор.

На поляне росли высокие белые цветы. Они согнулись под машиной тугой волной.

— Умоемся? — спросил Кир.

— Умоемся.

Он достал с заднего сиденья большую резиновую грелку, полотенце и мыло. В грелке мы возили воду. Это удобнее, чем в металлическом баке: вода не плескалась и можно было держать где угодно, хоть на сиденье.

Кир открутил грелку и начал сливать мне. Я умылся. Сразу стало легче. Потом слил ему.

Кир убрал мыло и полотенце. Грелку положил на переднее крыло: она ему еще пригодится. Над мотором дрожал горячий воздух, как над плитой.

Я разложил на земле карту. Хотел проверить, сколько осталось до Лисьего носа, где упал метеорит.

Кир вытащил из-под сиденья мои кожаные перчатки, надел их. Они были ему очень велики. Его тонкие руки с перчатками напоминали веточки, на концах которых висели кленовые листья.

Кир взобрался на буфер и начал прокачивать в моторе масляный фильтр. Проверил натяжение ремня вентилятора, смахнул пыль с бензонасоса. Поглядел, не подтекает ли.

Осторожно, чтобы не ожечь лицо паром, открутил пробку радиатора. Долил из грелки воды.

Я наблюдал за ним. Мне нравилось, что он так много уже знал и умел.

Кир спрыгнул с буфера, снял перчатки, убрал грелку и подошел ко мне:

— Мы не сбились с пути, папа?

— Нет. Все в порядке. Видишь, последняя развилка

и хутор Ерик. Теперь должна быть часовня и хутор Медвежки. Потом Шарапова охота, и тогда Лисий нос.

Я подобрал сосновую иглу, измерил ею расстояние по масштабу до Лисьего носа.

— Двести двадцать километров.

— Часов на восемь при такой дороге, да, папа?

— Да. Часов на восемь. Может, и больше.

— А почему на карте обозначены болота, а кругом песок?

— Да. Странно. Я тоже думал.

— Интересно, какой упал метеорит — большой или нет.

— Это мы и должны выяснить.

— А вдруг такой, как «Палласово железо» или «Богуславка»?

— Бряд ли. Большие кристаллы-моноклиты — редкость.

— Ну и что же. Ты сам говорил — никто не думал, что Сихотэ-Алинский окажется таким огромным.

— Да. Никто не думал. Ну, поехали.

Я завел мотор и вырулил на дорогу.

Волна белых цветов выпрямилась, будто никакой машины никогда не стояло на этой поляне.

— Страшно, если в песке попадется камень, да, папа?

— Да. Страшно.

Я не хотел об этом говорить, но Кир сам догадался. Камень может повредить снизу мотор. Масло вытечет — и тогда машина мертвая. Буксируй тросом.

Я следил за дорогой. Кир тоже следил. Зарубки на деревьях пропали. Песок густел. Колея становилась глубже. Скорость я не сбавлял. Останавливаться или сбавлять скорость нельзя: затянет в песок и не тронешься с места.

Машина шла хотя и не быстро, но с предельным напряжением. Ее трясло.

— Восемьдесят, — сказал Кир.

Лес сжимал дорогу. Иногда деревья справа и слева сплетали между собой вершины. Шелестел песок.

Часовня оказалась у самой дороги. Построена была из бревен. Они полопались от старости.

— И чего метеориты падают в таких неудобных ме-

стах! — Кир вздохнул. — Люди раньше их боялись — думали, что плохо, да?

— Думали, что плохо.

— А правда, папа, что на Бородинское поле перед боем упал метеорит?

— Правда.

— А мы все равно Наполеона разбили. Не сразу, но потом.

— Конечно.

— Уже девяносто пять.

Я начал приглядывать, куда выпрыгнуть из колеи, чтобы потом можно было тронуться с места.

Выпрыгнул. Встал. Под машиной опять примялись белые цветы.

— Умоемся?

— Да.

Я расстелил на земле карту. Подобрал сосновую иголку. Промерил расстояние, которое прошли до часовни, — тридцать четыре километра. Не много.

Кира я спросил:

— Ты есть хочешь?

— Нет еще.

— Тогда поедим в Медвежках.

— Хорошо, папа.

Подняли капот. Мотор остывал.

Кир первый услышал шум грузовика. Потом услышал и я.

Мы выбежали на дорогу. Навстречу ехал тяжелый самосвал.

Я махнул рукой.

Самосвал остановился прямо в колее. Песок ему не страшен.

— Привет, — сказал шофер.

— Привет, — сказали мы с Киром.

— Туристы?

— Нет. Не туристы.

— А то наша дорога не для туризма.

— Догадаться не трудно, — сказал я.

— Почему здесь песок? — спросил Кир.

— Привозной. Дорогу укрепили. Осенью ползла, болота.

— Пожалуй, песка пересыпали, — сказал я.

— Есть такое. Но, кроме нас, самосвалов, никто по ездит. А нам ничего.

— Вам ничего, а нам плохо.

— Куда путь держите?

— В Лисий нос.

— Я только вчера оттуда. В Никола-рожок еду.

— Как дальше — пробьемся?

— Трудно вам будет. А на что в Лисий нос?

— Метеорит упал. Исследовать надо.

— Упал, верно. Яму вырыл. Какие-то шарики дети находят.

— Метеорная пыль,— сказал Кир. Он видел у меня в лаборатории такие шарики окисленного железа. Пыль сдувает с метеорита во время падения.

— Не так вы к Лисьему носу едете. Надо было с другой стороны. С хутора Жерновец. Паровичок ходит. Узкоколейка. Погрузили бы вас на платформу и до самого Лисьего носа, вокруг болот.

— Не знали мы про узкоколейку. Нет ее на карте.

— Недавно построили. Ну ладно. Ночью я буду с обратным рейсом. Если где застрянете, вытащу. Привет! — Он дал газ.

— Привет! — сказали мы. — Спасибо!

Самосвал уехал.

Мы сели в машину. Я завел мотор и вырулил на дорогу.

Белые цветы выпрямились — никакой машины здесь не стояло.

Мы пробиваемся к Лисьему носу.

Песок.

Он под капотом, в прокладках стекол, в дверных петлях. Истертые песком баллоны почернели.

Появились болота. Налетели комары. Пришлось закрыть все стекла. Душно. Песок хрустит на зубах, в складках карты, под педалями управления.

Проехали хутор Медвежки. Свернуть к нему не удалось — колея такая глубокая, что теперь не выскочишь. Ее прорыл самосвал, который мы встретили.

Поесть и передохнуть тоже не удалось. И набрать в грелку воды.

Мотор накален. Работает на пределе. Температура воды давно уже девяносто пять.

Я спрашиваю Кира:

— Ты есть не хочешь?

— Нет.

— А пить?

— Нет.

— Устал?

— Нет.

В дороге восьмой час.

Духота. Стекла закрыты. По-прежнему комары и песок.

Один раз ударил камень. Несильно. Но мы с Киром все равно глянули в заднее стекло: нет ли на песке пятен масла? Не поврежден ли мотор снизу?

Пятен не было. Появился запах горячего чайника, запах пара и накипи. Это от радиатора.

Песок слепил глаза. Солнце накалило руль, приборную доску, крышу машины. Хотелось пить. Или хотя бы пополоскать рот, умыться.

Я подумал — Кир еще мальчик, совсем маленький мальчик. Чтобы прокачать фильтр или проверить натяжение ремня вентилятора, он влазит на буфер машины. И ему сейчас трудно. Гораздо труднее, чем мне. Но он молчит. Он смотрит на дорогу и на приборы.

Можно, конечно, остановиться прямо в колее. Возле Шараповой охоты. Выпить воды, умыться, поесть, отдохнуть. И ждать самосвала, когда он пройдет ночью. Потому что сами с места не тронемся.

Но мы с Киром не хотим этого делать. Мы с ним хотим пробиться своими силами. Мы упрямые.

ГУБКА, ЗАМША И ВЕДРО

Губка, замша и ведро воды — Кир моет машину.

Начинает с крыши. Чтобы дотянуться губкой до середины, снимает ботинки, открывает дверцы и влазит с краю на сиденья. На каждое по очереди.

Когда крыша готова и в ней отражается небо, Кир идет за свежей водой.

Принимается за стекла. Моет осторожно. Долго споласкивает губку от грязи. Если поцарапаешь переднее стекло, свет встречных машин будет ночью дробиться на царапинах и утомлять глаза.

Когда покончено и со стеклами и в каждом из них тоже отражается небо, Кир принимается за дверцы, крылья и багажник.

Грязь сползает с машины все ниже к колесам. А неба все прибавляется.

Оно уже не только на крыше и на стеклах — оно на крыльях, на дверцах, на багажнике и даже на квадрате номерного знака.

Ходят по машине облака. Всегда приятно ехать и везти с собой небо!

Капли воды Кир собирает замшей: не соберешь — высохнут и машина будет пятнистой.

Кир неутомим. Его любимый наряд — клетчатая рубашка и комбинезон.

Очень занято мыть колпаки на колесах. Отойдешь, поглядишь в чистый колпак и увидишь себя, как в кривом зеркале, — на коротких ногах и с большой головой.

Кира это веселит. Он обязательно посмотрится во все чистые колпаки.

Однажды Кир мыл машину. Начал, как обычно, с крыши. Когда добрался до облицовки радиатора, увидел птицу. Ее убило на ходу, и она застряла между буфером и стойкой для заводной ручки.

Кир вытащил птицу, показал мне.

С тех пор мы с Киром всегда сигналим птицам, когда они сидят на дороге.

ЧЕТЫРЕ САМОВАРА

Я ехал без Кира, и мне было грустно одному. Кир остался в городе, заканчивал занятия в школе. А мне надо было ехать в Спасскую полость, устанавливать магнитограф — прибор для записи колебаний в магнитном поле земли.

Смеркалось. Решил заночевать в ближайшей деревне. Такой деревней оказалась Раменка. Ехал медленно через Раменку, приглядывал место, где бы поудобнее пристроить

машину. Прежде советовался с Киром, а теперь вынужден был делать это один.

Спал я всегда в машине. Откидывал спинку переднего сиденья, и получалась кровать. Удобная, широкая. Кир очень любил спать в машине на такой кровати. Перед тем как уснуть, долго сидел в трусах, крутил, слушал радиоприемник или, опустив боковое стекло, разглядывал, что было вокруг. Ведь каждый раз мы спали на новом месте.

Помню, однажды мы с ним проснулись от продолжительного сигнала. Ночевали одни в лесу далеко от дороги. Сигнализировала только наша машина. Долго ломали голову, что же произошло? Наконец догадались: Кир нажал пятками на сигнал. Случайно, во сне.

Я остановился в Раменке, посреди площади. Меня окружили ребята. Они давно гнались за мной. Когда человек что-то ищет, это всегда заметно остальным. Тем более — ребятам.

— Буду у вас ночевать. Здесь, в машине, — сказал я.

— Здесь плохо, — ответил парень с большим кувшином в руках. Он так и бежал с этим кувшином. Я видел его в зеркальце, когда ехал. — Шумно здесь, безтокойно. Надо в Горчаковскую рощу.

— Выдумал — в Горчаковскую рощу. Там грязь, — возразили ему.

— Где Долгий мост надо.

— А там лягушки орут.

— У сельмага.

— Больно интересно у сельмага. Только что лампочка на столбе горит.

— На покос податься надо, вот куда!

— На покос не следует, — сказал я. — Машина помянет траву — косить трудно будет.

— А трава уже в одонках стоит.

— В одонках? — не понял я.

— Ну, в скирдах.

— Ну, если в скирдах.

— И мельцо там.

Что такое мельцо, я тоже не понял.

— Озеро. Мелкое. Искупаться можно.

— Купайтесь, где ольха, — сказал парень с кувшином. — Берег чистый.

— И камней нет. Ноги не нарежете, — добавил кто-то.

— Ехать вам по этому проулку.— Парень поставил на землю кувшин, чтобы удобнее показать, где проулок.— А потом налево и вниз, вокруг холма. Тут и покос.

— А про жерди забыл? — напомнили ему.— Они за-место ворот. Растащить потребуется.

— Да. Жерди растащить потребуется.

— А где достать кипятку? — спросил я напоследок.

— Кипяток будет,— сказал парень, поднимая с земли кувшин.— Это я устрою.

— Мы тоже устроим! — закричали остальные ребята.— Почему ты?

Я тронул машину. Направился по проулку налево вниз. Обогнул холм и уперся в забор из березовых жердей. Растащил жерди и легко проехал на покос.

Вскоре увидел мельцо. Тихое луговое озеро. На берегу стояли одонки сена. Укреплены были жердями. Также березовыми. Я остановился. Хорошее место определили мне ребята. Кир бы лучшего не выбрал. Вода, тишина и деревня рядом: можно попросить что нужно. Утром молока, например.

После дороги очень хотелось окунуться, согнать усталость. Я разделся. Нашел ольху, где ребята велели входить в воду.

Вода была теплой. Все мельцо пропахло сеном, покосом. Лежали на воде, срезанные косой, ромашки. Их принесло ветром с одонков. Покачивались маленькие зеленые шишки. Они нападали с ольхи.

Я долго и не спеша плавал между ромашками и зелеными шишками. Отдыхал. Сгонял усталость.

Потом выбрался на берег. Надел чистую рубашку и чистые полотняные брюки. Достал из багажника тряпки, которыми вытираю от пыли машину. Тряпки были грязными — следовало постирать. Да и резиновые коврики не мешало пополоскать.

Прибежали ребята. Те же и с ними еще. Парень с кувшином был уже без кувшина.

Каждый кричал, чтобы я шел к ним домой, где уже закипает самовар.

Я поблагодарил ребят и сказал, чтобы принесли кипятку сюда. Совсем немного. Вот в эту кружку. А пойти я не могу. Надо до темноты побриться и сделать кое-что по машине.

Ребята ушли. Кружку не взяли. Сказали, что обойдутся.

Я постирал тряпки, помыл коврики. От влажных ковриков в машине стало свежо. Щеткой вычистил сиденья, прежде чем стелить на них простыню. Выгнал мух и жуков, которые попали в машину и приехали со мной в Раменку. Достал механическую бритву, завел пружину и побрился.

К одонкам прилетели птицы. Тоже начали укладывать-ся спать.

Только я взял грелку, чтобы сходить на берег мельца пополнить запас воды на завтра на дорогу, как вдруг увидел — двое ребят тащат самовар. Осторожно, за ручки.

Я испугался — выдумали чего!.. Но тут увидел еще один самовар. Потом еще — с правой стороны покоса. Потом еще один — он двигался вдоль берега мельца.

Четыре самовара!

И каждый самовар спешил раньше другого добраться до меня.

„УЧЕБНАЯ“

— Отпусти ручной тормоз.

Кир отпускает ручной тормоз.

— Выжми педаль сцепления и включи первую скорость.

Кир выжимает педаль сцепления и включает первую скорость.

— Теперь прибавляй газу. Еще, еще...

Кир взволнован, покраснелся. Прикусывает губы, затаивает дыхание. Чтобы доставал до педалей — сиденье придвинуто вперед. А чтобы видел дорогу — использованы книги. Толстые солидные справочники. Мы берем их из дому. Он на них сидит.

— Ну, смелее. Ну!

Машина дергается, мотор глохнет: не хватило газу. Кир украдкой глядит на меня. Он думал, что у него получится сразу. А сразу не получается.

Дернемся — заглохнем. Дернемся — заглохнем.

Я наблюдаю за Киром. Он не отступится, упорный. И я хочу, чтобы таким он оставался всегда.

Опять заводим мотор. Кир опять выжимает педаль сцепления. Теперь дает слишком много газа. Мотор ревет. Я молчу: Кир во всем должен убедиться сам, почувствовать, понять. Много газа, мало газа. Холостые обороты, нагрузка. Что и как.

Мы прыгаем с места. Кир пугается и бросает педали. Оправившись от испуга, говорит:

— Прыгнул.

Он знает, что это безграмотно для водителя — прыгать. И педали бросать нельзя. Ни в коем случае! Это он тоже хорошо знает. Растерялся за рулем — авария, несчастье. Видел на дорогах.

На следующий день продолжаем.

— Газу! Еще! Не смотри на педали, на дорогу смотри. А ручной тормоз, забыл?

Ревет мотор. Мы прыгаем, потом глохнем.

Кир прикусывает губы. На глазах слезы: от обиды на самого себя. Я ласково хлопаю его по плечу.

— Не огорчайся, Кир. Все прыгают.

— И ты тоже прыгал?

— Конечно.

— А долго?

— Долго.

— А пугался? Бросал педали?

— Случалось.

Впереди и сзади стоят у нас на машине таблички — «учебная». Между табличками на толстых солидных справочниках сидит Кир.

— Папа, я начну сначала, можно?

— Конечно. Только давай пропустим тот встречный автобус.

— Давай.

ДОЛЖНЫ ЕХАТЬ ТРОЕ

Руку поднимает дед, голосует. Он в сапогах, в ватной стеганке. Стоит, опирается на палку. Сгорбился, устал.

Я останавливаю машину. Кир выскакивает и открывает заднюю дверцу. Помогает деду сесть.

— Далеко вам? — спрашиваю я.

— В деревню Хабаровку.

Дед устраивает палку между колен. Складывает на ней ладони грибком — одна на другую.

Кир снова на месте. Мы трогаемся.

Дед заводит разговор о нынешней весне, которая то теплом по земле ходит, то морозом возьмется. Долгая весна, истяжная. Но озимые поднимаются не плохо. Ишь зеленеют!

Мы смотрим на озимые. Они зеленеют первой влажной зеленью. Кое-где в деревнях лежит снег. В снегу топчутся утки: ждут воду. Она появится в полдень, когда пригреет солнце.

Дед уже не работает. По старости. Прежде, в далекие времена, был сухарником. Выпекал сухари, витушки, рогульки, именинные крендели. А начинал жизнь с того, что чистил в булочных мешки и хлебные формы. Скреб ножом-тупиком тесто. Пропаливал глиняные квашни.

Кир слушает. Ему интересно. Дед рассказывает охотно: далекое становится для него близким. У Кира нет еще такого далекого. Да и у меня его нет: деду уже за восемьдесят.

Когда приехали в Хабаровку, дед достал деньги.

Мы сказали, что деньги с попутчиков не берем: если в машине едут двое, а поместиться могут трое, то должны ехать трое. И деньги тут ни при чем.

Она села вскоре после деда. Была в гостях у матери в совхозе и возвращалась в город.

Я спросил, что она делает в городе.

— Учусь в вечерней школе. — Потом добавила: — И работаю.

— А кем работаешь?

Девушка смутилась.

— Техничкой в интернате.

Кир не понял, что такое техничка.

— Ну, мою полы, убираю. Нянечка я, уборщица.

Кир говорит:

— Я тоже люблю убирать, мыть машину.

Девушка смеется. Она больше не стесняется нас.

— Еще я была поварихой. В детском саду.

— А трудно быть поварихой? — спрашивает Кир.

— Сначала было трудно. Нельзя опаздывать с обе-

дом: дети уснут. Набегаются за день и с ног падают, спать хотят.

— Я тоже, когда спать хочу, падаю с ног,— говорит Кир.

Он сразу попросил:

— Нельзя ли побыстрее!

— А что случилось?

Это был паренек рыжий и конопатый. Чуб его вспыхивал на солнце, точно факел.

— Автолавка проехала. Догнать мне ее надо.

— Догоним.

Я подбавил скорости. Требовалось выручить человека: догнать магазин. И мы его догнали. Посигналили, чтобы остановился.

Магазин остановился. Паренек был счастлив.

Девочка в белом школьном переднике. Робко махнула рукой. Возле девочки на чемодане сидела пожилая женщина. Мы с Киром затормозили.

Это оказались бабушка с внучкой. Бабушка провожала внучку в пионерский лагерь.

— Вы ее до переезда через железную дорогу. Пожалуйста, не откажите. Там у них собрание назначено,— говорит бабушка.

— Сбор, а не собрание,— поправляет внучка.

Я помог поставить в машину чемодан. Кир сказал:

— Хочешь, садись впереди.

Бабушка попыталась сунуть мне в карман деньги.

Кир поспешил удержать ее руку.

Если в машине едут двое, а поместиться могут трое, то должны ехать трое. И деньги тут ни при чем.

НА ОГОНЕК

Он выпел к нам из леса — старый одинокий пес.

Мы грели на спиртовке мясные консервы, поджаривали лук. Он стоял и смотрел: прогоним или нет.

— Иди к нам, — сказал Кир. — Иди. Не бойся.

Но он боялся.

Мы кончили греть мясо, поджаривать лук. Поставили на спиртовку чайник.

Мясо разделили на три части — себе и ему. Себе с луком, ему без лука. Положили в пустую консервную банку, пододвинули навстречу. Он испугался, отбежал. Не поверил.

Мы начали есть.

Он медленно обошел вокруг нас, все еще приглядываясь, что за люди — хорошие или плохие. Наконец рискнул и остановился у мяса.

— Не торопись, — сказал Кир. — Горячее.

Так мы подружились с этим бродячим псом. И вскоре сидели рядом вокруг спиртовки, на которой закипал маленький походный чайник. Пес доверился: вытянул усталые лапы, положил под голову ухо и уснул.

Чайник закипел. Мы погасили спиртовку. Разлили кипяток в чашки и бросили по щепотке чаю. Подождали, пока заварится, опустится на дно чашек.

Пес во сне дергал лапами, вздрагивал, вздыхал.

Мы попили чай. Потом я закурил, а Кир помыл посуду. Собрали мусор и отнесли в канаву. Крошки высыпали в траву муравьям. Начали укладывать вещи.

Пес проснулся, с тревогой наблюдал за нами: он не хотел расставаться.

Когда вещи были уложены, мы сели в машину. Помахали псу на прощание и поехали.

Вдруг Кир сказал:

— Он бежит за нами.

Я сбавил скорость. Для чего — не знаю. Взять его с собой мы не могли.

— Папа, он догоняет.

Пес бежал изо всех сил.

— Лучше скорее уедем, папа.

Я прибавил газу. А пес все бежал и бежал.

Мы с Киром привыкли к встречам и расставаниям. Но это расставание было тягостным.

Долго мы потом ехали и молчали.

СРЕДИ СВОИХ

Есть море. Есть пляж. Но есть еще гараж с ремонтными цехами. Мы с Киром в пансионате для автотуристов.

Я с утра на пляже, а Кир с утра в гараже, в ремонтных цехах.

Каждый отдыхает, как ему хочется. Мы друг другу не мешаем.

Отдыхать — значит не только купаться или лежать на солнце.

Отдыхать — это еще заниматься любимым делом.

А здесь для Кира любимого дела с избытком: триста машин! И такого не бывает, чтобы все сразу были исправными. Обязательно кто-то что-то ремонтирует, регулирует, отвинчивает, привинчивает.

И вот это «что-то» интересует сейчас Кира больше, чем море с пляжем.

И хорошо. Пусть.

В гараже живут два серых журавля.

Когда Кир сидит с механиками в ремонтной яме, рассматривает, как устроен автомобиль снизу, журавли сидят на автомобиле сверху.

Если автомобиль перекатывают с ямы на эстакаду или из сварочного цеха в малярный, журавли идут следом.

Они не любопытны, но любят компанию. В особенности — Кира. Ну, а Кир идет туда, куда катят автомобиль.

Все механики, электрики, жестянщики, маляры — приятели Кира.

Они в комбинезонах и в клетчатых рубашках. Он свой среди своих.

Каждый день Кир сообщает мне что-нибудь новое.

— Знаешь, я сегодня заправил игролом шприц. Сам. Большой, с двумя ручками.

— Знаешь, я сегодня сменил лампочку в подфарнике. Проверил давление в баллонах.

— Знаешь, я сегодня выкрутил свечу у «Победы», а у «Москвича» снял колесо.

Мне кажется, в отношении свечи и колеса Кир прихвастнул, что сделал все самостоятельно.

— Если кто-нибудь и помог тебе, — говорю я осторож-

но, — не беда. Гайки на колесах тугие. И свеча тоже крепко закручена.

— Но я сам. Почти сам справился. Даже палец сбил. Вот.

Кир показывает сбитый палец.

— Промыли бензином, а потом велели окунуть в банку с чистым маслом.

Я больше не уточняю — «сам» или «почти сам» Кир справился с колесом и свечой. Не теперь, так через год, через два, через пять он будет делать все самостоятельно.

Потому что хочет.

Потому что это любимое.

Кир уснул в углу гаража на старых резиновых камерах. Сбоку уснули серые журавли. Они любят компанию. В особенности — Кира.

Механики мне сказали:

— Уморились. Все трое.

Я взял Кира на руки — легкий и тонкий, как журавленок, открыл глаза, улыбнулся и вновь уснул.

Я тихонько понес его к морю.





Я СЛУШАЮ ДЕТСТВО

ПОД КРЫШЕЙ НИЧЕГО НЕТ

Рассказ перед повестью

1

Впервые я залез на чердак в детстве. Залез, чтобы изведать неизведанное, таинственное.

Был уверен — на чердаке что-то спрятано. Надо только поискать в темноте.

Для этого необходим фонарь, и все. Да, и еще необходима осторожность, потому что на чердак лазить не разрешают: «Крошатся потолки и растаптываются по квартире».

Я выбрал удобный момент, когда меня никто не видел,

и полез на чердак. Лестница гнулась, скрипела. Старая, деревянная, побитая дождями, обожженная солнцем.

Добрался до чердака, до узкой невысокой дверцы. Повернул колышек, на который она была закрыта, еще раз оглянулся — как будто все в порядке, никто не видит — и влез внутрь.

Долго бродил с фонарем по чердаку старого маленького дома, искал свое счастье.

2

Мне уже скоро сорок лет. Я давно не живу там, где когда-то жил, где впервые поднялся на чердак.

Но я опять живу в старом маленьком доме. Он построен из толстых бревен и покрыт шифером.

Вокруг дома лес — березы и сосны.

Каждое утро взбираюсь на чердак по такой же старой, побитой дождями и обожженной солнцем лестнице.

Я не стремлюсь изведать на чердаке то неизведанное и таинственное, что хотел изведать в детстве. Не стремлюсь найти то свое счастье, которое хотел найти прежде. Нет. Я здесь работаю, пишу рассказы.

Я привожу их отовсюду, где бываю, — из Карелии, Тиберды, с Урала, Валдая, Селигера, с верховьев Волги, Енисея. Привожу в старый дом, сюда на чердак. Привожу, как свое самое большое счастье, которое отыскиваю в разных местах, среди разных людей.

На чердаке у меня стоит стол и скамейка. Я сам сколотил из досок. На столе — чернильница, стопка чистой бумаги, географические карты, справочники, записные книжки.

Окна на чердаке нет, поэтому сижу у открытой чердачной дверцы. Она заменяет окно. Вижу березы и сосны. Прилетает ветер, раскачивает пустое осиное гнездо возле дымохода.

Если ветер пытается закрыть дверцу, я подпираю ее планкой, которую специально держу под рукой. Часто по крыше ходят птицы, царапают крышу лапами.

Сквозь щели в досках солнце простреливает чердак из конца в конец длинными полосами.

Рано утром эти полосы светло-желтые, почти белые. К вечеру — темно-желтые, почти красные.

Иногда я хожу вдоль чердака, но очень осторожно, чтобы «не крошились потолки и не растапывались по квартире».

Для этого проложил доски. Они как тропинки. Вот и хожу по ним осторожно. Пересекаю солнечные полосы — светло-желтые или темно-красные, думаю о своем.

Здесь на чердаке думается особенно хорошо и мечтается особенно хорошо. Может быть, потому, что впервые поднялся сюда еще в детстве.

Поднялся за своим счастьем. И нашел его. Только не завернутое в тряпку и спрятанное под крышей, а совсем другое, в котором тоже никогда не кончаются тайны и поиски.

3

Со мной в доме живут ребята, соседи — Вова и Максим. Вова помладше, Максим постарше — осенью пойдет в первый класс.

Вову еще зовут «Сыроёжка». Это потому, что когда Вова находит какой-нибудь гриб, любой, он кричит:

— Сыроёжку нашел!

Так для всей нашей улицы Вова стал Сыроёжкой.

У Максима и Сыроёжки своя жизнь, свои интересы, заботы, свои слова.

Отсюда, с чердака, мне очень удобно наблюдать и слушать Максима и Сыроёжку. И почему-то ребята, их разговоры не мешают мне, а даже дополняют то, что делаю. Они — как солнечные полосы в моей взрослости, в моей работе.

— Узнай, что я держу в руке? — спрашивает Сыроёжка Максима.

— Яблоко, — отвечает Максим.

Я кладу ручку, прислушиваюсь.

— Нет, — говорит Сыроёжка. — Не яблоко.

— Орех?

— Нет.

— Шишку?

— Нет.

— Цветок?

— Нет.

Я тоже начинаю думать, что же такое в руке у Сырёжки.

— Палка? — продолжает допытываться Максим.

— Нет.

— Мяч?

— Нет.

Максим теряет терпение. Я слышу это.

Теряю терпение и я: поднимаюсь из-за стола и выглядываю в дверцу чердака.

Сырёжка стоит ко мне спиной. Одну руку засунул в карман штанов, а в другой руке, которую спрятал за спину, держит кошку.

Максим не сдается.

— Банка?

— Нет.

— Чашка?

— Нет.

За ребятами присматривает Варвара Петровна, их тетка. Она очень полная, и ей трудно далеко ходить. Поэтому в лавку за хлебом или за сахаром отправляет Максима.

Максим ходит, но неохотно. Причина в том, что напротив через улицу живет пес — маленький, вредный и ко всему подозрительный. Он как частный сыскной агент из какого-нибудь западного детективного романа: все что-то вынюхивает и выслеживает. Зовут пса Джимом, но вся улица зовет «Пес в штатском».

Максим очень его боится. «Пес в штатском» быстро это понял и ни за что теперь не пропускает Максима в лавку или из лавки. Обязательно выследит и наскочит.

Я сидел утром на чердаке. Как всегда, работал. Слышу сердитый голос Варвары Петровны:

— Максим, где же молоко? Я тебя посылала за молоком.

— Кончилось молоко, — отвечает Максим.

— В лавке кончилось?

— В лавке не кончилось, а в бидоне кончилось.

— Ничего не понимаю...

— Ну, было, и нет его.

— А где же оно?

И тут выясняется, что Максим отбивался молоком от «Пса в штатском».

Варвара Петровна не может удержаться от смеха. Я тоже смеюсь, но тихонько, чтобы не услышал Максим и не обиделся на меня.

В доме наступает тишина — Сыроёжка и Максим отправляются играть куда-нибудь к березам или соснам.

Если начнут играть в прятки, то первым водить будет Сыроёжка. Потому что Максим, как наиболее грамотный, скажет считалку и обязательно выйдет, а Сыроёжка останется.

Применяется считалка одна и та же:

Плакса, вакса, гуталин —
на носу горячий блин.

Потом они будут наблюдать за муравьями, которые перестраивают у нас во дворе гнилой пенёк под свое жильё. Прыгать через сухую канаву — кто перепрыгнет, а кто в нее свалится. Искать белку, которая сбрасывает с вершины сосны разломанные шишки. Учиться свистеть, зажав травинку между ладонями.

Все это время на улице будет торчать «Пес в штатском», как всегда беспредельно вредный и недоверчивый. А я продолжаю работать, сидеть на чердаке за письменным столом или ходить по доскам-тропинкам и все думать о своем.

Максим и Сыроёжка еще маленькие.

Но когда подрастут, тоже, очевидно, захотят взобраться на чердак, потому что ребят всегда тянут к себе чердаки. Захотят изведать неизведанное, тайное.

Будут бродить с фонарем, искать свое счастье.

Глава I

БАХЧИ-ЭЛЬ

Вечерело. Погасла жара. Вдоль заборов и у ворот резче очертились тени. Острым закатным бликом заострился крест на церквушке возле кладбища.

Минька отправился к большому гранитному камню у пекарни Аргезовых — встречать с завода своего дядьку Бориса. А Минькин дружок Вася — по-уличному Ватя — ушел за козой, которую пригонят со стадом с пастбища.

До революции пекарня принадлежала туркам Аргезовым, и с тех пор в Симферополе за ней сохранилось это название.

С близких холмов Цыплячьих Горок, где были церковь и кладбище, доносился запах цветов лаванды. Лаванду недавно начали разводить на опытных участках для производства духов, мыла и пудры.

Рядом с лавандой была плантация чайной розы. Но запаха роз на Бахчи-Эли не слышно: его забивает более пахучая лаванда.

На камне сидеть тепло. За день его нагрело солнце.

Хозяйки вынесли к воротам легкие гнутые стульча, похрустывают присушенными на сковородах тыквенными семечками, поджидают мужей и сыновей с завода и парфюмерной фабрики.

Голубятники гоняют перед сном голубей, и голуби летают высоко в солнечном закате.

Во дворах тлеют на древесном угле мангалы, сделанные из прохудившихся ведер: подогревают обеды в семейных кастрюлях, таких огромных, что, как говорится, через них и собака не перескочит.

К камню подошли ребята. Кеца — низенький, с плотной шеей, с мигающими жуликоватыми глазами, и Гопляк — ленивый, глаза щелками, мягкие широкие губы. Принесли бараньи косточки-ошики со свинцовымидробинками, вклепанными для тяжести.

Гопляк безразличным голосом сказал:

— Здорово!

— Здравствуй, — ответил Минька и попросил: — Запиши к себе в бригаду, Гопляк.

— Тоже на розе захотел подработать? — спросил Кеца.

— Ну, захотел.

— Ватя сагитировал?

— Ну, Ватя.— Минька никогда и ни в чем не доверял Кеце.

— Приходи завтра утром, запишу,— сказал Гопляк. Кеца и Гопляк уселись подле Миньки, начали игру.

— Алчи!

— Кош!

— Алчи!

— Кош! — подкидывали они косточки.

Гопляк предложил и Миньке принять участие в игре.

Минька согласился. За проигрыш били «горячие»: заголяли рукав рубашки и шлепали двумя пальцами по руке.

Проиграл Гопляк. Минька отмерил ему свои пять горячих. Кеца каждый раз, перед тем как ударить, слюнявил пальцы и бил с оттяжкой.

Гопляк молчал, только губы вздрагивали.

Припелся Ватя с козой:

— На старенького возьмете?

— Какой долгоносик выискался! — сказал Кеца.— Хватит, Миньку взяли. Валяй на новенького.

Ватя был в мятых, вздутых на коленях штанах и в галошах на босу ногу. Потоптался, подумал и решил.

Гопляк, как пострадавший, отстукал Вате пять ударов, после чего Ватя подышал на руку и присоединился к играющим.

Ребята сели, подобрав под себя ноги, и сдвинулись в кружок. Когда подбрасывали косточки, все совались головами.

— Алчи!

— Кош!

В пекарне шипела нефть в печах, бряцали чугунные створки. Ухала квашня, опрокидываясь на железный противень. В окнах, запыленных мукой, полыхали багряные отсветы, передвигались тени пекарей в нахлобученных колпаках.

Коза дергала Ватю зубами за воротник рубашки: «Мэ-э!..»

Ватя щелкал козу между рогами, но коза не отставала и звала домой.

Ватя снял галошину и стукнул галошиной козу по морде.

Коза боднула Ватю. Он едва не слетел с камня вместе с Гопляком.

— Ах ты, мэмэкало! — закричал обиженный Ватя. — Вот найду дрын и тебе рога обломаю!

Успокоили козу, успокоили Ватю, игра возобновилась.

Ватя набрал меньше всех очков. Вскочил и, теряя галоши, помчался прочь. За ним, вскидывая копытами, помчалась коза.

А за козой помчались Кеца и Гопляк, желая во что бы то ни стало расплатиться с Ватей.

Минька остался один.

Вспомнил Курлат-Саккала и сегодняшние слова Вати о том, что Курлат-Саккал объявился в Симферополе.

Может, наблюдает за Минькой, отслеживает, отомстить хочет? Уехать, что ли, в Урюпинск, домой к отцу? Но Борис всегда защитит Миньку!

Случилось это давно, когда Миньке было четыре года. Отец работал на Бахчи-Эли начальником оружейного склада.

В Симферополе скрывалась шайка белобандитов под названием «Бубновы валеты». Они убивали большевиков и комсомольцев. Рядом оставляли игральную карту — бубнового валета.

Руководил шайкой Курлат-Саккал, в прошлом есаул атаманов Каледина и Богаевского.

«Бубновы валеты» устраивали кулацкие мятежи, поджоги, провокации, занимались шпионажем в пользу турецких эмиссаров и мурзакон.

Это их люди в январе 1920 года предали и расстреляли матроса-большевика Назукина, возглавлявшего подпольный комитет в тылу у Врангеля.

Однажды Курлат-Саккал хотел выкрасть у Минькиного отца ключи от склада, чтобы вооружить банду.

Ночью смазал стекла в окнах патокой, наклеил на них бумагу. Стекла бесшумно выдавил и забрался в комнату: отец не любил, чтобы закрывали ставни.

Бабушка услышала — кто-то лезет, и разбудила отца. Он потянулся за карабином, который стоял в углу комнаты, но зацепил гитару, которая тоже стояла в углу.

Гитара дрыгкнула.

Отец все же успел схватить карабин и выстрелить. Пуля угодила в оконную раму. Курлат-Саккал скрылся.

Метка от пули до сих пор сохранилась в дереве.

Курлат-Саккал пытался подкараулить отца в степи или на безлюдных улицах, но отцу удавалось отстреливаться.

Спустя несколько лет отряд красноармейцев под командой отца поймал Курлат-Саккала.

Но ему помогли бежать из тюрьмы. Теперь прятался где-то в Симферополе.

Бориса Минька заприметил издали. Он узнавал его всегда, среди любой толпы — высокого, с непокрытой головой.

Борис шел легким, устойчивым шагом спортсмена. Под пиджаком — в складках на плечах и груди — угадывались мускулы.

К Борису у Миньки была особая с раннего детства любовь.

Это Борис, как только закончилась гражданская война, уехал к берегам Волхова строить самую большую по тому времени в стране гидроэлектростанцию. Присылал письма на завод в Симферополь, чтобы рабочие на заброшенных складах и двориках разыскивали, собирали станки и материалы для Волховстроя, помогали новому электрическому городу.

Позже Борис с бригадой рабочих отправился в деревню агитировать крестьян против кулаков и подкулачников. Был и среди шести тысяч рабочих, откликнувшихся на призыв партии провести свой отпуск на уборке урожая в совхозе «Гигант».

Интересно жил Борис, работал в полную силу.

Часто Борис и Минька отправлялись на стадион. Минька нес чемоданчик с майкой, губкой для обтирания и тапочки.

Встречные оглядывались: они оба — светловолосые, кучерявые, кареглазые — были схожи между собой. Миньку даже считали сыном Бориса.

Минька был уверен, что у Бориса нет никого дороже и ближе, чем он, Минька-стригунок. Борис в детстве качал Миньку, завернутого в серое солдатское одеяло, в деревянном корыте вместо люльки.

Минька побежал навстречу Борису.

Борис схватил Миньку, и он забарахтался в его крепких руках.

— Минька! Митяшка!

— Борис!

— Ах ты, елеха-воха!

Минька решил было спросить у Бориса про Курлат-Саккала, но раздумал.

Минька шагает по Бахчи-Эли в шаг с Борисом, и все, кто сидит у ворот, раскланиваются с ними, интересуются делами Бориса на заводе, предстоящими городскими соревнованиями по тяжелой атлетике.

— Вечер добрый!

— Добрый вечер! — отвечает Борис и у одних спросит, как чувствует себя дочка после болезни, пишет ли сын из армии, у других — каков ожидают урожай на табак или маслины, удачной ли была охота на перепелок.

На дороге попался Фимка, сынишка паровозного машиниста Прокопенко, дом которого был напротив.

Фимка, совсем еще малыш, был одет в длинную холстинную рубаху, так что было похоже, что он и вовсе без штанов.

— Ты чего, Фимка, в пыли сидишь? — спросил Борис.

— Вот, — сказал Фимка и подшмыгнул носом. — Подкову нашел.

Борис поворошил его нестриженные, жесткие, как перья, волосы.

— Тащи домой. Мамка холодца наварит.

Фимка недоверчиво скосил глаза.

— Гы! — Но все-таки поднялся, прижал к груди подкову и, оглядываясь на Бориса, заторопился к мамке.

...Ужин у бабушки давно уже собран — постный холодный борщ с фасолью и сухими грибами на мучной поджарке, тарелка с ломтями моченого арбуза, водка в гранчатом штофике, надержанная до мягкости на кизиле, бутылочка-стекляночка с тягучей алычовой наливкой, деревянные миски и ложки с наведенными на них серебром «петухами, курьями и разными фигурьями». Это у Миньки с Борисом страсть к деревянной посуде.

Дед бережно примял ладонью усы с подпалинами от табака, предупредительно кхекнул, потянулся к штофику с кизлярочкой. Звякая горлышком штофика по чаркам, налил по первой.

Миньке тоже — в мелкую чарочку кубышкой.

— Ну, чубатик, выпьем, да оборотим, да в донышко поколотим.

Минька чокнулся с дедом, с бабушкой, с Борисом.

Бабушка обтерла губы передником и отпила несколько глотков.

Дед махом вплеснул чарку в рот и проглотил громко, единым духом. Продышавшись — кхи-хи-и, — опять бережно примял ладонью усы и взял ломоть моченого арбуза.

— Не питье, а душевная амврозия!

Минька тоже выпивает. Рот слегка ожигает спиртом. Крепитесь, чтобы не вышибло слезы, и, как дед, тянется к арбузу. Закусив, принимается за борщ.

Дед, поднося ко рту ложку, держит под ней кусок хлеба, чтобы не брызнуть на скатерть. Ест обстоятельно, неторопливо.

Минька во всем подражает Борису. Борис запускает в борщ горчицы — и Минька запускает. Борис полощет в борще стручок горького перца — и Минька полощет. Борис раздавливает ложкой большие картофелины — и Минька раздавливает.

По второй дед наполняет чарки сладкой алычовой, чтобы покрыть кизлярочку лаком.

Дед разогнался было выпить, «поколотить в донышко» и третью, подморгнув Миньке, — земля ведь на трех китах держится, а? — но бабушка сказала, что земля давно уже вертится без всяких китов, и отобрала штофик.

Дед пробурчал:

— Шла бы ты, Мотря, уроки писать.

— Успеется с уроками.

Бабушка учится в ликбезе при школе-семилетке. Деда это веселит.

— А что, Мотря, каковы будут твои соображения насчет звездного пространства? Ежели, как ты утверждаешь, земля вертится, то почему я сижу на стуле и голова у меня совсем не вертится?

— Завертится, — отвечает бабушка. — Как штоф выпьешь, так и завертится.

— Гм... Не научно. Кухмистер ты. Ну, а каков будет твой резон о Пуанкаре?

— Это еще что за выдумка?

— Не выдумка, главарь французского правительства.

— Отцепись!

— Вот оно. Тут мыслить политэкономией надо. Пока ты буквы учишь, Пуанкаре хочет придавить нас экономически. Вы, мол, медведи и фальшивомонетчики, трактор сами не соберете и, что такое автомобиль, понятия не имете, а уж чтоб доменную печь построить и задуть, так вам и не снилось. А от нас вы кукиш получите. При генеральном штабе Восточную комиссию создал с генералом Жаном. И все против Советской власти.

— Не Жаном, а Жаненом,— поправляет деда Борис.

— Не возражаю,— соглашается дед: авторитет Бориса в вопросах экономики и политики для него неоспорим.

В доме дед первым читает газету, и только когда поставит свою подпись, что означает: газета им уже проработана,— тогда она поступает к «челяди».

Имеется у деда толстая бухгалтерская книга, куда он вписывает события как чисто семейные, так и государственного масштаба.

Однажды, производя очередную запись, всхрипнул над книгой, и Минька прочитал:

Параграф один. Мотря хворает, жалуется на колики в пояснице. Прогладил ей поясницу горячим утюгом через тряпку. Полегчало.

Параграф два. Завод «Коммунар» в Запорожье своими силами, без этих разных заграничных спецов, построил первый комбайн.

Параграф три. Произошла смычка между северным и южным участками Турксиба.

Параграф четыре. Раскрыты вредители. Прозываются «Промышленной партией». Уточнить у Бориса их суть. Чего им, холерам, надо было?

После ужина бабушка моет в тазике ложки и миски, а дед говорит Миньке:

— А иди, стань у гардероба.

Дед будет делать засечку на ребре шкафа, отмечать, на сколько Минька подрос. Уже больше года, как Минька не был на Бахчи-Эли — жил у отца в Урюпинске.

Внук становится. Пятки и затылок прижаты к шкафу.

Дед вынимает из ящика с сапожными инструментами острый, для окантовки подметок, ножик, вместо ручки обмотанный рогожкой, и кладет шершавую от порезов и поколов ладонь Миньке на голову.

Минька, точно гусеница, напрягает шею. Но дед не сильно надавливает на макушку — сократись, хитрик, не лукавь.

Минька пружинит шеей, будто сокращается. Дед ногом царапает по ребру шкафа. Минька отходит. Дед по царапине наводит ножом, достает из кармана химический карандаш, мусолит его и пишет сбоку год и месяц.

— На много вырос? — беспокоится Минька, стараясь через локоть деда взглянуть на отметку.

— Да не,— подсмеивается дед.— На макову зерницу.

С улицы доносится негромкое бречание настраиваемых мандолин и балалаек.

— Пойдем, что ли, на вечерницу,— говорит Миньке Борис и снимает с гвоздя гитару.

Возле калитки на лавке сидит старший брат Вати, Гриша, машинист Прокопенко, оба с мандолинами, и другие жители улицы с балалайками.

Поднесут еще скамейки. Борис тоже усаживается. Минька рядом с ним. Гопляк, Ватя и Кеца располагаются на траве.

Минька весь день думает: где же Аксюша? Может быть, уехала к тетке в Балаклаву или к родичам на Оку? Спросить об этом у ребят или у бабушки Минька почему-то не отважился, хотя понимал, что это довольно-таки глупо: будто у него поперек лба написано, что он как-то по особому интересуется Аксюшей!

Минька и Аксюша родились в один год, в одном родильном доме.

Их игрушки были совместные: глиняные ярмарочные свистульки, корзинки из раскрашенных стружек, бумажные мячики на тонких резинках, набитые опилками. Многоу бесплатно катались на базарной карусели, которую крутил отец Аксюши — однорукый инвалид.

Часто по выходным дням слушали рассказы машиниста Прокопенко и Минькиного отца о гражданской войне, когда было голодно и трудно: паровозы топили вместо угля сухой воблой, макуха заменяла хлеб.

Слушали рассказы и о том, как в тендере паровоза прятали под водой от белых карателей винтовки и пулеметы, как предатели-националисты расстреливали под Алуштой первых членов Советского правительства республики Тавриды, и о том, как партизанил в Евпатории

отряд «Красная каска» под командованием Ивана Петриченко.

Борис подстраивает гитару, наклоня голову и внимательно вслушиваясь в тона струн.

У ворот, где живут Прокопенко, женщины кончили мусорить семечками, подмели шелуху и замолкли.

— Какую начнем? — спрашивает Гриша у Бориса.

Борис — первая гитара, он ведущий.

— Испаночку.

Запели звончатые струны мандолин и балалаек. Загудели басовые аккорды гитары. Играли с переборами, подголосками. Вели мелодию и вторили — слаженно, сыгранно.

Темнота плотнее сжимает землю.

В окнах загорается неяркий свет, падает на тихие дороги. Низко над дорогами проносятся летучие мыши-ушаны, рывками отскакивая от горящих окон.

Множатся звезды в холодном пламени Млечного Пути. Где-то, опуская в сруб ведро, стучит барабан колодца.

Из города на трамвае приехала Люба — молодая работница с парфюмерной фабрики.

Подошла, остановилась послушать. Люба жила в конце улицы, в маленьком доме, сплошь завитом крученым панычем.

Люба — красивая и самолюбивая. Обидишь — ни за что не простит. Многие сватались к ней, но никто не высватал ее.

Пожилые люди сначала понять не могли, говорили — не в меру заносчивая, сердце в гордыне держит, но потом догадались: на Бориса засматривается.

Минька тоже почувствовал расположение Любы к Борису и поэтому относился к ней сдержанно, ревниво оберегая своего Бориса. Тем более, в прошлые времена Любу видели с Курлат-Саккалом. Правда, Курлат-Саккал сам пристаивал к ней, но сманить Любу или даже запугать ему не удалось.

Борис ниже склонился к гитаре, и Миньке показалось, что гитара заиграла у него еще певучее, еще душевнее.

Гриша сказал Любе:

— Сядь, казачка, не гордуй! Если хочешь — поцелуй!

Люба ничего не ответила. Прислонилась к стволу акации, сорвала веточку, закусила черенок белыми влажными зубами. Стоит гибкая, черноглазая, с приподнятыми у висков бровями.

Глава II

ПЛАНТАЦИЯ ЧАЙНОЙ РОЗЫ

Щели в ставнях посветлели.

Минька проснулся и лежит в кровати, слушает пощелкивание часов. Ждет, когда часы начнут бить, потому что в комнате полумрак и стрелок не разглядеть.

Как и ко всему прочему в доме, Минька давно привык и к этим часам с помутневшими, осыпавшимися цифрами. Деревянный, с витыми колонками ящик подточил шашель, отвалился и потерялся крючок у дверцы.

При этих часах Минька родился, при них он растет. И его мать тоже родилась и выросла под шагание их маятника.

Дед никому не разрешает прикасаться к часам.

Раз в десять дней, взобравшись на табурет, заводит ключом, у которого на ушке жар-птица, ходовую пружину и бой.

Часы, зашелестев, точно сухие листья, ударили войлочным молоточком в железную розетку — бом!

Ну конечно! Вот так всегда случается, когда ждешь-ждешь, чтобы узнать, который час, а тебе бом, один удар — половина. А чего половина? Пятого? Шестого? Седьмого?

— Минька! — тихо окликает бабушка.

— Что?

— А не время тебе собираться?

Минька сбрасывает простыню и садится.

Половина седьмого! Пора! Скоро Ватя зайдет.

Бабушка поднимается вместе с Минькой, хотя он и говорит, что не надо — вскипятит чайник и без нее.

Но бабушка хочет сделать все сама.

Минька умывается из большой дубовой кадушки, хлопывая себя ладонями по груди и плечам: тогда кровь приливает к телу и не чувствуется холода колодезной воды.

Бабушка возится с чаем.

Минька накинуд рубашку, пригладил гребешком волосы, приготовился сесть к столу.

Его подозвал Борис. Он тоже проснулся.

— Минька, ты про Курлат-Саккала слышал?

— Слышал. Ватя сказал.

— Боишься?

— Боюсь.

— Не надо. Не бойся.

— А как он поймает меня где-нибудь одного?

— Его самого милиция ловит. Да и на кой ты ему, стригунок, нужен! Вот если бы отец твой был здесь, тогда иной разговор. Смело бегай, гуляй.

Накормив Миньку, бабушка дала ему с собой завтрак — пирожки с вязигой.

Стук в окно. Это Ватя.

Минька подхватывает сверток с завтраком и выбегает на улицу. У Вати тоже сверток.

Ватя босой, брюки подвернуты, волосы после подушки торчком.

— Аллур три креста. Опаздываем!

Минька и Ватя поспешно зашагали по пустынным улицам.

Изредка попадались маленькие пацанята, которые гнали в стадо коз.

— А твоя коза? — спросил у Вати Минька.

— Сама дойдет.

— А если не захочет?

— Пусть попробует! Я ей наперед выдал в лоб два щелчка.

Минька и Ватя взбираются на Цыплячьи Горки переулками с желтыми заборами из ракушечника, усеянными поверху осколками бутылочного стекла. В ракушечнике поблескивают капельки ночной влаги, еще не высушенной солнцем.

На перекрестках — круглые каменные тумбы для афиш, вколотенные в землю рельсы — коновязи, пустоши с высоченными колючками, в которых в полдень зной и сухость.

Вскоре приятели оказались на окраине Бахчи-Эли, где были плантации чайной розы.

Вошли в дощатые ворота, поднялись по ступенькам в

контору. В большой комнате скопилось уже много ребят. Бригады проверяли своих, выкликая по фамилии, и раздавали полотняные торбы с лямками.

Ватя и Минька протолкались к Гопляку.

— Пришел, значит? — сказал Гопляк.

— Значит, пришел, — ответил Минька.

— Получай. — И Гопляк подал Миньке торбу с лямкой.

Минька взял торбу и, как показал ему Ватя, надел через плечо.

Неожиданно Минька почувствовал, что кто-то тронул его за рукав. Он обернулся.

Перед ним стояла Аксюша в коротеньком сатиновом платье и в косыночке, повязанной рожками.

— Ну! — сказала Аксюша.

— Что?

— Ну почему ты молчишь?

Минька и сам подумал, почему он молчит и стоит балда балдой, когда надо сказать Аксюше что-нибудь самое дружеское.

Перед Минькой вынырнул Кеца и, схватив за пуговицу на рубашке, спросил:

— Чья пуговица?

— Моя, — машинально ответил Минька.

— Тогда — на, возьми ее! — И Кеца, оторвав пуговицу, сунул Миньке в руку.

Минька едва не задохнулся от злости. Кинулся было на Кецу, но Кеца скрылся в толпе ребят.

— Не обращай внимания, — спокойно сказала Аксюша, — он дурак. А пуговицу я тебе пришью.

Раздалась команда строиться по бригадам.

— Побежали к своим! — сказала Аксюша и, притронувшись пальцем к Минькиной щеке, засмеялась. — Ой и сердитый ты! Сейчас зашипишь, как сковородка.

Кусты на плантациях были высажены длинными рядами.

Ватя и Минька выбрали себе ряд, где розы погуще. Минька должен был собирать лепестки по одной стороне кустов, Ватя — по другой.

Они положили завтраки на землю, прикрыли ветками и приступили к работе. Минька быстро наловчился обрывать лепестки, складывать в торбу. Старался не оставлять

на цветках обрывков, или, как говорил агроном плантации, лохмотьев.

Вначале Ватя ушел вперед, но подождал Миньку, и тогда они начали работать рука в руку.

Пройдя первый ряд, заступили на второй.

По соседству собирали цветы Гопляк с Аксюшей.

— Вызываем! — сказал Ватя.

— Принимаем вызов! — ответила Аксюша.

Гопляк, обыкновенно нерасторопный и вялый, заработал сноровисто и проворно.

Никто не переговаривался, чтобы не терять времени.

Лепестки в торбах пришлось уминать: они не помещались и вываливались.

Минька в кровь оцарапал колючкой ладонь, но оставался, чтобы заклеить листиком ранку, было некогда.

Аксюша и Гопляк и без того уже обгоняли и, не скрывая, громко торжествовали победу.

Минька и Ватя проиграли.

Они пошли проверить работу Гопляка и Аксюши, но ни в чем не углядели погрешностей: ни один цветок не был пропущен и лепестки были собраны без лохмотьев.

— У нас в ряду цветов было больше, — не сдавался Ватя. — А у вас все бутоны.

— Неправда, — сказала Аксюша. — Вам обидно, вот вы и придумываете отговорки.

Просигналил горн — перерыв на завтрак.

Минька с Ватей отправились к тому месту, где сложили свертки. Устроившись в тени кустов, выпили морса, который притащил с собой Ватя, и насладились пирожками с вязигой. После пирожков опять надулись морсом и растянулись отдыхать.

Пришла Аксюша:

— Упарились, ударники!

Ребята промолчали, переполненные вязигой и клюквенным холодом.

— Минька, а где твоя пуговица?

Минька достал из кармана пуговицу.

— Дай сюда. — И Аксюша присела с иголкой и ниткой.

— Где ты взяла? — удивился Минька.

— Что?

— Иголку и нитки.

— У девочек. Не шевелись — уколою.

Минька ощущал у себя на щеке теплоту ее дыхания, видел совсем близко уголок ее прищуренного глаза, длинные изогнутые ресницы с обгоревшими на солнце кончиками и маленькое ухо, просвеченное солнцем, покрытое пушком, точно цветочной пылью.

Аксюша ловко вкалывала иголку в материю, перехватывала, вытаскивала. Снова вкалывала.

Но вот Аксюша нагнулась, откусила зубами нитку:

— Готово.

У весов для сдачи урожая выстроилась очередь.

Миньку поразила гора лепестков, которая возвышалась рядом с весами на брезенте.

Ребята высыпали из торб свой сбор в фанерный ящик.

Приемщик взвешивал, заносил в конторскую книгу цифры. Бригадиры заносили цифры к себе в список. Очередь продвигалась быстро.

Кеца вытряхнул из торбы цветы. Приемщик замерил вес, не глядя опрокинул ящик в общую кучу на брезенте.

Никто ничего не заметил, только Ватя заметил: когда приемщик опрокидывал ящик, промелькнул кусок кирпича.

Ватя локтем подтолкнул Миньку:

— Ты чего?

— Кеца кирпич подсунул!

— Куда?

— В розу.

Минька положил на землю торбу, подошел к Кеце:

— Кирпичи подкладываешь? Побольше заработать захотел?

— Не цепляйся, камса соленая! — закричал Кеца и взъерошился. — По морде слопаешь!

Ребята зашумели.

— Сам слопаешь — в ушах засвистит! — Минька двинулся плечом на Кецу, упрямый, драчливый.

Кто-то удержал его за рубаху.

Минька оглянулся. Это была Аксюша. В глазах — испуг:

— Минька! Он старше!

Воспользовавшись этим, Кеца стукнул Миньку по шее ребром ладони. От неожиданности Минька покачнулся, но устоял.

Отуманенный болью и вспыхнувшей злобой, бросился на Кецу и, как учил Борис, подбил ногой справа и ударом руки слева.

Кеца, словно чурка, кувыркнулся в траву.

Минька не устоял и свалился на него. Сцепившись, они покатались, корябая ногами землю.

Ребята кинулись разнимать. Но они не давались.

Наконец, пыльных и всклокоченных, с локтями и коленями, зазелененными травой, их разняли, оттащили друг от друга.

— Я из тебя дранок еще настрогаю! — пригрозил Минька.

Кеца, захлебываясь, глухо дышал, не в силах сказать ни слова, и только зажимал зубами рассеченную губу.

Приемщик нашел в лепестках обломок кирпича и, ухватив Кецу за шиворот, повел в контору.

Глава III

НЕБО ДО САМЫХ КРАЕВ

Вечером вышли в степь — Минька, Ватя, Аксюша, Таська Рудых и Лешка Мусаев. Надели теплые куртки, потому что пробыть в степи надо будет долго. И не просто пробыть, а лечь на землю и считать звезды.

Лягут голова к голове, приставят к глазам ладони. Каждый будет считать звезды, которые в его ладонях. А потом цифры сложат и получится общее число звезд. Сколько же их над слободой, больших и ярких?

Одному, конечно, сосчитать невозможно, а впятером они сосчитают.

Ребята полны решимости. Они это сделают, если даже вынуждены будут пролежать в степи ночь.

Ребята идут на широкое открытое место, чтобы не загораживали небо дома или деревья. Небо нужно сейчас им все до самых краев, до которых раскатились звезды.

Где-то высоко летает ночной ветер, а здесь, на земле, тихо и спокойно. Ветер иногда колышет звезды, и они, стукаясь друг о друга, высекают искры, словно кремни. Искры, то вспыхивая, то затухая, падают на землю. А на небе остается след. Медленно исчезает, рассыпаясь в красноватый пепел.

Изгибается под ногами тропинка. Темная и мягкая, она заглушает шаги. И кажется — ребята не идут, а крадутся к звездам.

Наконец место выбрано — открытое и широкое. Ребята ложатся голова к голове.

Хлопают крыльями ночные птицы. Долго не умолкает, стучит где-то колесами поезд. Слышно даже, как проходит стрелки: стук колес делается особенно громким. Слышно, как трубят рожки стрелочников, провожают поезд.

Минька, Ватя, Аксюша, Таська Рудых и Лешка Мусаев лежат в степи, шевелят губами, считают звезды, которые у каждого в ладонях, чтобы узнать — сколько же их, больших и ярких, раскатывается над слободой.

Глава IV

ШТАНГА

Минька работает в сарае. Решил смастерить штангу из дерева и камней, тренировать мускулы.

В сарае полутемно. От полов прохладно тянет землей. По углам, за бочонками с мочеными арбузами и бутылью с керосином, можно обнаружить всякую всячину: обрывки кроличьих шкурок, сапожные колодки, старое, изъеденное молю чучело филина, треногу и стереоскопическую артиллерийскую трубу. Труба осталась еще со времен службы Минькиного отца на оружейном складе.

По Минькиному плану штанга должна быть сделана так: ручка из тонкой, но крепкой палки. На концах — небольшие ящики. В них накладываются камни, после чего ящики заколачиваются. Минька орудует пилой, рубанком и стамеской. Направляет напильником пилу, затачивает на оселке стамеску. Торопится, чтобы к возвращению Бориса с завода штанга была готова: хочется удивить и обрадовать Бориса. Но дело движется медленно: то пила криво

пилит и сползает с нарисованной карандашом линии, то гвозди гнутся, натываясь на сучки, то вдруг лопнула рукоятка у стамески.

Появился Ватя. Он не мог понять, над чем трудится его друг. Минька объяснил. Ватя сказал, что у них в саду есть повозка, она поломана и с нее можно снять колеса с осью и поднимать вместо штанги.

Отправились к Вате. Отыскали в саду, в подсолнухах, повозку. Открутили клещами гайки, сняли хомутики с оси и вдвоем вытащили колеса.

Попытались поднять — ни Минька не смог, ни Ватя.

Пришлось установить колеса на прежнее место и вернуться к Минькиной штанге.

На улице у калитки нудно, в голос ревел Фимка.

— Мама выпорола! — пожаловался он Миньке.

— А за что выпорола?

— За крупу. Я в огороде крупу посеял. Я думал — семена. А еще Кеца дразнит: две дощечки сложено, горсть соплей положено. О-о!..

— Идем к нам, Фимка, — сказал Минька. — Будешь помогать доски строгать. А Кецу мы изловим и язык воротами прищемим.

Борис пришел, когда Минька, Ватя и Фимка убрали инструменты, выметали из сарая опилки и стружки.

Борис осмотрел штангу, сказал:

— Славно придумано.

Минька с веником стоял польщенный и гордый. Ватя тоже стоял с веником и тоже польщенный и гордый. Фимка застыл с ворохом стружек, с унылым, еще слезливым носом.

— Теперь смотрите, как нужно заниматься.

Борис скинул пиджак, повесил на забор палисадника и, подойдя к штанге, расставил ноги, ухватился за палку, «гриф», и взял штангу на грудь. Потом выжал ее.

— Это называется жим, — сказал Борис и опустил штангу.

Громыкнули камни. Показал Борис рывок и толчок.

— Особенно не усердствуйте. Позанимались — отдохните, оботритесь мокрым полотенцем.

Борис подхватил Фимку, высоко подбросил и поймал. Фимка выпустил стружки.

— Еще!

Борис еще подбросил.

— А до трубы можешь? — развеселился Фимка.

Пришла Фимкина мать и сказала, что нечего баловать: он провинился и наказан, — и повела его домой.

Фимка часто задышал, собираясь захлюпать. Борис шепнул ему, что до трубы слетать обеспечено.

Во двор выбежал разгневанный дед. В одной руке держал газету, в другой — тонкое школьное перо: производил запись в бухгалтерскую книгу очередного политического параграфа.

— Нет, ты мне объясни, как это называется!

— Ты о чем? — спросил Борис.

— «О чем, о чем»! Да о заграничной буржуазии. Ты погляди, что о нашем тракторном заводе пишут. — Дед сунул было газету Борису, но тут же выхватил и начал читать: — «Верховные комиссары всерьез полагают, что неграмотные подростки и юноши смогут скопировать методы Форда, основанные на опыте целого поколения, на высококвалифицированной рабочей силе, на курсе перво-классных инженеров и мастеров». — Дед смял газету. — Скажи на милость, какие помазанники божьи!

— Пусть горланят что хотят, — махнул рукой Борис. — А тракторы мы сделаем. И не хуже фордовских.

Глава V **А К С Ю Ш А**

Была ночь.

Минька проснулся: кто-то громко стучал в дверь. От страха онемели руки и ноги. Вдруг Курлат-Саккал! Он не Кеца, с ним не подерешься — сразу пришибет.

В доме бабушка и дед. Борис заступил в ночную смену. Вновь стук.

Минька перестал дышать.

Оказалось, стучали в дом напротив: пришел из депо дежурный к Прокопенко.

— Надо выезжать на Джанкой! — кричал он. — Товарный состав. Спешно!

Минька с облегчением вздохнул. Потом долго лежал без сна.

Над головой висела картина — богатыри Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович.

В полумраке видны их фигуры в шлемах, в кольчугах, с копьями и палицами.

Эта картина Миньке памятна. Рисовал отец. У него долго не получалась морда коня под Алешей Поповичем. Он счищал краски и начинал сызнова. Наконец конская морда удалась, как того хотелось. Отец устал и пошел прилечь.

Минька, тогда еще ползунок, подобрался к картине, взял кисть и начал «дорисовывать».

Отец проснулся и, когда заметил, что натворил Минька, рассердился, схватил Миньку, перепачканного красками, и больно сжал. Потом швырнул на кушетку и выбежал из дома.

Долго Минька не мог простить отцу горячности, с которой он сдал его и отбросил от себя.

Это была первая в жизни обида.

По просьбе бабушки отец кое-как подправил лошадь Алеши Поповича, и бабушка взяла картину к себе.

Разбудил Миньку, как всегда, бой часов.

Появился Ватя. Нужно было отправляться на плантацию. Сегодня выплачивали деньги.

Минька и Ватя пришли в контору и заняли очередь к окошку кассы. Пришла и Аксюша.

Каждый расписывался в ведомости у кассира, после чего кассир отсчитывал деньги.

Ватя собрался покупать голубя. Минька отдал Вате часть денег, чтобы Ватя и ему купил голубя. Ватя от радости побежал к какому-то Црюпе-голубятнику поглядеть его продукцию, выставленную для продажи.

Минька и Аксюша остались вдвоем.

— Пойдем на курган, — предложил Минька.

— Пойдем.

На кургане, который венчал Цыплячьи Горки, археологи вели какие-то раскопки. Народ говорил, будто обнаружили могилу греческих аргонатов.

Минька и Аксюша взбирались по тропинке, поросшей жилистыми подорожниками.

Аксюша шла впереди. Минька поотстал.

Он видел загорелые ноги Аксюши в белых полосках, оставленных жесткими стеблями травы, и пучок волос,

перевязанных цветной тряпочкой — матузком, как говорила бабушка.

Ветер с кургана задувал, запутывал платье между колен. Аксюша поворачивалась к ветру спиной, распутывала платье.

Чем выше они взбирались, тем лучше был виден Симферополь и высокая над ним, как синяя тень, гора Чатыр-Даг.

Минька и Аксюша сели на вершине кургана в желтой, точно опаленной пламенем цветущих маков, траве.

Внизу лежал Симферополь, с тополиными рощами, трубами заводов и фабрик, низкими дымами паровозов около вокзала и товарной станции. Кара-Киятская слобода, Цыганская, Битакская, Якшурская. Через город протекала безводная в летнее время каменистая речка Салгир.

Аксюша сидела, подняв колени и заложив между ними ладони.

Минька растянулся рядом среди маков.

Миньке очень хотелось говорить Аксюше что-нибудь такое, чтобы она слушала, расширив зрачки, а он смотрел ей в лицо и говорил, говорил.

Но, сколько Минька ни думал, ничего такого придумать не мог.

Аксюша нашла в траве улитку-катушку.

— Минька, а тебе известно — улитка имеет глаза и уши?

— Выдумки.

— Нет, не выдумки. В сильную жару закрывает раковину створкой и спит. А читать следы ты умеешь?

— Какие следы?

— Ну, всякие. В лесу.

— Не знаю. Не приходилось.

— А я могу. И волчьи, и барсучьи, и лисьи. И сусликов умею ловить волосяной петлей.

— А кто тебя научил сусликов ловить?

— Сама научилась. Минька, а у меня есть открытки с видами Ленинграда. И Ростова. Там завод «Сельмаш» комбайны делает. Интересно, что это за машины такие? Я всегда мечтаю о других городах, а то и просто воображаю что придется. Могу закрыть глаза и думать крепко-крепко — так думать, что начинаю видеть все, что захочу.

Захочу — поплыву на пароходе среди высоких волн, поскачу на лошади степной или пойду куда-нибудь на пастбище, где удода кричат.

Аксюша закрыла глаза. И так сидела, вся пронизанная солнцем.

— Колеса бьют по рельсам. Ветер дует в открытые окна. Грохочут мосты, семафоры подняты. Еду я на Дальний Восток. Жить там интересно и опасно. На КВЖД нападают маньчжурские бандиты — хунхузы — и русские белогвардейцы, корабли со всего света причаливают, золото в ручьях водится. В камышах леопарды сидят, змеи на лианах качаются. А леса такие густые, что без топора не пройдешь, без компаса заблудишься.

Минька приподнялся на локте, смотрел на Аксюшу.

У него самого расширились зрачки. Даже завидно стало, что это Аксюша так здорово говорит, а не он.

— В океане моржи плавают, за камнями осьминоги прячутся — со щупальцами по три метра. Зацапают — не вырвешься. — Аксюша открыла глаза. — Минька, а ты стрелял из ружья?

— Нет, не пробовал.

— А я стреляла. Ватин Гриша давал, из винчестера. Только у меня еще очень плохо получается. Я волнуясь и дергаю спусковой крючок. Гриша говорит — привыкну, не буду дергать. Я и ствол чистить умею и затвор смазывать. Если поеду на Дальний Восток, на КВЖД, обязательно там белогвардейца или хунхуза выслежу и подстрелю.

— Захочу, Борис тоже ружье купит и научит стрелять, — с некоторой обидой сказал Минька.

— Захочешь — и купит?

— Конечно.

— Это хорошо, когда тебя так любят.

На тропинке к кургану показался Ватя. Размахивал руками, в которых держал по голубю.

— Купил, Минька, купил!

Красный и потный, Ватя взобрался на вершину кургана.

— Вот, клинтуха купил и вяхиря. Торговался, даже в горле что-то треснуло. За тобой какого оставить? Искал, искал тебя. Гопляк говорит, с Аксюшкой на курган полез. Ну, какого возьмешь?

— Бери, Минька, вяхиря, — сказала Аксюша.

Минька принял из Ватиных рук голубя и почувствовал, как о ладонь ударилось птичье сердце.

— Ну, пошли, что ли, в голубятню посадим, — сказал Ватя.

Все трое начали спускаться с кургана.

Глава VI

ЕЩЕ ОДИН ВЕЧЕР

Вечером бабушка и дед собрались в гости к соседям — поиграть в стукалку на копейки.

Дед снял клеенчатый фартук, подстриг ножницами усы и почище отмыл руки от сапожной пыли и ваксы в керосине с тертым кирпичом.

Бабушка, надрывая поясицу, сама выдвинула тугой ящик у комода, вынула из него коробочку из-под ландрина с медными деньгами и гарусный полushалок с кистями. Кисти у полushалка расчесала гребешком и побрызгала духами собственного изготовления, которые составляла из гвоздик и настурций. Гвоздики и настурции сохранялись в спирту, и спирт приобретал их стойкий запах.

Поиграть в карты, в стукалку, было бабушкиной страстью.

Когда к бабушке шли взятки, она молодела от удовольствия — счастливым и промеж пальцев вязнет. Когда взятки не шли — огорчалась и замолкала. Обвиняла в неудачах партнера. Заставляла для «везучести» или посидеть на картах, или поменяться местами, или тасовать карты левой рукой.

Еще нравилось бабушке гадать на картах: коли сойдется — никто в семье не захворает, цены на базаре не вздорожают. А коли не сойдется — с кем-нибудь из близких может случиться болезнь, а цены на базаре уж непременно вскинутся.

В этот вечер, когда дед и бабушка ушли к соседям, Минька вытащил из сарая штангу и, по обыкновению, приступил к занятиям: жим, рывок, толчок.

От каждодневной гимнастики мышцы у Миньки на руках и груди налились упругостью, в движениях выра-

боталась резкость, быстрота. Появилось ощущение веса и силы тела.

Минька выполнял предписания Бориса и чрезмерно не увлекался штангой, а больше налегал на гимнастику и дыхательные упражнения: в жизни надо быть не только сильным, но и проворным, ловким.

У калитки, по обыкновению, собрались на вечерницу Гриша, машинист Прокопенко и все остальные с балалайками и мандолинами.

— Эй, Борис! — постучали они в калитку. — Выходи!

Минька подошел к калитке, вынул из запора шкворень, открыл.

— Бориса нет. Новый фрезерный станок налаживает.

Напротив калитки, под акацией, уже осыпавшей спелые цветы, стояла Люба. Как всегда, гордая и одинокая.

Глава VII

ПОЛОСКА ИЗ УЧЕНИЧЕСКОЙ ТЕТРАДИ

Пашка работал трамвайщиком — вагоновожатым. Водил по улицам старенький бельгийской фирмы трамвай с полотняным козырьком от солнца и выгнутой, как гитарой, дугой.

Мальчишки подкладывали под колеса медные пятаки, чтобы их расплющило для игры в «битку».

Он всегда видел эти пятаки на рельсах, будто осенние листья, и стоявших поодаль нетерпеливых мальчишек. Пятаки он мальчишкам плющил, потому что сам только вышел из мальчишек.

В свободные от работы дни Пашка-трамвайщик отправлялся в Алушту.

Он любил море, а в Симферополе моря не было.

Отправлялся с вечера и шел ночью через горы сорок километров, чтобы к утру быть у моря.

А в следующий вечер проделывал обратный путь и утром был уже на работе в трамвайном депо.

Иногда его подвозили попутные машины, но это случалось редко. Машин в ту пору было очень мало.

Вместе с Павлом увязывались ребята — Минька, Ватя, Гопляк, Лешка Мусаев и Аксюша.

Шли через развалины древнего города, мимо курганов и селищ, мимо Института сельского хозяйства, каменоломен и пещер Кизил-Коба. Сокращая дорогу, пробирались сквозь заросли шиповника и ежевики — все выше в горы.

Над головой горели синие звезды, а под ногами — синие капли росы. Казалось, каждая звезда находила на земле свою каплю и зажигала ее синим светом.

В тополях, в самых верхушках, прятался ветер. Он шевелил листья, и они тоже вспыхивали синим огнем звезд.

Запускали свои деревянные шестеренки цикады. И крутили их, и крутили...

В полнолуние все вокруг заполняла луна. Ее желтая лампа висела над горами.

Капли росы переставали быть синими, становились желтыми. Они не принадлежали больше звездам. Они принадлежали луне. Листья тополей тоже вспыхивали желтым. Они тоже принадлежали теперь луне.

У родников, где в глубоких воронках тихо плескалась вода, Павел с ребятами устраивали отдых. Ели бублики с повидлом, которые брали из дома. Запивали их родниковой водой.

И потом снова в путь. Снова звезды, луна и дорога.

На Ангарском перевале было холодно. Начинался рассвет. Блекли, выцветали звезды, прикручивала фитиль луна. Где-то далеко над морем солнце начинало день.

И ребята спешили навстречу этому дню, навстречу морю. Оно было видно отсюда, с Ангарского перевала. Оно было между двумя кипарисами. Не толще полоски из учебной тетради.

День у моря. Каждый проводил его, как ему нравилось.

Аксюша собирала ракушки и мастерила из них бусы.

Минька и Ватя сидели на камнях. Наблюдали, как вдалеке играют маслянистые дельфины и летают черпопосые крачки и утки-галогазы.

Гопляк учился плавать «на выдержку» и старался не отстать от Павла.

А Лешка Мусаев лежал в прибое и колотил пятками по воде. Ему нравились брызги.

Потом все катались на большой яхте с красными якорями. Яхта принадлежала армянину Саркизову.

Павел, Минька, Гопляк, Ватя и Лешка Мусаев устраивались впереди. Узкий нос яхты окунал в воду красные якоря. Под водой они делались похожими на глаза рыбы.

Аксюша любила сидеть на корме, где пахло горячим парусом. Она опускала в море ладонь и смотрела, как сквозь пальцы бежали ручьи пены.

Покатавшись на яхте, опять купались и ждали, когда пройдут разносчики пирожков с круглыми жаровнями на ремешках.

Разносчики ходили босые вдоль прибоя. От жаровень тянуло луковым дымком, бараньим салом.

А кто хотел, мог сфотографироваться. Фотографы с аппаратами тоже ходили босые вдоль прибоя.

Аппараты — большие, деревянные, с медными колпачками и клизмочкой на шнурке. Ножки штативов забрызганы морем, облеплены водорослями.

Совсем маленькие дети хлопали по воде наволочками, отчего наволочки надувались пузырями. Бери такой пузырь и плыви. Удобно.

Лешка Мусаев решил, что в следующий раз принесет наволочку и уплывет на ней вместе с Павлом и Гопляком.

Солнце уходит от моря в горы.

Пора и Павлу с ребятами уходить в горы, в Симферополь. Утром он должен быть в трамвайном депо.

Обратный путь особенно тяжелый.

Ребята устали.

Павел идет последним, следит за каждым из ребят. Ругает себя, что опять взял их, что теперь вот морока с ними: идут и засыпают на ходу. Того и гляди, свалятся с обрыва или стукнутся головой о дерево.

Павел заставлял ребят умыться у родника. Сон как будто оставлял их. Но ненадолго. Вскоре опять начинали спотыкаться и чуть не валились с ног. В особенности Лешка Мусаев. Павел легонько стучал его по затылку, и Лешка открывал глаза, просыпался.

Над головой опять горели звезды или желтая лампа

луны. Крутили деревянные шестеренки цикады. От этих шестеренок спать хотелось еще сильнее.

Обратный путь занимал гораздо больше времени. Ребята едва шли. У древних развалин Павел их оставлял и спешил в депо. Иначе мог опоздать на работу. Теперь ребята сами дойдут домой.

Ребята домой доходили, но не сразу.

Они окончательно засыпали на ходу и, сонные, теряли друг друга в городе. Бродили по улицам, не сознавая, где они и что с ними. Откуда и куда идут.

Потом просыпались: Аксюша — где-нибудь у здания почты, Лешка Мусаев — на базаре или возле стоянки извозчиков, Гопляк — в городском парке, а Минька и Ватя — где-нибудь на вокзале.

Когда наконец добирались до своей улицы, то все прошедшее казалось сном — море, дельфины, яхта, рассыпанные в пути бусы из ракушек...

А может быть, это и был сон?

Нет, если лизнешь себя, то почувствуешь вкус соли.

Глава VIII

СКЛЕП ПРЕВОДИТЕЛЯ ДВОРЯНСТВА

У Миньки во дворе на высокой треноге укреплен артиллерийский стереоскоп.

Минька, Ватя и Аксюша по очереди взбираются на ящик и прикладываются к стереоскопу — смотрят на бахчи-эльские сады, в которых зреют тяжелые груши «беребой», «любимица клаппа», «сен-жермен», анатолийские вишни, тонкокожие мясистые персики, «курджахи».

Линзы стереоскопа все приближают. Груши, вишни и персики висят у самых глаз. На порочных видны даже червоточины.

Стереоскоп поворачивают на Цыплячьи Горки, на плантации или конечную трамвайную остановку. Минька направил его на церковь и кладбище.

Церковь была с просевшими ветхими углами, с обкрошившимися сбитыми карнизами и ступенями. Колоколов не имелось: их заменяли подвешенные на веревках обода и автомобильные колеса.

Неподалеку от церкви, перед входом на кладбище, сидел на бревне, прогревая ревматические суставы, поп Игнашка. В бархатной скуфейке, в зажиренном подряснике, маленький, кривобокий.

Местные власти давно уже хотели выгнать Игнашку и закрыть церковь, но за него заступились старухи и упросили власти оставить им Игнашку: церковь его на окраине города, никому никакого беспокойства и никакой агитации.

Старухам уступили, но Игнашку предупредили, чтобы молился за Советское государство и пролетарское войнство, а не за небесных угодников и отживший режим. Чтобы иконы в церкви оставил с ликами героических русских полководцев — Александра Невского, Дмитрия Донского, князя Игоря, а всем прочим апостолам устроил «со святыми упокой».

Вдруг Минька в глубине кладбища, среди кустов сирени, там, где были склепы, увидел в стереоскоп двух людей, которые вели себя странно.

Один возился с замком у склепа бывшего дворянского предводителя.

Другой оглядывался, следил, чтобы никто не показался поблизости.

На земле стояла соломенная плетенка с хлебом, бутылками, копченой пороссячьей ногой и лежал узел с тряпьем.

— Ну чего ты! — затеребила Аксюша Миньку. — Присох, что ли, к трубе! Хватит, моя очередь!

— Потерпи!

«Может быть, Курлат-Саккал с кем-нибудь? — думал Минька, не отрываясь от окуляров. — Но эти оба рослые, худые, а отец говорил, что Курлат-Саккал коренастый и сутулый. Тогда кто же это и что им надо в склепе? Грабители? Но грабить уже нечего. Богатые склепы давно разграблены. А что замки на них, так это поп Игнашка повесил для «ублаговторения покоя усопших», хотя от усопших в склепах тоже ничего не сохранилось. А может, эти двое обнаружили ход в подземную келью, где, судя по сплетням старух, сын дворянского предводителя прятал колокола от Игнашкиной церкви, доверху насыпанные николаевскими золотыми пятирублевками?»

Открыв замок, первый человек подал знак второму. Тот подошел, и оба исчезли в склепе.

Между неплотно сходящимися половинками дверок просунулась рука и нацепила на кольца замок: будто в склепе никого и нет.

Поп Игнашка продолжал сидеть на бревне, безмятежно вытянув ноги в фетровых полусапожках.

Минька слез с ящика и, пока Аксюша, нацелив стереоскоп опять на сады, наслаждалась фруктами, отозвал Ватю.

— В склепе дворянского предводителя кто-то скрывается.

— Да ну?

— Сам только видел. Двое. Замок открыли — и туда. Один все время оглядывался, чтобы не засекли. Корзина у них с едой и узел с барахлом. Что, если Курлат-Саккал?

— Так и будет тебе бубновый атаман днем по кладбищу разгуливать, когда его милиция ищет! Цыгане краденое прячут.

— Тоже похоже, — кивнул Минька. Про колокола с золотыми пятирублевками умолчал: как бы Ватя на смех не поднял.

— Предлагаю, — сказал Ватя, — установить за склепом наблюдение. Только от Аксюшки надо отделаться. Хотя она и друг, но все-таки женщина. Может растрепать.

Минька согласился, что доверять Аксюшке тайну не следует.

Отделяться от Аксюши не пришлось — она сама заторопилась в город, в лавку за пивными дрожжами, куда еще с утра ее посылала мать.

Минька и Ватя посменно начали вести наблюдение. Из склепа никто не показывался.

Игнашка продолжал торчать на бревне, но вскоре зевнул, обмахнул рот крестным знамением и, заваливаясь на кривой бок, пошел в церковь.

Минька и Ватя устали и прекратили наблюдение. Договорились, что история со склепом будет их личным делом. Ватя придумал даже такое: как только удастся заметить в стереоскоп, что цыгане ушли из склепа, пойти на кладбище и поглядеть, что они укрывают.

— А замок? — сказал Минька.

— А отмычки на что?

— Ну ладно.

— А теперь, хочешь, птенцов поглядим?

Ребята пошли к Вате на голубятню.

Влезли к гнездам.

У Гришиных чугарей вылупились птенцы. Они были слепыми, покрыты редкими волосками. Минька захотел потрогать птенцов, но голубиха накрыла их крыльями.

— Давай наших выпустим,— сказал Ватя.

— А не улетят?

— Уже спаровались, скоро гнездиться начнут.

Ватя опустил у голубятни решетку, но клинтух и вяхирь не хотели покидать голубятню. Пришлось выгнать. Они вылетели и уселись на печной трубе. Минька свистнул, а Ватя громко стукнул решеткой.

Голуби взметнулись, начали набирать высоту.

Ребята едва дождались следующего дня и вновь направили стереоскоп на кладбище.

Дед сидел в тенечке палисадника за низким сапожным столом. Насадив башмак на колодку, набивал косячки. Изредка переставал стучать молотком, вынимал изо рта деревянные шпильки, которые держал наготове, спрашивал у ребят:

— И что вы крутитесь с этим биноклем, как рысак по ристалищу? Шли бы на Салгир, искупались. А то голубей бы покормили.

— Изучаем окрестности, дед,— отвечал Минька, чтобы только что-нибудь ответить.

— А голубей нужно кормить по расписанию,— говорил Ватя.

Когда наскучивало следить за предводительским склепом, ребята переключались на попа Игнашку.

Поп Игнашка вместе с кладбищенским сторожем Ульяном вздул самовар. Значит, у Игнашки или святая вода кончилась и он кипятит новую, или будут крестины и воду греют для купели. Если для купели, то опять появится какой-нибудь Сысой или какая-нибудь Фелицата. По вредности Игнашка всегда нарекал косноязычные имена — Поликсена, Манефа, Аристарх.

Труба у самовара часто падает. Игнашка сердится, плюет на пальцы, чтобы не ожечься, хватается трубу и снова прилаживает.

Самовар закадил, да прямо на церковь. Грешно коптить храм. Игнашка отвернул трубу, а дым опять закурился на церковь. Игнашка и Ульянов — хромые, тщедушные — потащили самовар на другой конец усадьбы.

Сели на приступочке возле кладовки. Устали. Разинули беззубые рты, дышат.

Продышавшись, Ульянов закрыл рот и полез на колокольню: он по совместительству звонарь.

Игнашка встряхнулся, прибодрился и пошел в храм возжигать свечи и лампы.

Ульянов забренчал в обода и автомобильные колеса, созывая прихожан к молитве.

Ребята наблюдали до тех пор, пока Минькина бабушка не вышла во двор и не сказала Вате:

— Ты что же, обучатель, прыгаешь дроздом на палочке, когда время заниматься?

— А вы, бабка Мотря, политграмоту приготовили?

— Сготовила. И цифирь тоже.

Друзья прекратили наблюдение и унесли стереоскоп в сарай. Ватя собрался бежать домой.

— На что тебе? — удивился Минька.

— Надо.

Минька решил пойти поглядеть, как это Ватя занимается в ликбезе с малограмотными.

Дед не выдержал и сказал вслед бабушке, которая отправилась в ликбез с тетрадью, книжкой и бутылницей домашних сажевых чернил:

— Поплелся школяр!

Минька устроился под окном класса, где должны были проходить занятия. Через открытое окно все было хорошо видно и слышно.

В классе висел плакат: «Грамотный — обучи неграмотного (Ленин)». Висели потрепанная, клееная-переклеенная географическая карта, таблица для счета, печатные буквы, написанные углем на картоне, листки с расписаниями занятий.

Ватя вышел вперед, на учительское место, к фигурному ломберному столику со вздрагивающими от малейшего прикосновения хилыми ножками. Столик, очевидно, был реквизирован у буржуазии и по случайности попал в школу.

Ватя, против обыкновения, был в ботинках — истер-

тых, продранных, с разноцветными шнурками, но в ботинках. Минька теперь догадался, для чего Ватя бегал домой.

В классе собралось девять старушек, повязанных белыми головными платками. Концы у платков были похожи на заячьи уши, настороженные и внимательные.

— Итак, граждане трудящиеся, занятия на сегодня считаю открытыми,— солидно сказал Ватя и прошелся взад-вперед у доски.

«Форсу-то сколько! — удивился Минька.— Башмаки на скрипók настроил».

Ватины башмаки громко скрипели: один — фистулой, другой — басом. Для этого Ватя подложил в них лоскуты кожи, вымоченные в уксусе и посыпанные серой. Тогда создавалось впечатление, что башмаки недавно были новыми и что сшиты из «вальяжной мануфактуры».

— Гражданка Пелагея Христофоровна,— позвал Ватя,— идите к карте.

— Ох ты, нечистая сила! — пробормотала Пелагея Христофоровна, скоренько наложила на себя крест и пошла к карте.

— Покажите, где расположен город Ленинград. Да не пальцем показывайте, а палочкой-указкой.

Пелагея Христофоровна взяла со стола палочку-указку, отчего столик вздрогнул и затрясся мелким бесом, вытерла ладонью взопревший лоб, начала искать на карте Ленинград.

Искала долго, напряженно дышала, морщила лицо и, когда наконец нашла, торжественно и прочно уставила в него указку.

— А что вы можете рассказать о Ленинграде, о пролетарской революции?

— Да ничего. Я ж в нем не была, в Ленинграде.

— Но ведь я задавал прочесть в книжке.

— Не успела. Бочки в Салгире замачивала. Скоро капусту солить, а бочки текут. У мамки-то небось тоже бочки текут?

— Текут. Сейчас, Пелагея Христофоровна, не об этом разговор.

Ватя поскрипел ботинками и вызвал Дарью Афанасьевну.

Дарья Афанасьевна, спотыкаясь на каждом слове, буд-

то слово слову костыль подавало, начала рассказывать о штурме красногвардейцами Зимнего дворца, о декретах о мире и земле, о пароходе «Аврора».

— Не пароход, а крейсер, — поправил Ватя.

— Ну, крейсер, — согласилась Дарья Афанасьевна.

Когда она что-нибудь забывала — память-то, люди милые, не мешок: положил да завязал, — Мишкина бабушка подсказывала.

Это было до того смешно, что Минька зажимал рот ладонью, чтобы не рассмеяться. Ватя отводил глаза в сторону. Делал вид, что не замечает подсказок.

Потом он попросил бывшую келейницу тетю Нюшу рассказать о рабочих отрядах, которые посылались в деревни для подмоги крестьянам.

Тетя Нюша приступила к рассказу и тут же вспомнила, что недавно в деревне Катерлез кулаки обстреляли из обрезов тракторную колонну. Старушки завздохали, зашморкались. Ватя счел нужным вмешаться и сказать, что скоро с кулаками будет покончено.

Минька слушал Ватю и диву давался: откуда у Вати что бралось! «Не хуже нашего деда выступает, — подумал Минька. — Не напрасно бабушка про Ватю говорила: чего языком не расскажет, пальцами растычет».

Потом был диктант. Ватя опять расхаживал по классу, скрипел башмаками и диктовал из букваря:

— Ам, сам, сом. У сома ус. Сом с усом. Усы. Крысы.

— И куда тебя понесло! — возмутилась Пелагея Христофоровна. — Нешто можно чернилами за твоим языком угнаться.

Ватя сбавил скорость:

— Уши, ужи. Жили, шили. Ух, пух, лопух.

— Ты бы меня по старости с тягла спустил, — откладывая перо, сказала тетя Нюша. — Читать я выучусь, а писать пусть внуки за меня учатся. Не пишет оно у меня, перо твое. То с него льется, то соломы нацепит и тянет, загибает.

— Вы опять, тетя Нюша, панику разводите: все перо в чернила суете, а я вам сказал — до половины нужно. И не давите на него кулаком, а пальцем прижимайте.

Ватя подошел к тете Нюше, взял перо и показал, как надо писать.

И вновь началось:

— Осы. Босы. Вор. Сор.

Когда диктант закончился, Ватя собрал тетради. Повел беседу о боге. Бог — это поповская брехня, и сроду бог не водился ни в небе, ни на земле. И что в богоявленную ночь небо не открывается и никто сверху на землю не глядит. И что разные Евдокии-свистухи и Юрии-вешние, ленивые сохи, к урожаю на хлеб никакого отношения не имеют. И что святой Егорий не ездит на белом коне по лесам и наказы зверям не раздает. А звери сами по себе живут. И если бы даже такой Егорий к ним ездил, то они давно бы его съели вместе с белой лошадью. Так что все это чепуха на постном масле, Игнашкины выдумки.

Старухи слушали Ватю, но некоторые роптали, что и без того сегодня, по причине ликбеза, пропустили обедню и что Ватя сверх меры богоборствует, на Игнашку напраслину наводит.

Но Ватя не унимался, распекал святых дев и апостолов. И еще Ватя сказал, что римский папа Пий XI организовал крестовый поход против Советской власти. Вот она, мировая буржуазия! (О Пие XI Ватя прослышал от Минькиного деда.)

Старухи кивали, соглашались с Ватей в отношении мировой буржуазии и Пия XI где-то там, в Риме. Но, когда Ватя вновь затронул Игнашку, надулись, как мыши на крупу: Игнашка свой, не римский, живет под боком, и какая из него мировая буржуазия, когда он в лохмах ходит!

Поговорив о боге, приступили к занятиям по арифметике, цифири.

Солнечное утро. Ребята возле стереоскопа. Ватя сменил у окуляров Миньку, но тут же поманил его.

— Уходят, вижу! Замок запирают. Один в пиджаке и в мягких сапогах с долгими голенищами, другой — в блузе и тоже в таких сапогах. И серьга, наверное, в ухе у каждого болтается. У цыган это уж манер такой, чтобы серьги. Уходят в степь. Через забор махнули.

— Неужто Игнашку боятся?

— Народ сейчас потянется на молитву. Ну как, пойдем на кладбище?

— Конечно.

Ребята бросили стереоскоп посреди двора и выбежали на улицу.

У Вати в кармане было несколько старых ключей и отмычек, нарубленных и расклепанных из толстой проволоки. У Миньки — стамеска как холодное оружие и фонарь с батареейкой.

Возле пекарни Аргезовых встретили Аксюшу. Она покупала крендели с патокой.

— Куда это вы мчитесь?

Ватя на ходу крикнул:

— К Игнашке кофей пить!

— Нет, правда?

— Ей-богу!

— Погодите, и я с вами!

— Некогда, Аксюша! Кофей стынет!

Бежали до кладбища что было сил. Обгоняли старушек, которые болезненно напрягались, восходя на Цыплячьи Горки к храму.

На кладбище было жарко, земля расплзлась, расстрескалась. В неподвижном воздухе, над зарослями туй и петушков, столбиками висела мошкара.

Многие могилы осели, и на их месте образовались сыпучие ямы, куда сползли надгробные плиты. Кое-где у крестов стояли консервные банки с букетиками полевых цветов.

Минька пробирался первым.

— А если они вернулись? — остановил друга Ватя.

— Струсил?

— Нет. Но ведь могли они вернуться?

Что-то прошелестело в траве. Ребята примолкли.

— Ящерица, — сказал Минька. — Или желтобрюх.

К склепу предводителя подошли с предосторожностями. Вглядывались в тени. В могильные ограды. В сухие деревянные кресты. Прислушивались.

— Пока буду ковырять замок, побудь на стреме, — сказал Ватя и приложился ухом к дверцам склепа: тихо.

Достал ключи и отмычки. Замок тяжелый, кованый. Ватя вставлял в скважину ключ за ключом, крутил, нажимал, дергал — пружина не поддавалась.

Ватя устраивал передышку. Хрипловатым от волнения голосом спрашивал:

— Никто не идет?

— Да нет же.

Перепробовал Ватя и все свои проволоки. Бесполезно.

— Ну вот,— огорченно сказал Минька.— Липовые у тебя отмычки.

— А ты погляди,— оправдывался Ватя, обтирая о штаны ржавчину с пальцев.— Это не простой замок, а репчатый, амбарный. Он с потайкой. Откуда я знал!

— А если камнем?

— Крепкий. Не расшибем. Да и они увидят и смоятся.

— Это точно — смоятся.

— Минька! Дуем в церковь!

— Для чего?

— У Игнашки ключи от всех склепов. Стянем и откроем.

Среди тополей как будто мелькнула косыночка, повязанная рожками.

— Неужто Аксюшка следит?

Ребята осмотрелись — нет, вроде померещилось.

Служба в церкви началась. Из распахнутых дверей слышались немощный, пресекающийся дискант Игнашки: «Зряче на высоту твою...» — и хриплые подвывания лабазника Матюхи, который выступал за дьяка: «Помилуй мя, исцели душу мою».

Ватя и Минька вошли в церковь.

Стены были убраны большими иконами-людницами, на которых угодники изображались компаниями, оптом, и иконами-маломерками, осьмериками красного пошиба, на которых угодники были нарисованы в розницу. Носы у всех угодников были одинаково длинные и постные — очевидно, от их иноческого жития в «немощи и скорбности».

Самодельные, горбатые свечки пускали по храму сальную копоть. Зеленые сивушным пламенем дышали на киоты лампы и светники, висевшие на белых лентах и оловянных цепочках мелкого набора.

— Ты протискивайся к окошку,— зашептал Ватя Миньке.— Справа последнее — там ящики, а в ящике ключи.

— А ты?

— А я отвлеку Игнашку. Я для него как гвоздь в стуле. Увидит — с глаз не отпустит.

Минька кивнул. Начал пробираться между старухами к окну.

— Сопризнасущая... — скрипел Игнашка.

— Человеческое естество, — подхватывал хор певчих.

— Владычица наша, — хрипел, надсаживался Матюха и сыпал искрами, встряхивая кадило.

Минька не спешил проталкиваться к окну, чтобы не быть слишком заметным. Остановливался, смотрел на иконы, стараясь изображать на затылке, обращенном к Игнашке и Матюхе, смирение и послушание, хотя ему беспрерывно хотелось смеяться: он вспомнил слова деда — иконы и лопаты из одного дерева сделаны.

Случилось так, как предполагал Ватя. Игнашка заметил его среди старух и прилип глазами.

Лицо Игнашки сморщилось от негодования. К этому были причины. Ватя изощрялся в проказах над Игнашкой: то запускал в кастрюлю, где Игнашка хранил святую воду, циклопов, и, когда подслеповатый Игнашка кропил малярной кистью кулича прихожан, кое-кто из старушек доглядел прыгающих на куличах циклопов и ужаснулся «ино тварям, ино бесам»; то вдавливал в свечки оружейные пистоны, и свечки с громким пыхом взрывались, оплевывая воском лики святых; то на пасхе подсовывал яички с нарисованными языкатыми чертами.

Ватя прошел в первый ряд молящихся. Оказался перед самым поповским носом.

Игнашка держал в одной руке крест, а в другой камертон. Старался не сбиться с правильного голоса при переходе от хора к своему дискантовому запеву.

Минька достиг уже окна, где на подоконнике стоял картонный ящик с наклейкой: «Бакалея, макароны, 20 кг».

В ящике были сложены церковные документы, свечные огарки, бумажные цветы, кусочки просвирок, поминальные листы — синодики.

Минька присмотрелся и вскоре среди этого хлама нашел в ящике ключи на парчовой перевязи.

Боком придвинулся к подоконнику, вытащил из ящика связку с ключами и опустил в карман. В это же время Игнашка взмахнул камертоном над Ватиной головой.

Минька поспешил вон из церкви. Ватя тоже кинулся к дверям, врезаясь головой в животы молящихся.

Дзынь! Упала железная плошка с подаянием. Раскатились копейки.

Матюха смолк на полуслове, точно поперхнулся. Певчие тоже смолкли. Служба спуталась, сбилась.

— Босота! Скаженята!

Когда друзья были на порядочном расстоянии от церкви, Ватя спросил, заглывая воздух, как судак на песке:

— Стянул ключи?

— Стянул. А что у тебя желвак на лбу?

— Игнашка постарался. Я ему рожу хотел состроить. А он как стебанет камертоном в лоб!

Минька, давясь от смеха, сказал:

— Не все козе в лоб получать!

— Тебе смешки, а у меня в голове вроде хрустнуло даже.

— Слабак ты, Ватя. То у тебя в горле треснуло. Теперь в голове хрустнуло.

— Ничего. Я Игнашке панихиду сыграю. Он мой авторитет подрывает!

— Какой авторитет?

— Педагога. Я ему в самовар порошу насыплю!

Ключ к замку подобрали скоро. Дверцы пискнули застоявшимися петлями, растворились.

Из склепа подуло затхлой, придушенной сыростью.

Минька зажег фонарь. Начал спускаться по узким ступеням, которые становились все более отвесными и скользкими.

Ватя шел сзади, прерывисто дышал. Хватался за Миньку, чтобы не упасть. Батарейка была старой, и фонарь светил слабо.

Кончилась лестница. Ребята попали в сводчатую низкую усыпальню.

Глаза освоились с темнотой. Минька и Ватя увидели каменные с лепными украшениями постаменты, на которых прежде стояли гробы. Теперь на постаментах валялись кучи извести, перемешанной с остатками дубовых досок, обрезками репсовой тесьмы, изуродованными ржавчиной гвоздями. Известью производили на кладбище дезинфекцию.

Минька обвел лучом фонаря помещение — пусто, ободранно, неприятно.

— Может, назад подадимся? — толкнул Ватя Мишку в плечо.

— Погоди, вон еще ход.

И Минька направился к темному углублению в дальнем углу sklepa, сжимая в правой руке стамеску. Ватя пошел за ним. Это оказался коридор, который привел в следующую усыпальню.

— Тут, — сказал тихо Минька и остановился.

Ватя чуть не наскочил на него.

— Кто? — испуганно спросил он.

— Они тут живут.

Под лучом света видны были на полу свернутые на соломе одеяла, подушки. Валялись пустые бутылки из-под водки, окурки. Была набросана яичная скорлупа, грязная оберточная бумага, мочала, сухая кожица от колбасы.

Ребята все осмотрели, но ничего особенного не обнаружили — консервы, спички в пергаменте, спиртовка, чашки, ложки, мыло.

— Давай стены простучим, — предложил Минька. Он все еще рассчитывал на тайник, где спрятаны ценности.

Но Ватя торопился с возвращением:

— Цыгане — знаешь они какие. Лучше не попадайся. Изувечат!

Ребята выбрались из sklepa. Вдели в двери замок, защелкнули.

— А ключи как же? — спросил Минька.

— Положим, где взяли.

— Опять к Игнашке идти?

— Нет, зачем. В окно бросим.

Ребята пошли к церкви. Служба еще продолжалась. Подойдя к открытому окну, из которого веяло запахом свечного и лампадного перегара, они сквозь решетку бросили ключи на прежнее место, в макаронный ящик.

— Эх, — вздохнул Минька, — и всего-то делов — цыгане едят и водку пьют.

— А ты еще про Курлат-Саккала думал, — сказал Ватя.

Друзья медленно спускались с Цыплячьих Горок по тропке напрямик, через заросли дикого шиповника и хвоща.

Неожиданно столкнулись с Кецей. У Кецы была соломенная плетенка, нагруженная провизией.

Кеца отступил от друзей, хотел спрятать ее за спину.

Минька взглянул на плетенку: перетянутые бечевкой ручки, сбоку дыра, заплатанная бумазеей. Он где-то видел эту плетенку. Но где?

— Двое на одного! — визгливо закричал Кеца.

— Да на кой лях ты сдался! — ответил Минька. — Если понадобится, и один тебя разрисую.

— Фасонишь, да? Вы все дофасонитесь!

— Кто это — все?

— Узнаешь, когда надо будет. Найдется кто-нибудь посильнее твоего Бориса. — И Кеца, вильнув между ребятами, припустился к церкви.

— Что это с ним? — удивился Ватя. — Хоть он и бузовый пацан, но таким трусом никогда не был.

— А он и не трусил, — задумчиво сказал Минька. — Он из-за корзины убежал.

— Как это?

— Я тогда в стереоскоп видел у цыган эту корзину.

— Ну?

— Вот тебе и ну! А теперь ее Кеца тащит, и опять в ней хлеб, водка, папиросы.

— Побежали за ним!

— Что он, без мозгов? Он сейчас не пойдет, куда ему надо.

— Ты думаешь, это он им носит?

— Похоже.

— И угрожал как-то странно. Про Бориса говорил.

— Мы не должны бросать слежку за склепом.

— А может, в милицию заявить или Борису рассказать?

— Самим надо дознаться, в чем тут дело. И фактов у нас для милиции нет. Ну, улики.

— Самим оно, конечно, интереснее, — согласился Ватя. — И насчет фактов тоже правильно. Вот когда все разведем, тогда и припрём Кецу к стенке.

Глава IX

КУРЛАТ-САККАЛ

В доме только Минька и бабушка. С утра еще было прохладно и пасмурно. Натягивало дождь. Бабушка поставила кадушку под водостоком с крыши, чтобы набежала мягкая дождевая вода для мытья головы.

Минька проделал упражнения со штангой. Прополосал гряды на огороде. Вынес из дома вазоны с фуксиями, чтобы цветы помылись под дождем, и занялся выпиливанием лобзиком узоров из фанеры. Это — новое увлечение Миньки и Вати.

Бабушка поставила на примус вариться обед. Достала тетради и начала делать уроки по арифметике и письму.

Тучи сдвигались, уплотнялись. Облегли небо. Бурливые, тяжелые подминали слабые, обрывчатые, отжимали к земле. И те пластались над землей черными пугливыми птицами. Деревья и кусты выжидающе затихли. Листва напряглась, насторожилась.

На опустевшей улице слышалось, как хозяйки поспешно захлопывали окна и ставни. Втаскивали в сараи мангалы и совки с углем. Опускали подпорки и снимали с веревок подсохшее белье. Некоторые подвязывали в садах ветви яблонь и груш.

Бабушка тоже потребовала, чтобы Минька закрыл в доме окна и даже форточки: бабушка боялась грозы.

Она видела, как однажды молния стеганула через форточку по медному подсвечнику на комод и, свернувшись клубком, перелетела на печь, где и расшиблась о дублянку, в которой квасилось тесто. Ну, не сатанинская ли сила! Ведь этаким огневой клубок и человека уклонить может. Так и упокоишься прежде времени.

Со звоном толкнулся о землю гром. Вздогнули листья. Еще толчок, еще звон — короткий, оглушающий. Что-то обломилось в черепицах и посыпалось по крыше.

Метнулся ветер, вскинул на дорогах пыль, щебенку. И тут же загудел, завихрил ливень, обвальный, шумный. В окне напротив Минька заметил прижавшегося к окну Фимку: у Фимки любопытство пересиливало страх.

— Как бы опять нас не затопило, — сказала бабушка. Когда случались сильные тучевые дожди, с Цыпляч-

их Горок на Бахчи-Эль скатывалась одичавшая вспененная вода. Заливала дворы, палисадники, трамвайные пути. Иногда поднималась до метра.

Больше всех других дворов страдал двор Минькиного деда — он был крайним и в ложбине. Каждый раз после гроз бахчи-эльцы собирались выкопать отводную канаву, да все откладывали. И так оно и шло — от беды до беды.

Улицу затянуло дождевым сумраком, за которым потерялся, исчез Фимка. С лязгом промчался в город последний трамвай, чтобы не застрять под ливнем. Может, Пашка-трамвайщик?..

С Цыплячьих Горок устремились потоки воды, кружа на себе щепу, листья, птичьи гнезда, комья земли. Постепенно потоки слились в гремящее мутное половодье.

Минька видел, как двор быстро заполнялся вспененной водой. Она не успевала вытекать через сточное отверстие в заборе.

Потрескивала под напором воды дверь. Сквозь пазы в досках дверей вода потекла в квартиру.

Минька распахнул окно, прыгнул во двор, в воду.

— Куда ты? — завокнулась бабушка.

— Открою калитку!

Сделав несколько шагов и ощутив напор воды, Минька понял, что калитку, которую надо тянуть на себя против напора воды, ему не открыть.

Закричал бабушке, чтобы подала топор: оставалось одно — рубить ее!

Пробираясь вдоль стены дома и стараясь не оступиться, не уронить топор, Минька направился к калитке.

Гром не умолкая бил землю. Шумело половодье. Хворостинная огорожка у палисадника повалилась, вывернув по углам колья-держак.

Вершины кустов торчали над водой зелеными островками.

Минька добрался до калитки. Вода стремилась прижать его к ней. Он уперся о косяк ногой и начал рубить доски. Минька вкладывал в удары всю силу, но мокрые доски отшвыривали топор. Вода доходила уже до пояса.

Вдруг Минька почувствовал — кто-то с улицы нажимает на калитку.

— Отодвинь запор! — узнал он голос Прокопенко.

Минька отодвинул. Калитка подалась. На нее давили Прокопенко, Гриша и Ватя.

Минька отпрянул к забору, и вода через открытую калитку волной хлынула мимо него вниз по ложбине.

— В такой ливень калитка должна быть настежь,— сказал Прокопенко, когда вода совсем сошла со двора и Минька смог выйти на улицу.— Это Фимка углядел, что у вас наводнение.

— Фимка бесстрашный,— сказал Минька.— Гроза, а он у окна стоит.

Дождь затихал. Тучи разгрузились, посветлели. Опал туман. В окне опять был виден Фимка. Гриша и машинист Прокопенко ушли по домам.

Минька и Ватя остались вдвоем.

— Эти из города шли! — заговорил возбужденно Ватя.— Дождь лупит, а они идут. Им выгодно — все попрятались, никто не заметит. Опять какое-то барахло к предводителю тащили.

— Айда на кладбище! — предложил Минька.

Дождь все сбавлял и сбавлял, пока не превратился в редкий сеянец. Засветились промытые листья тополей, будто в сетях колотилась мелкая рыбешка. Очистилась от копоти и пыли черепица на крышах.

С Цыплячьих Горок спустился растревоженный дождем запах лаванды.

Минька и Ватя поднялись к церкви. Вода прорыла глубокие борозды, кое-где сорвала кусты, вывернула дерн, притащила с кладбища несколько крестов.

Возле церкви было пусто. На звоннице, на ободьях и колесах, сидели продрогшие вороны.

Ребята прошли на кладбище незамеченными. Соблюдая осторожность, подобрались к предводительскому склепу.

Стены склепа напитались водой, почернели. На дверцах висел замок.

Ватя заглянул в щель между дверцами. Темень — никого и ничего.

— И следов никаких,— тихо сказал Минька.— Ты, наверное, обманулся. То были не они.

— Нет, они,— упорствовал Ватя.— Не мог я обмануться.

Ребята начали обходить склеп, искать следы.

Неожиданно Минька сделал знак — не шуми! — при-

сел на корточки возле отдушины. Ватя опустился рядом.

Из склепа через отдушину доносились негромкие голоса. Разговаривали двое.

— Зря ждем.

— Не гунди.

— А ты уверен, что придет?

— Уверен. Сегодня она выходная. Кеца записку передаст: вроде Борис ей свидание здесь назначил.

— А вдруг донесет?

— Не донесет, чего кукуешь! Если откажется, получит бубнового валета. Тогда и уйдем к Янтановой балке. Кое-кто будет ждать. Иди сними замок, выгляни ее.

— Курлат-Саккал... — прошептал Минька.

— Это он Любу убить хочет! — вскочил Ватя. — Борисом заманивает. Ближе всех Ульян и Игнашка. Надо им сказать.

— Нет! — вскочил и Минька. — Может, это общая банда. Да и что они, хромые, против Курлат-Саккала сделают!

— А Кеца-то, Кеца!

— Бежим предупредим Любу.

Ребята, пригибаясь, побежали среди могил.

У Миньки стиснулось сердце. Он боялся оглянуться.

Добежали до церкви. Остановились. Спрятались под забором, чтобы не увидели из склепа, — мокрые, взволнованные, бледные.

— Минька, ведь они удерут.

— Не удерут. Ты карауль Любу, а я побегу к Борису. От него не удерут.

— Ладно, беги! Только ты скорее!

В проходной завода, когда Минька потребовал, чтобы немедленно вызвали Бориса, даже не расспрашивали для чего. По Минькиному беспокойному лицу было понятно, что Борис Миньке совершенно необходим.

Борис поспешно вышел в рабочей тужурке, обтирал тряпкой запачканные смазкой руки.

— Ты что? С бабушкой что-нибудь?

— Нет, не с бабушкой.

И Минька, сбиваясь, захлебываясь, рассказал Борису о кладбище, о Курлат-Саккале, о Любе.

Борис попробовал по телефону дозвониться в милицию, но не дозвонился. Тогда попросил дежурного вахтера пе-

редать в цех мастеру, что ему нужно отлучиться, а Миньке приказал:

— Беги в милицию.

— А ты, Борис?

— Я на кладбище.

Когда Борис подбежал к кладбищу, навстречу из-за деревьев вышел Ватя.

Борис спросил:

— Любу видел?

— Нет. Вдруг тропинкой прошла, а? Где стена проломана.

— Тропинкой... — Борис внешне был спокоен. — Оставься здесь и на всякий случай жди ее.

К предводительскому склепу Борис направился не по главной аллее, чтобы не спугнуть бандитов, а в обход через могилы.

Еще издали возле склепа заметил двоих — один стоял, другой наклонился. Тот, который наклонился, был Курлат-Саккал.

На земле у его ног кто-то лежал. «Люба!» — узнал Борис по платью.

Он метнулся к склепу, ломая кусты сирени. Курлат-Саккал услышал треск веток.

— А-а, вот так встреча! — сказал, отступая и что-то поправляя в волосах, которые были перетянуты тонкой тесьмой.

Напарник Курлат-Саккала, заросший, скуластый цыган, тоже отступил.

Борис подбежал к Любе, взял ее голову, приподнял. Глаза закрыты. На ресницах — холодные капли дождя. На щеке — влажные комочки земли, обрывки травинки.

Люба была убита в висок ударом кастета.

Борис вскочил, но тут же Курлат-Саккал нанес ему удар головой. Метил в лицо, но Борис увернулся, и удар пришелся в плечо. В волосах Курлат-Саккала, под тесьмой, был спрятан обломок ножа.

Тужурка у Бориса окрасилась кровью. Он ухватил Курлат-Саккала за руки, рванул к себе.

На Бориса сзади навалился цыган, но Борис стряхнул его.

Со стороны церкви донесся шум мотоциклетных моторов: приехал наряд милиции.

Цыган кинулся бежать.

— Куда? — прохрипел Курлат-Саккал. — Бросаешь Убью!

Цыган остановился. Склеп оцепляла милиция.

Борис с такой силой сжал Курлат-Саккала, что у того на лице посинели, вспухли вены.

По аллее спешили Минька, Ватя, спешили милиционеры и санитар. Цыгана схватили.

Санитар присел возле Любы. Расстегнул платье, послушал сердце. Потом выпрямился.

Ни один из милиционеров не смог разжать руки Бориса, чтобы отобрать полузадушенного Курлат-Саккала.

Но вот Борис сам разжал руки. Курлат-Саккал, как пустой мешок, мягко упал на землю.

Санитар хотел перевязать Борису рану на плече, но Борис отстранил его и, ни на кого не глядя, медленно пошел через кладбище в степь.

Минька бросился за ним:

— Борис!

Борис, не оборачиваясь, уходил в степь.

— Бо-рис!.. — в отчаянии закричал Минька.

Но Борис так и не оглянулся. Продолжал уходить.

Наступил вечер — сырой, хмурый. Небо было завалено тучами — ни луны, ни звезд. Над Бахчи-Элью тишина. У калиток и ворот — безлюдно.

У пекарни Аргезовых на камне сидел Минька. Ждал, когда вернется Борис. Но Борис не возвращался.

В этот день Минька понял, что у Бориса был в жизни человек еще важнее и значительнее для него, для Бориса, чем он, Минька-стригунок, елеха-воха! И что сам Минька в какой-то степени виноват в гибели этого человека и поэтому потерял Бориса. Потерял, может быть, надолго.

Минька сидел и не чувствовал холода камня. Здесь, на камне, и нашла его Аксюша.

— Ты чего сидишь?

Минька ответил не сразу:

— Жду Бориса.

Аксюша ничего больше не сказала и молча села рядом с Минькой.

СОЛНЦЕ, РАЗБИТОЕ НА КАПЛИ

Рассказ в середине повести

1

Когда-то я гонялся за этим в детстве: хотелось увидеть, где кончается дождь. Увидеть стену, которая поднимается от земли до самого неба и вся сделана из дождя. И чтобы из этой стены выйти к солнцу, к сухим листьям и к сухой траве, а потом снова войти в дождь, к мокрым листьям и к мокрой траве.

Кончается одно и возникает совсем другое.

И я гонялся за этим. Но никогда мне не удавалось в дожде добежать до конца дождя.

2

В моих руках черный руль. У моих ног черные педали. Я веду машину и слушаю дорогу. Дороги можно слушать, потому что каждая звучит по-иному — асфальт, бетон, грейдер, проселок, булыжник. Попадают еще и старинные дороги, выложенные красным кирпичом или деревянными плитками.

Когда устаю, я ставлю машину на обочину, снимаю с педалей ноги, голову кладу на руль и отдыхаю.

А дорога не смолкает, шумит колесами и автомобильными сиренами: это машины, которые обгоняют или идут навстречу, предупреждают о своем приближении.

Я отдыхаю, положив голову на руль. Дорога не мешает мне.

Если отдыхаю вечером, мимо пробегают огни фар: это тоже машины, которые обгоняют или идут навстречу. Но дорога не мешает: я привык и к сиренам и к фарами.

Белые таблички на километровых столбах. Они согнуты уголком. Сколько я проехал этих белых уголков!

Мои дороги — это встречи с людьми. Это рассказы, которые я потом пишу об этих встречах, об этих людях.

Я давно взрослый, мне уже скоро сорок лет, и, казалось

бы, детство и все, что было в детстве, забыто. Слово я проехал на шоссе дорожный знак с поперечной полосой, который означает, что действие всех предыдущих дорожных знаков отменяется, перечеркивается и начинается действие новых дорожных знаков. Они ждут впереди.

3

Это произошло под Чарозером. Вторые сутки я ехал на север. Дорога гудела булыжником. Когда я уставал, сворачивал, как всегда, на обочину, снимал с педалей ноги, голову клал на руль и отдыхал.

И вдруг под Чарозером совсем неожиданно впервые удалось достичь того, за чем гонялся в детстве: я доехал в дожде до конца дождя. Не добежал, а доехал.

Я выскочил из машины и засмеялся.

В плотных брезентовых брюках, в замасленной тужурке прыгал один на дороге и смеялся.

За прошедшие годы повидал я много всякого — искусственные моря, пыльные ветры, туманы, далекие и близкие грозы, но впервые увидел солнце и стену, сделанную из летящей на землю воды. Из этой стены можно было выйти к сухим листьям и к сухой траве, а потом снова войти к мокрым листьям и к мокрой траве. Кончается одно и возникает совсем другое.

Летящая вода разбивала солнце на мелкие капли, и солнце летело на землю — красное, синее, фиолетовое.

...Я достиг того, за чем гонялся в детстве.

Когда сел в кабину, чтобы ехать дальше, то в кабину сел не взрослый человек, а мальчишка. Ничего не было перечеркнуто.

Глава X **БАХЧИ-ЭЛЬ**

Зима затопила слободу грязью. Днем грязь липла к сапогам, а ночью застывала. Делалась синей. Это от иней и еще потому, что светила луна.

Делались синими и черепичные крыши, и окна в домах, и заборы, и деревья, и мусор в мусорных ящиках. И все это от инея, и все потому, что светила луна.

Утром синие черепичные крыши опять превращались в красные. Синие окна превращались просто в окна. Синие заборы — просто в заборы. Синие деревья — просто в деревья. Синий мусор превращался просто в мусор.

Оттаивала и синяя грязь и превращалась в черную, липкую и нудную. Чтобы пройти, надо было набить тропинки: первую тропинку набивали к колодцу, вторую — к сараям, потом — к булочной и продовольственному магазину, потом — к трамвайной остановке.

Ходили по тропинкам «следком», друг за другом. Когда уже очень налипало на сапоги, счищали грязь о скребок у любых ворот.

Каждое утро Минька поднимался с бабушкой затемно. Пока поднимались дед с Борисом и надо было садиться завтракать, он успевал слазить через забор к Вате и вместе с ним взобраться по лестнице на голубятню. Ватя задавал голубям корм, поил водой. А Минька устраивался на верхней ступеньке лестницы, смотрел на слободу.

Еще стояла над слободой луна, и черепичные крыши, заборы, деревья были синими. И умывальники-«нажималки», и прошлогодние стебли кукурузы, и топор, кем-то забытый на дворе, и бельевые веревки, и скребки для грязи у ворот — все тоже было синим.

Кто-то расплескал луну от колодца до порога дома: вечером пронес ведро с водой, и вода расплескалась и застыла брызгами.

Дерни бельевую веревку — и посыплутся искры, будто веревка привязана к самой луне.

Взмахни тем топором, который забыли на дворе, — и ты взмахнешь луной.

Открой сейчас форточку — и ты откроешь квадрат луны.

Опрокинь пожарную бочку — и ты опрокинешь луну.

Пробеги по твердой, еще застывшей грязи — и ты пробежишь по луне.

Минька любил Бахчи-Эль такой вот синей. Поэтому и вставать не ленился затемно, вместе с бабушкой.

А потом уже, когда сидел в школе, видел, как солнце превращало синюю Бахчи-Эль в обыкновенную. Синяя

Бахчи-Эль стекала каплями с крыш, с деревьев, с заборов. Лунные брызги превращались в простые лужи. Бельевые веревки — в бельевые веревки. Окна — в окна. Мусор — в мусор.

И уже надо было набивать в черной грязи тропинки — кому куда. Кому — к колодцу или сараю. Кому — в булочную или к продовольственному магазину.

А тем, кто отправлялся в город, надо было брать с собой щепку, чтобы счистить потом грязь с сапог: в городе асфальт, в городе сухо. Но в городе всегда только город, и никогда в нем не бывает синей Бахчи-Эли.

Когда-то на этом месте из крупных известковых плит была сложена мусульманская часовня — дюрбе.

Часовня давно развалилась, и крупные известковые плиты были разбросаны вокруг. Остались стоять только двери. Они были сделаны из железа, гладкие и высокие.

Никто теперь не смог бы открыть их или закрыть: они вросли, опустились в землю.

Около дверей всегда появлялись ранние цветы — подснежники, фиалки, распускался дикий шиповник, которым двери были густо оплетены.

Еще нигде никаких цветов не было, а здесь они уже зацветали.

Это происходило потому, что солнце накаляло железо и от него веяло теплом, как от плиты.

Но было и еще одно свойство у этих дверей: к ним притирались, «прилипали» камушки. Начнешь тереть камушек, и вдруг он «прилипнет». Не всякий, но с некоторыми это случалось.

Очевидно, двери обладали какими-то магнитными свойствами, и «прилипали» к ним только камушки, в которых оказывались крупинцы железа.

Чей камушек «прилипнет» — тому счастье. Камушек будет сохраняться на дверях до тех пор, пока его не сбросит ветром или не смоем дождем.

Ребята приносили горы камней — испытывали счастье.

Но кто постарше, те камни не приносили. Они просто сидели на известковых плитах и глядели на первые весенние цветы — подснежники, фиалки или шиповник.

Каждый по-своему искал счастье у закрытых, вросших в землю дверей.

Шанколини был керченским итальянцем. Возможно, предки его поселились в Керчи еще во времена генуэзских колоний. Так он говорил.

Шанколини торговал керосином. Железная бочка на колесах, мерные кружки, лейка, ручной колокольчик и старая кобыла Помпея, которая таскала бочку, — вот все хозяйство.

Для Помпеи рядом с бочкой лежало немного сена. Оно пахло керосином. Но Помпея привыкла к запаху керосина. Лежала еще соломенная шляпа. Это тоже для Помпеи, чтобы надевать во время жары. Шляпа тоже пахла керосином.

Шанколини приезжал в слободу, останавливался на дороге и звонил в колокольчик. Хозяйки бежали с бидонами и бутылками. Часто ждали его в степи. Если ждать наскучивало, оставляли бидоны и бутылки выстроенными в очередь и расходились по домам, чтобы прибежать потом, когда зазвонит колокольчик.

У кого не было с собой бидона или бутылки, тот оставлял камень: это значило, что занял очередь и появится потом с посудой.

Шанколини никогда не спешил, но хозяйки всегда бежали, торопились. Может быть, потому, что он звонил в колокольчик, или, как говорили хозяйки, «колоколил».

Часто за керосином посылали ребят. Они выполняли это поручение с удовольствием. Ребята любили Шанколини.

Он разливал по бидонам и бутылкам керосин и рассказывал о древнем Крме — о киммерийцах, таврах, скифах. Рассказывал, какие прежде были города — Мирмикея, Нимфей, Тиритака, Фуллы, Алустон. Что на берегах Керченского пролива было древнее государство, называлось Боспорским. Столицей его был город Пантикапей. Теперь это город Керчь. Оттуда он сам, Шанколини, родом.

Купцы Боспора торговали со скифами, покупали у них хлеб, шерсть, звериные шкуры. А продавали скифам вино, рыбу, ковры.

Скифы жили вот здесь, в степной части Крыма. Это па их родовой земле он, Шанколини, торгует керосином, и они, ребята, сидят, слушают его. А когда отправляются с Пашкой-трамвайщиком к морю, то идут через развалины древнего города. Это бывшая столица Скифии — Неаполь Скифский.

Льется в бидоны и бутылки керосин. Жует сено кобыла Помпея. На голове у нее соломенная шляпа. Сквозь дырки в шляпе торчат уши.

Керосин иногда выплескивается из бидона или бутылки и растекается на дороге темным пятном. Постепенно пятно делается все больше.

Шанколини, звякая лейкой и мерными кружками, продолжает рассказывать о Боспоре и Скифии.

Царем на Боспоре был Митридат Евпатор. Он подчинил себе весь Крымский полуостров, многие племена обратил в рабство.

И тогда поднялось восстание. Первое восстание рабов на территории нашей страны. Возглавил его Савмак. Он был скифом. Великий скиф, который повел рабов против царей.

Повсюду на скалах Савмак высекал изображение солнца. И на его щите тоже было нарисовано солнце. И на щите каждого раба. Да они и не были уже рабами, они были воинами: сражались и умирали с солнцем в руках.

Шанколини переставал разливать керосин. Он забывал о нем. Он размахивал своими тонкими коричневыми руками и не говорил, а зло кричал о полководце Ддиофанте. О том, что произошло больше полутора тысяч лет назад.

Это Ддиофант, полководец царя Митридата, напал на Савмака. Подло напал и погубил его. Он всегда был подлым, этот Ддиофант. Он погубил и самую красивую девушку Тавриды, дочь архонта. Она любила простого пастуха, а Ддиофант начал домогаться ее любви. Тогда девушка бросилась с высокой башни и разбилась.

Шанколини неожиданно смолкает. Так же неожиданно, как минуту назад начал кричать и размахивать руками.

Но ребята знают, что это не всё, что Шанколини еще что-нибудь расскажет о киммерийцах, таврах или скифах.

Или, может быть, про «Камни-Корабли». Они стоят в море недалеко от Керчи, словно парусная шхуна.

Шанколини рассказывает о них много всяких легенд. Даже читает песню Гомера из «Одиссеи», в которой будто бы говорится про эти керченские «Камни-Корабли». Как бог морей и «колебатель земли» Посейдон ударом ладони «притиснул» к морскому дну корабль, идущий в город Схерию. И застыли его белые паруса, превратились в каменные.

Шанколини читает Гомера тихо и мечтательно. Слова шелестят, будто волны:

В Схерию, где обитал феакийский народ, устремился
Ждать корабля. И корабль, обтекатель морей, приближался
Быстро. К нему подошел, колебатель земли во мгновение
В камень его обратил и ударом ладони к морскому
Дну основанием крепко притиснул; потом удалился.

Ребята сидят, слушают.

Потряхивает головой, жует сено Помпея. Где-то в степи свистят большие жаворонки — джурбаи. Высоко в небе водит круги сокол-чеглок: высматривает стрижей.

Шанколини никогда не спешит. Но все-таки наступает время, когда и ему надо ехать дальше.

Он перевязывает тряпкой кран у бочки, чтобы не капал, укладывает мерные кружки, лейку, колокольчик.

Прощается с ребятами.

Он уезжает дальше торговать керосином по скифской земле.

Глава XI

ПАРУС-ЛАДЕЙКА

Минька и Ватя делают змея.

Сварили из крахмала клей. Достали папиросной бумаги. Ватя стянул у матери из швейной машины катушку ниток.

Взяли тонкую драпку и составили большой прямо-

угольник. По углам укрепили нитками и заклеили сверху папиросной бумагой.

Получился змей-оконка. Действительно, он похож на окно с матовым стеклом. Теперь остался хвост. Из чего лучше сделать?

Минька взял ножницы и отрезал от простыни узкую полоску: превосходный длинный хвост.

Простыня чуточку уменьшилась, и край ее разлохматился, но, чтобы все это заметить, надо присмотреться. А бабушка если и присмотрится, то не теперь, а когда начнет простыню стирать.

Закончили оконку и вынесли ее на улицу: не терпелось испытать.

Ватя держал змея, а Минька отмотал нитку метров на десять. Он будет бежать впереди, а Ватя сзади с оконкой. Как только почувствует, что оконку подхватывает ветром, должен отпустить. А Минька должен бежать до тех пор, пока оконка не поднимется, не наберет высоту.

Пробегали по улице весь день, но оконка не поднялась: была тихая, безветренная погода.

На следующее утро Минька сказал:

— Я придумал, надо запускать с велосипеда. В любую погоду взлетит.

У Бориса был велосипед. Собрал он его из разных частей. Кое-что недостающее выточил на заводе.

Велосипед был высоким и зеленым, как кузнечик. На руле вместо звонка — старая автомобильная груша.

Вся улица пользовалась этим велосипедом-«кузнечиком».

Его брали, чтобы съездить на охоту, в магазин, в поликлинику.

Машинист Прокопенко однажды взял, чтобы быстро добраться до станции: он опаздывал, а ему надо было вести состав на Мелитополь. Велосипед погрузил на паровоз и уехал. Когда вернулся из Мелитополя, вернулся домой и «кузнечик».

Часто на нем катались и просто так, гуляли.

Минька и Ватя вынесли свою оконку. Вынесли и велосипед. Встали друг за другом. Минька — впереди с велосипедом и катушкой, Ватя — сзади с оконкой.

Минька впрыгнул на седло и надавил на педали. Ватя ринулся за Минькой.

Быстрее, быстрее... Один едет, другой бежит.

Оконка начала вырываться у Вати из рук. Он ее выпустил, и она устремилась вверх.

— Минька, полетела! — закричал Ватя.

Минька остановился, прыгнул с велосипеда и бросил его на дорогу. Катушка разматывалась под ногами.

Подожел Ватя. Он тяжело дышал, на зубах скрипела пыль.

Оконка набирала высоту, помахивала хвостом.

После оконки Ватя и Минька строили еще разных змеев — гуська, витуху, дордона. Приделывали к ним тарактушки и гуделки.

Запустишь такого змея — и слышно, как он гудит или тархтит в высоте.

А еще можно надеть на нитку бумажный листок, и его потянет вверх — к змею. Это называлось «письмо».

Иногда ветер отрывал змея и уносил его. Приходилось заново раздобывать катушки с нитками и хвосты.

...Это было грандиозное строительство: конструировали змея-ладейку.

Был собран сложный из драпки каркас. Оклеен не бумагой, а тонкой материей. Но самое главное — внутри укрепили свечу и накрыли стеклом от керосиновой лампы, чтобы не загасило ветром.

Стекло можно было снимать и надевать. Сделали специальные зажимы.

На простой нитке ладейку не запустишь — сорвется. Минька выпросил у деда клубок двухрядковой крученой.

Дед готовил ее для сапожных работ — скручивал, натирал воском. Долго не отдавал — жалел. Потом махнул рукой, отдал.

Ладейку решили запускать вечером, чтобы видна была свеча, как она горит.

Минька и Ватя маялись весь день: не знали, куда себя деть. Ладейка стояла посередине комнаты, напоминала старинный летательный аппарат.

Наконец наступили сумерки. Ватя и Минька осторожно вынесли ладейку. Ее тотчас окружили ребята.

Всех поразила свеча.

— Потухнет, — сказал Гопляк.

— Нет, не потухнет, — сказала Таська Рудых. — Она под стеклом.

— Стекло не поможет.

— Нет, поможет.

— А где хвост? — спросил Лешка Мусаев.

— Этот змей без хвоста.

Минька собрался идти за велосипедом. Подъехал на грузовике шофер Ибрагим.

Ибрагим сказал:

— Ладейка, значит. И свеча в ней. А ну давайте с машины запустим!

К змею привязали двухпрядковую крученую нитку, зажгли свечу и накрыли стеклом.

Минька взял клубок и залез в кузов. Ватя с ребятами подхватили ладейку. Она светилась, будто огромный парус.

Ибрагим тронул с места грузовик. Ребята побежали, а Минька начал потихоньку разматывать клубок.

Ибрагим прибавил газу. Машину потряхивало на ухабах, и Минька боялся, что выпадет из нее.

Ребят в темноте почти не было видно, светился только огромный парус в их руках. Минька наблюдал за ним, когда он пойдет вверх, и продолжал тихонько разматывать клубок.

И парус пошел, оторвался от земли.

Минька громко стукнул в крышу кабины. Ибрагим остановил грузовик.

Парус-ладейка уплывал все дальше и дальше от земли.

Глава XII

КОЕ-КТО

Минька отправляется к гранитному камню около пещеры Аргезовых.

Хозяйки похрустывают семечками, поджидая мужей и сыновей с завода и парфюмерной фабрики.

Минька увидел Бориса. Побежал навстречу, чтобы поскорее рассказать о том, что случилось дома. Бабушка хотела разложить пасьянс: как всегда выяснить, не захворает ли кто-нибудь или каковы будут цены на базаре.

Раскладывает она пасьянс и вдруг зовет Миньку:

— Карты одной не хватает. Ты не затерял куда?

— Нет. Я не трогал.

— Бубновый валет пропал.

Бубновый валет... Все, что казалось уже в прошлом, поднялось перед Минькой.

Бубновый валет... Неужели опять что-то начинается!..

И эти цыгане, которые недавно пришли и встали табором возле кладбища. Называют себя тишиганами: одеваются как татары, носят барашковые шапки и украшенные монетками фески. И говорят на татарском языке. Минька иногда понимает, о чем говорят: «абзар... кой... олан... атланьн...» (двор... деревня... мальчик... верхом...). По вечерам жгут костер, садятся в круг и, раскачиваясь, повторяют: «Ла — Иллаге — Ил — Алла».

Ибрагим сказал, что это дервиши-фанатики, что они будут твердить одну и ту же фразу о своем боге до бесконечности.

И так оно и было. Раскачиваясь все быстрее и быстрее, отчего их тени тоже раскачивались все быстрее и быстрее, дервиши-фанатики уже не просто твердили, а кричали о своем боге.

Поп Игнашка и кладбищенский сторож Ульян не выдержали, полезли на колокольню и начали колотить в оба и автомобильные колеса.

Ла — Иллаге — Ил — Алла!.. Бум-бам! Бум-бам! Ла — Иллаге — Ил — Алла!.. Бум-бам! Бум-бам!

Один бог против другого.

Из слободы прибежали перепуганные люди — уж не пожар ли случился! — и разогнали цыганских дервишей и сволокли с колокольни Ульяна и Игнашку.

Минька и Борис шагают по Бахчи-Эли. Как всегда, здороваются со всеми:

— Вечер добрый!

— Добрый вечер!

Светловолосые, кучерявые, кареглазые — удивительно схожие между собой.

Минька говорит:

— Борис, у бабушки из колоды пропала карта. И ты знаешь — бубновый валет.

— Знаю. Я его взял.

— Ты?..

— Да, Митяшка. Я.

- Значит, опять Курлат-Саккал!
- Нет. Другой, который называется «кое-кто».
- «Кое-кто»?
- Ну да.

И Минька вспомнил: ведь он и Ватя слышали разговор Курлат-Саккала с цыганом (цыган тоже, очевидно, был тишиганом), что если Люба откажется с ним уйти, то получит бубнового валета. А они уйдут к Янтаповой балке, где их кое-кто будет ждать.

И верно — кто же это такой «кое-кто»?

Минька погодя рассказал Борису о разговоре Курлат-Саккала с цыганом, а сам забыл. А Борис, значит, не забыл. Может быть, поэтому уезжал так часто на «кузнечике». Дома не почевал. С ним уезжали на велосипедах и его друзья с завода. А теперь вот — бубновый валет...

Борис сказал:

— Я тут пока ошибся. Карту положи обратно бабушке в колоду.

Жизнь для Миньки началась беспокойная: Борис что-то замышляет, но Миньке не говорит. Неужели перестал доверять?

Дни шли. Цыгане по-прежнему стояли табором возле кладбища. Жгли костер. Молились. Только не так громко. Однажды утром Борис подозвал Миньку, сказал:

— Вечером встречай обязательно, — и, улыбнувшись, добавил: — Все будет в порядке, Митяшка.

Вечером Минька сидел на гранитном камне. Вроде бы ничего и не происходило на Бахчи-Эли. Но Минька догадывался, что это не так.

На кладбище проехала крытая машина. Сквозь окопники в ней Минька успел заметить милиционеров. В конце улицы остановился мотоциклист. Достал инструменты и занялся ремонтом. Протрещал мотоцикл и на соседней улице и тоже смолк, остановился.

Откуда-то вынырнул Кеца, поглядел на Миньку. Предложил сыграть в ошики. Минька отказался. Кеца сел рядом.

Минька увидел Бориса. Он шел, как всегда, легким, устойчивым шагом спортсмена. Подойдя к гранитному камню, сказал Кеце:

— Отправляйся отсюда.

— А я не хочу.

Борис взял Кецу за руку, сдернул с камня:

— А я хочу, чтобы ты отправился погулять.

Тогда Кеца отошел на несколько шагов.

Но Борис глянул на него:

— Ну!

Кеца медленно двинулся вдоль улицы.

— Нам сюда.— Борис открыл калитку, и они с Минькой оказались во дворе пекарни.

Двор и деревья — белые от муки. В углу — сторожка. Построена из необожженного кирпича калыба. Крыша плоская, с хворостяной трубой.

В сторожке когда-то жил, очевидно, привратник. А теперь доживал старость бывший хозяин пекарни Аргезов.

Говорили, что у него был сын. Но никто этого сына никогда не видел. А сам старик рассказывал, что сын умер еще до революции.

— Куда мы идем? — спросил Минька Бориса.

— К Аргезову.

— А зачем?

— Он и есть главный всему. Он — «Бубновый валет».

— А Курлат-Саккал?

— Его сын. Теперь понял, елеха-воха!

— Как же так... — растерянно прошептал Минька.

От волнения заколотилось сердце. Сколько раз думал о главаре бандитов Курлат-Саккале, а настоящий главарь, оказывается, жил здесь, на Бахчи-Эли. Совсем рядом! Тихий, неприметный старик. Его не ловили, не сажали в тюрьму. Никто и не думал, что есть такой «Бубновый валет».

Аксюша мечтала о Дальнем Востоке, где надо бороться с маньчжурскими хунхузами и шпионами белогвардейцами, а тем временем у всех под носом творил свои дела старик Аргезов, шпион и убийца.

Минька хотел спросить у Бориса, кто первый догадался об этом, но они подошли уже к сторожке.

Борис толкнул дверь.

Тамбура не было, и дверь открывалась прямо в комнату. Вокруг стен были разложены подушки для сидения. Потолок убран чадрами и платками. В глиняном очаге висел котел с водой.

Старик Аргезов сидел на одной из подушек. На нем была рубаха, заправленная в шаровары, и желтые туфли на босу ногу (желтые туфли — это значит: побывал в Мекке).

Он что-то писал деревянным пером, подложив под бумагу маленькую твердую подушку из сафьяна.

Услышав скрип двери, не поднимая головы, крикнул:
— Беклѐ!¹

Его тонкая длинная борода вздрагивала при каждом движении пера.

Борис подошел вплотную к старику.

Минька давно уже не видел, чтобы Борис был таким вот. Может быть, с тех пор, как убили Любу. Когда никто не мог разжать руки Бориса и отобрать полузадушенного Курлат-Саккала.

Старик Аргезов поднял голову, нахмурился. Он, конечно, ожидал кого-то другого.

— Кѐк гюрюльдысы, фурунджи², — сказал Борис, достал из кармана карту и бросил перед стариком на ковер.

Карта упала, перевернувшись вниз изображением.

Минька понял, что Борис кинул старику бубнового вала.

Старик, очевидно, тоже это понял. Он не стал переворачивать карту, только сказал:

— Ла — Иллаге — Ил — Алла.

Глава XIII **„ДОСКАЗЧИК“**

Фимка и Минькин дед приятелл.

Фимка приходит к Минькиному деду и наблюдает, как тот занимается сапожным ремеслом.

Дед беседует с Фимкой, рассказывает что-нибудь про жизнь, обстоятельно и неторопливо.

Рядом с низким сапожным столом складывает для Фимки кресло из колодок. Сидеть в нем можно, если не двигаться, а не то кресло рассыплется.

¹ Жди (*татарск.*).

² Гром гремит, булочник (*татарск.*)

Тень. Прохлада. Квохчут куры. Прилетают воробьи и полощутся в лохани с водой, где мокнут куски кожи и рваные башмаки.

Случается, с дерева оторвется неспелый еще, твердый абрикос, упадет на крышу и, прокатившись по черепицам, соскочит на землю. К нему кинутся куры — кто первым схватит.

Миенькин дед рваные башмаки делает целыми: прошивает нитками, скрепляет деревянными гвоздями.

Такие прошитые нитками и скрепленные гвоздями башмаки стоят на земле. Мокрые еще после лохани, медленно высыхают в тенечке.

Фимка их примеряет, бегаёт по двору. Ему это правится: хлюп-хлюп — стучают мокрые башмаки по горячим летним пяткам босых ног.

Миенькин дед любит поговорить о башмаках, сапогах или галошах.

Фимка слушает, хотя ничего не понимает. А деду и не требуется, чтобы Фимка что-нибудь понимал. Деду нужно поговорить, а то скучно — вот и все.

Про жизнь он уже поговорил, теперь очередь поговорить о сапожном ремесле.

— Башмаки,— начинает дед, прицеливаясь ниткой в ушко большой штопальной иглы, — ведь они что... они по-разному зовутся — и обутками, и калигами, и выступками. А сам «башмак» — слово-то не русское, из татарских. (Нитка вделась в ушко иглы.) Есть и другие звания башмакам — чапчуры, босовики. А конструкция его какая, башмака? (Сейчас нитка вслед за штопальной иглой полезет в рваный башмак.) Передок, клюш, подошва — это снаружи. Стелька, задник, подкладка — это изнутри. Немудреная конструкция, а смысл имеет, фасон. Башмак — он тебе высоким может быть и низким. С отворотом и с опушкой. На шнурах и на пряжке.

Потом дед заводит разговор о сапогах:

— А сапог, он что? Я тебя спрашиваю, Ефим, что такое сапог, какая его конструкция? (В пальцах деда по-прежнему поблескивает штопальная игла.) Это значит — передок, задник, подошва и голенище. И опять, значит, сапог, он тебе может быть с напуском или бутылкой. Высоким или низким. В одних сапогах человек работает, в других пляшет, в третьих на лошади скачет.

Фимку разморило, и ему хочется спать.

Минькин дед не успокаивается: от сапог переходит к галошам:

— Что такое галоши? Я тебя спрашиваю, Ефим, какая их конструкция?

А Фимка уже спит в кресле из колодок.

Тогда дед накрывает его газетой, чтобы не беспокоило солнце, и Фимка спит под газетой, как в шатре. А вокруг шатра стоят мокрые башмаки, караулят Фимкин сон. И дед старается не шуметь, тоже чтобы не беспокоить.

Иногда к Фимке в шатер залетает жук. Слышно, как гудит, ползает по газете.

Фимка спит крепко, жук ему не помеха.

Но вдруг — тр-р-рах! — это рассыпаются колодки, и Фимка оказывается на земле. Барахтается под газетой и со сна не поймет, где он и что случилось.

Минькин дед тихонько смеется.

По слободе ходила медсестра с чемоданчиком. В нем лежали коробка с ампулами, флакон со спиртом, вата и стерилизатор с кипячеными стальными перьями, которыми медсестра царапала ребятам руки. Вначале капала из ампулы лекарство, а потом делала царапину посередине каждой капли: это была прививка против оспы.

Медсестра пришла к Фимке.

Он уже слышал, что по дворам ходит тетка в белом и причиняет какие-то неприятности.

Фимка решил спрятаться. Но его нашли и поставили перед этой самой теткой в белом.

Она взяла его руку, смазала спиртом, потом стеклянной палочкой капнула три капли лекарства из ампулы и приготовилась царапать внутри капель стальным пером.

Этого Фимка вынести не мог — заорал:

— На помощь!

...Фимкина мать часто рассказывала, как Фимку, еще грудного, привезли однажды в гости вверх ногами.

Случилось это зимой. Фимку увернули в теплое одеяло и отправились с ним в город. Увернут он был весь целиком, так что не поймешь, где голова, а где ноги.

Сперва его несли правильно, вверх головой, а потом, пересаживаясь из трамвая в трамвай, столько раз клали на скамейки и брали, что перепутали, где верх, а где низ.

Привозят Фимку наконец в гости, разворачивают одеяло, чтобы все на Фимку посмотрели, а из одеяла не голова, а ноги торчат!

У Фимки был щенок Тепка. Он попал под дождь. Когда дождь кончился, Фимка решил Тепку высушить.

Снял в кухне с гвоздя посудное полотенце обвязал щенка поперек живота, а потом прицепил к бельевой веревке.

Ходят все и удивляются — что такое? На бельевой веревке висит в полотенце собака.

Фимка каждому объясняет, что это щенок Тепка, что он промок под дождем и что теперь Фимка его сушит.

Маруся — подружка Фимки. Она еще сидит на стуле с дыркой для горшка.

Фимка был при Марусе «досказчиком». Только он понимал, что хочет сказать Маруся. Может быть, потому, что сам год назад говорил, как она.

— ...ушка и ...ык,— говорит Маруся.

Фимка досказывает:

— Старушка и старик.

— ...ошка и ...ака.

Фимка досказывает:

— Кошка и собака.

Но совсем недавно Фимка объявил, что Маруся больше не нуждается в «досказчике»: она уже сама досказывает слова, и теперь всем должно быть понятно, что она говорит. И Маруся, сидя на стуле с дыркой для горшка, показала пальцем на уток и сказала:

— Утята, утиха и утех.

Глава XIV

ДУХОВОЙ ОРКЕСТР

Ветер приносил музыку. Это был духовой оркестр. Он играл в городском саду на танцевальной площадке.

Музыка летела над вечерней землей — над садами и крышами домов, над голубятнями и сараями. Ее приносил теплый ветер фен, который к вечеру дул с гор.

Минька, Ватя и Аксюша сидят у ворот, слушают музыку. Иногда в нее врываются скрип трамвайных колес, паровозные гудки или шум грузовика где-нибудь на дороге.

Мягко и глухо трубят в звездной тишине баритоны и валторны — играют вальс. А потом ударят медные тарелки, загремит барабан — это уже мазурка. А потом ветер принесет кларнеты и флейты и какие-то особенно звонкие колокольчики — это уже краковяк.

Первым уходил домой Ватя. Ему надоело сидеть молча в темноте и слушать.

Собирался вслед за Ватей и Минька, говорил Аксюше:

— Ну, я пошел.

— Иди,— говорила Аксюша.

— Ну, а ты?

— Иди, Минька, иди,— повторяла она нетерпеливо.

Минька оставался стоять около ворот.

К ночи ворота делались прохладными. Иногда начинал потрескивать сверчок. Он жил где-то в воротах между досками.

Уже многие ушли с улицы, а Аксюша не уходит.

Стоит и Минька.

Над вечерней землей все плывут звуки флейт и кларнетов, трубят валторны и баритоны.

Потрескивает в воротах сверчок.

Чаще всего музыка приходила из города в субботу.

Аксюша в такие вечера всегда делалась чужой и для Миньки и для Вати. Сидела и не разговаривала. Думала о чем-то своем.

Может быть, ей хотелось танцевать, как танцуют сейчас другие, там, в городском саду? Или просто гулять, как гуляют сейчас другие, там, по дорожкам городского сада?

Ведь многие старшие уходят вечером из слободы.

Когда собираются уходить, в каждом дворе суматоха: бегают, одалживают сапожный крем, запонки, модные, тесемкой, галстуки.

Девушки накручивают волосы на бумажки, греют утюги, меняются шарфиками, лентами. Примеряют платья друг друга, туфли.

Встречаются все на трамвайной остановке. И вся улица видит, кто с кем поедет в город и кто во что оделся.

Родные говорят, что дети уже совсем взрослые, самостоятельные, повзростали прямо на глазах. А сами ждут их допоздна. Сидят у ворот и калиток в темноте и смотрят на трамваи, которые долго не привозят из города повзроставших детей.

Однажды по двору начала бегать и Аксюша — стирала свое белое платье, потом крахмалила его, потом сушила, потом грела для него утюг.

Минька несколько раз останавливал Аксюшу, о чем-то спрашивал.

Она отвечала на ходу: ей было не до Миньки.

Тогда Минька пошел домой и спрятал все спички. Начал наблюдать за бабушкой, ждать, когда она спохватится, что спичек в доме нет.

Бабушка спохватилась и послала его за спичками к кому-нибудь из соседей.

Минька отправился к Аксюше.

Дверь открыла она сама. На ней был халатик и старые большие шлепанцы. На голове — две бумажки узелками: Аксюша завязала волосы, чтобы получились локоны. Две бумажки — два локона.

Она растерялась, когда увидела на пороге Миньку. Серdito спросила:

— Ну, чего тебе?

— Спичек. Кончились у нас спички.

— Все это ты, конечно, выдумал.

— Нет. Не выдумал. Спроси у бабушки.

— Некогда мне спрашивать.

Аксюша пошла в кухню за коробком. Минька пошел за ней.

В комнате на кровати он увидел Аксюшино белое платье. Оно было так накрахмалено, что напоминало зонтик от солнца.

— Вот.— И Аксюша сунула Миньке в руку коробок со спичками.

Потом помолчала и совсем дружески, как они разговаривали всегда, сказала:

— Хочешь, оденусь? Поглядишь, что получится!

Минька кивнул.

— Тогда подожди здесь.

Минька остался в кухне. Он понимал, что Аксюша пойдет сегодня в город со старшими девочками, пойдет в городской сад. Ей, очевидно, разрешили. И она собирается.

Аксюша крикнула из-за двери:

— Входи!

Минька вошел.

Аксюша стояла в накрахмаленном платье и в новых узеньких туфлях.

Под рукав платья был спрятан кружевной платочек. Торчал только его уголок.

Бумажки с головы исчезли, а вместо них на лоб спустились две висюльки, как стручки акации.

— Мне не нравится,— сказал Минька.

— Что тебе не нравится?

— Вот это.— И он показал на висюльки.

— Ничего ты не понимаешь. Это локоны.

— Все равно не нравится.

— Ну, и... Ну, и...— На глазах у Аксюши появились слезы.— Не нравится — и катись!

Аксюша сердито захлопнула дверь.

Минька уныло побрел домой, где бабушка ждала спички.

Вечером к трамвайной остановке пошли старшие девочки и с ними Аксюша. Висюлек на лбу не было.

Она шла мимо всех немного торжественная в своем накрахмаленном, как зонт, платье, в новых узеньких туфлях и с кружевным платочком, уголок которого торчал из-под рукава.

Она шла в городской сад слушать музыку, духовой оркестр.

Минька и Ватя остались у ворот.

Приехал на остановку трамвай и увез Аксюшу.

В городском саду заиграла музыка. Она полетела над вечерней землей — над садами и крышами домов, над голубятнями и сараями.

Ее принес теплый ветер фен, который к вечеру подул с гор.

Иногда музыка прерывалась — это значило, что музыканты отдыхают, — и начиналась снова.

Минька знал — где-то рядом с оркестром стоит Аксюша, слушает.

Минька стоял здесь, в слободе, у прохладных ворот. Потрескивал в воротах сверчок.

Из города приезжали трамваи. На одном из них вернется и Аксюша.

Глава XV **ЛЮБА И БОРИС**

Так бывало, что Борис уходил из дома один. И Минька понимал, что Борису нужно уйти одному. Он знал, что Борис свернет направо и, мимо садов и баштанов, поднимется на кладбище.

Могилы убраны по-всякому: на одних — кресты, сделанные из обрезков водопроводных труб, на других — деревянные, расколотые от времени солнцем. Есть могилы, накрытые плитами, и памятники с нишами для фотокарточек.

Но есть и такие, что без крестов, плит и памятников.

Борис стоит у клочка земли, по краю которого вкопаны черепицы, а посередине цветут петушки.

...Люба. Для нее он снимал с гвоздя свою гитару и выходил к воротам на вечерницу. Выходил так, чтобы застать, когда Люба будет возвращаться с парфюмерной фабрики.

Он еще издали видел, что она идет, угадывал ее — гибкую, черноглазую, с приподнятыми у висков бровями. На плечах красная, будто маковый лепесток, косынка.

Борис кивает друзьям, которые сидят рядом с ним с балалайками и мандолинами. Кивок Бориса — это сигнал: приготовились. Еще кивок — это сигнал: начали!

Люба подходит, останавливается послушать.

Борис низко склоняется к гитаре. Он играет для Любы.

Она молча слушает, прислонясь к стволу акации. Скрывает веточку и закусывает черенок белыми влажными зубами.

Ни разу Борис не поговорил с Любой. А Люба слушала, улыбалась, незаметно, про себя. Или сжимала в руках уголки косынки, отчего косынка особенно туго обтягивала тонкие плечи.

Потом тихонько уходила в конец улицы, к маленькому дому, сплошь завитому крученым панычем.

И никто в слободе не шутил над этой молчаливой любовью. Здесь умели отличать, что — настоящее, большое, а что так — смешливые словечки.

Борис и Люба ни разу не были вместе, чтобы только вдвоем, чтобы где-нибудь в степи или на берегу Салгира забыть, потерять в траве красную косынку. Чтобы только вдвоем увидеть, как рождается утро или наступает ночь. Как мокрые от росы листья держат на себе звезды или растекается по земле утреннее солнце.

Глава XVI **хлопоты**

Бабушка стоит у забора на приступке. Зовет:
— Минька!

Минька во дворе у Вати. Они копают с Ватей пещеру.

— Иду! — кричит Минька. Он не спрашивает, зачем зовет бабушка. Он знает.

Ватя работает киркой, рыхлит землю. Минька выбирает лопатой из ямы.

Работают молча. Сопят и отдуваются.

— Минька!

Это опять бабушка.

— Ты бы уж сходил, что ли, — говорит Ватя.

— Ладно. Я быстро.

Минька, осыпая ногами края пещеры, выбирается наверх. Идет к забору, над которым видна голова бабушки.

Минька перелезает через забор.

Бабушка, в переднике, в домашних войлочных туфлях, спешит в сарай. На ходу говорит:

— Застыло все. И чего это вы с утра копаете?

— Надо, — уклончиво отвечает Минька.

Пещера — это тайна.

Ведь она им необходима для того, чтобы в ней сидеть и чтобы никто не видел, что они там сидят. Может быть, они будут в ней еще курить сухие листья смородины.

Листья смородины — это Ватя придумал. Уже пробовали — курили. Дрянь порядочная. Летят искры, копоть. Першит в горле. У Вати закоптился нос, а Минька прожог рубашку.

Но все равно: листья смородины — тоже тайна. Иначе каждый дурак начнет их курить. Ватя в этом абсолютно уверен. Поэтому курить они будут глубоко под землей, в пещере.

На лето бабушка переносит кухню в сарай: там прохладнее, чем в доме, и быстро выветривается угар.

Кухонную посуду бабушка раскладывает на полочке, где лежат рубанки. Примус ставит на верстак. Ножи и вилки складывает в ящик, где хранятся стамески и отвертки. Ведро для очисток пристраивает на табурете, на котором укреплены тиски.

С бабушкой никто не спорит, все ей уступают. Она в доме главная.

Бабушка приносит Миньке из сарая завтрак. Надо его поскорее съесть, и только тогда можно будет спокойно уйти.

Стол пахнет свежей клеенкой. Окно затянуто густой сеткой от мух. По ту сторону сетки показываются над подоконником колючие уши.

Это Мурзук. Он заглядывает в комнату, интересуется, начал Минька завтракать или нет. Если начал, то он придет.

Дверь в дом закрыта, но Мурзук ее откроет. Он подпрыгнет, одной лапой ухватится за ручку, а другой будет ударять по рычажку запора до тех пор, пока дверь не откроется.

Тогда Мурзук соскочит с ручки и войдет в дом. Дверь останется открытой, но это его не касается.

Бабушка бежит закрывать дверь, а Мурзук крадется к Миньке вдоль стены. Так незаметнее, если вдоль стены.

Потом он будет сидеть за цветочным вазоном, который стоит на полу рядом с обеденным столом.

В вазоне растет высокий кактус — скала.

Мурзук начнет за этой скалой тихонько подмурлыкивать, подавать голос.

Бабушка все понимает. Говорит ему:

— Не гуркоти. Накормлю...

Мурзук понимает, что добился своего, и перестает гуркотать.

Блюдец его в углу в коридоре. Бабушка кладет Мурзuku завтрак.

Тогда Мурзук смело выходит из-за скалы — теперь не прогонят — и шагает к блюдцу.

А бабушка уже во дворе. Потому что прибежал пес Эрик и тоже начал подавать голос, гуркотать.

Бабушка кладет и ему в чашку завтрак. Эрик доволен. Затихает. Слышно, как ест.

Бабушка успевает всех покормить, и пожалуйста, идите потом каждый куда хочет. Кто копать пещеру, кто на крышу, кто в холодильник под конуру.

И только неизвестно, где и когда бабушка сама успевает поесть.

С обеденного стола убрана клеенка. На столе стоит стул. На стуле — бабушка. Рядом с ней ведро с известкой. В руках щетка из травы.

Бабушка белит потолки.

Уговорить ее, что потолки чистые и белить их не надо, — пустая трата слов.

Бабушка вежливо послушает, кивнет головой — да, потолки еще свежие, и, конечно, в ее возрасте лишний раз белить трудновато, — но все равно поступит по-своему.

Разведет известку, распарит щетку, чтобы сделалась мягкой, снимет со стола клеенку, поставит стул и приступит к работе.

В окна дует ветерок. Потолки подсыхают быстро.

И, когда придет с завода Борис, вернется от знакомых дед, где он с утра играл в домино, перелезет через забор из Ватиного двора в свой двор Минька, потолки совсем высохнут.

И никто вообще не заметит, что бабушка в комнатах белила. Привыкли — всегда чисто.

А бабушка и не обижается. Не заметили — и не надо. Она это делает не для показа, а для себя.

...Солнечный день.

Но бабушка придирчиво оглядывает небо — не запряталась ли где-нибудь хмара? Не случится ли дождь или ветер? Кажется, нигде хмары нет.

Тогда бабушка расстилает на земле простыню. Придавливает камушками, чтобы не заворачивалась.

Выносит подушки без наволочек. Подпарывает наперники и высыпает пух на простыню.

За зиму, по мнению бабушки, он в подушках слежался, отсырел. Пух возвышается на простыне горкой.

Бабушка садится на маленькую скамеечку, начинает его перебирать.

Пух греется на солнце, свежее. Бабушка занимается им, а сама поглядывает на небо.

Подкрадываются к бабушке птицы, воруют пух. Особенно нахальных бабушка гоняет: машет на них концом передника.

— Я вам, жулики-бастрюки!

А жулики-бастрюки знай свое — тянут пух.

К вечеру бабушка вновь зашьет его в наперники, надеет наволочки. Подушки готовы.

Бабушка внесет их в дом. Но, прежде чем разложить по кроватям, каждую крепко подбьет с углов, чтобы пух вспенился и подушка застыла в тугом изгибе, с запахом солнца.

...Минька любил встречать бабушку с базара.

Уходила она на базар очень рано. Минька еще спал. Сбирала сумку — клала в нее кошелек с мелкими деньгами, носовой платок, пустую бутылку под растительное масло, банку под сметану. Надевала черный жакет, потому что утром еще прохладно.

Минька просыпался и, узнав, что бабушка ушла на базар, вскакивал, быстро умывался и спешил за калитку.

Как только бабушка покажется в конце улицы, он побежит навстречу. А она поставит сумку на землю и будет его поджидать.

В сумке обязательно найдется что-нибудь вкусное для Миньки. Он никогда ее об этом не просит, а она сама покупает.

Минька подхватывает сумку и торопится домой.

Сумка брезентовая, самодельная, с клапаном вроде как

у пиджака на кармане. Ее спил дед, когда работал кассиром и ходил в банк получать деньги.

Бабушка вслед кричит:

— Минька, сметану не расплескай!

Солнце уже пригрело. Бабушка сняла жакет. Обмахивает лицо платком.

Миньку одолевает любопытство, что бабушка купила на этот раз. Пастилу? Маковки? Жареные орехи в сахаре?

После базара бабушка долго разговаривает с соседями — обсуждаются цены, нынешний привоз продуктов, их качество.

Вдруг раздается шипение или бульканье: у кого-то в кухне что-то пригорело или закипело.

Это сигнал — все расходятся.

Минька, дед и Борис всегда стучали не в калитку, а в окно.

Бабушка услышит, где бы она ни была — в коридоре, во дворе или даже в сарае. Побежит к калитке.

Тогда начнет лаять Эрик. А может быть, и не пачнет. Поднимет только голову. Он уже выучил: если стук в калитку не было, а бабушка бежит отпирать — значит, свои.

Часто бабушка бежала с тем, что было у нее в руках: половником, тарелкой с жидкой горчицей, которую она растирала, шпателькой с ниткой.

Возвращался поздно Борис. Откуда-нибудь с вечерницы.

Бабушка всегда первая услышит его стук. Накинет платье, подойдет к окну. Негромко скажет:

— Сейчас... — и заспешит во двор к калитке.

Минька не понимал, почему бабушка первая просыпается.

И, только когда вырос и сам иногда стал поздно приходить, он понял: бабушка не просыпается первой, а не спит совсем. Она ждет этого стука в окно. Она волнуется, если кто-нибудь запаздывает.

Лежит одна в темноте. И никому не ведомо о ее беспокойствах, никто об этом ее не спросит. А она никогда не скажет, не попрекнет.

Стукнешь почью в темное окно — и услышишь в ответ только негромкое: «Сейчас...»

Между бабушкой и Мурзуком были странные отношения.

То все тихо, мирно.

Бабушка сидит, выдергивает канву из вышивки. Нитки, не глядя, бросает на пол. Но они падают на Мурзука, потому что он пристроился рядом с бабушкой.

Мурзук не возражает. Ему нравится: нитками можно забавляться.

То вдруг — шум и крик.

Чаще всего это случается, когда бабушка бежит, торопится. Она наступает на Мурзука, и почему-то всегда поперек.

— Тебе что — места мало? — кричит бабушка. — Взял моду у порога лежать!

Мурзук, передавленный поперек, кричит на бабушку, возмущается.

Но бабушка бежит уже дальше. Ей некогда. Тогда Мурзук гонится за ней. Он скачет на трех лапах, а четвертой, свободной, лапой бьет бабушку по ее домашним войлочным туфлям.

Через минуту опять мир и тишина.

Бабушка крутит в сарае мясорубку, будет готовить котлеты. Мурзук сидит под мясорубкой. С винта ее капает ему прямо на затылок. Мурзук доволен: капли пахнут мясом.

То вдруг опять шум и крик.

Что такое? Оказывается, бабушка начала молоть голову лука. Мурзук в истерике выскакивает во двор. Пытается достать лапой до затылка, чтобы уничтожить эти паршивые луковые капли.

Но через минуту опять мир и тишина. Полное согласие.

Мурзук лежит у самого порога. Бабушка бежит поблизости. Вот-вот наступит на Мурзука поперек.

Цыплячьи Горки. Бабушка ходит сюда, навещает знакомых.

Разговаривают они о письмах, которые получают от

детей. Разбирают их поступки, хотя дети давно живут самостоятельно и у них у самих есть уже маленькие дети.

Иногда письма целиком читают вслух, а отдельные значительные места перечитывают по два, три раза.

Бабушка слушает знакомых, кивает головой. Она тоже принесла письмо, которое получила от Бориса. Борис опять в командировке на строительстве. Ей хочется его обсудить.

В таких случаях с бабушкой отправляется на Цыплячьи Горки Минька. Бабушка просит его пойти. Она хочет, чтобы он читал письмо Бориса. Минька читает быстро и громко — приятно слушать.

Они идут полями, где ветер раскачивает, словно выплескивает из берегов, синюю лаванду. Ее посевы растеклись по склонам и ложбинам Цыплячьих Горок. Теперь это уже не опытные участки, а поля промышленного значения. Бабушка срывает цветок лаванды. Смотрит, нет ли вредителей, разминает в пальцах, проверяет, не сухой ли он.

Бабушка родилась в селе на Украине. Знает и любит все сельское. Девочкой жала и молотила. Работала на сахарной свекле. Трепала лен и коноплю. Волочила гречку. Убирала кукурузу.

Поэтому, когда бабушка срывала где-нибудь в полях колос или стручок, лист кукурузы или цветочный бутон, то подзывала Миньку, показывала ему, учила понимать: хорошо живет этой рослине или плохо, здоровая она или больная.

И Минька брал из рук бабушки рослину, учился понимать ее.

...Часто бабушка рассказывала Миньке о гражданской войне.

Белые отступали к морю через Симферополь. Шли, горланили песни:

Нет у нас теплого платочка. Точка.
Нет у нас теплого платка.

На улицы выкатывались лакированные коляски, запряженные рысакими. В колясках барыни в длинных кружевных платьях и в тюлевых перчатках. Встречали господ офицеров — стояли и махали им нераскрытыми веерами.

На что еще белые надеялись — неизвестно. Не было у них ничего — не только теплого платочка.

А потом по городу текло вино: оно лилось из винных подвалов, где разбивали стоведерные бочки.

Солдаты котелками и кружками черпали вино с мостовой и пили. Это, пожалуй, единственное, что у них еще было. Начинались погромы, стрельба, драки. Срывали злость и отчаяние друг на друге.

Перепуганные барыни в длинных кружевных платьях куда-то исчезли.

По городу бродили одичавшие пьяные собаки, пьяные лошади. Пьяными были даже птицы.

Про солдат бабушка говорила:

— Не могли они понять, где правда, а где ложь. Бежали из России. Противно и жаль их было.

Минька возражал:

— Нельзя жалеть. Они были врагами.

— Да, конечно,— соглашалась бабушка.— Но среди них много служило мальчишек. Совсем гимназистов.

— Все равно враги,— утверждал Минька.— Если против нас.

— Их бы тогда выпороть, да некому. Мальчишек-то.

— Ну вот еще — пороть, возиться. Скажешь, бабушка! Они тоже за царя были.

— Так-то оно так. Но спрос с них был еще не полный... Ну что с тебя спросишь или с твоего Вати? А они немного постарше были.

— Как — что спросишь? — оскорблялся Минька.— Мы за Советскую власть! Я и Ватя... Мы...

— Пещеры еще копаете...

Минька, красный и обиженный, стоял перед бабушкой, тяжело дышал. Не знал, что возразить на «пещеру».

Бабушка улыбалась, говорила:

— Подними, Минька, кепочку и выпусти пар.

Минька не видел, чтобы бабушка молилась. Икон и крестов в доме не было.

Если дед заводил свои шуточки над богом, бабушка молчала или покачивала головой, когда дед, по ее мнению, уж слишком расходился.

То, что религия — заблуждение, бабушка понимала. Но

она была мягкой к людям, терпимой к их заблуждениям. Не переносила только кликуш.

Дед упрекал бабушку. Попы и монахи выводили его из себя. Он не переносил даже запаха церкви. Мог до того раскричаться на бога, что бабушка начинала утешать:

— Успокойся. Бог с ним, с богом. Не стоит из-за него надрываться.

Но дед не хотел успокаиваться и кричал тогда на бабушку:

— Примиренец! Соглашатель! Попутчик революции!

Штопала бабушка на электрической лампочке.

Деревянный грибок она всегда теряла. Часто им играл Мурзук, закатывал куда-нибудь под кровать или под комод. Однажды его унес Эрик и пытался сгрызть у себя в конуре.

После этого дед грибок отполировал и снова вручил бабушке. Но бабушка снова его потеряла. И тогда начала вывертывать из абажура лампочку и штопать на ней.

Если вечером в комнате не загорался свет — все знали, что бабушка сегодня штопала и забыла вкрутить лампочку на место.

Бабушка любила гостей. Любила, чтобы в доме было шумно и весело.

Стол накрывала парадной вышитой скатертью. Доставала парадные вилки и ножи с коричневыми черенками из ясеня на желтых заклепочках, тарелки в мелкую, брусничную искорку и рюмки на тонких ногах.

Дед от этих рюмок раздражался — вот-вот в руках переломятся. Но бабушке они нравились, потому что приятно звенели.

В те дни, когда бабушка ждала гостей, Эрик и Мурзук ходили по двору, покачиваясь от сытости.

Минька выглядывал из калитки и докладывал бабушке, кто появился в конце улицы или сошел с трамвая.

Гости приходили нарядные и торжественные. Бабушка тоже была нарядной и торжественной — в черных туфлях на перепонках с пуговичками, в черном платье, гладко причесанная.

Она бегала из сарая в дом, носила угощения. Через плечо у нее было переброшено посудное полотенце, которым брала горячие кастрюли и сковородки.

Наконец бабушка говорила:

— Дорогие гости, прошу к столу.

Гости рассаживались. Чаще всего это были друзья Бориса с завода.

Мужчины незаметно расстегивали под галстуками тугие воротнички. Женщины беспокоились, чтобы не помять платья.

Кто близко садился около кактуса-скалы, бабушка предупреждала — случайно не наколитесь. Гость кивал — хорошо, спасибо, он будет помнить про скалу. Но потом обязательно наколется, когда начнет размахивать руками, что-нибудь рассказывать.

Звенели рюмки на тонких ногах. Все хвалили бабушкину кулинарию. А бабушка сидела смущенная и довольная.

Репродуктор был очень старый — тарелка из черной бумаги. Висел на гвоздике.

Мишка репродуктор слушал редко — некогда было. А бабушке он часто доставлял удовольствие.

Как только объявляли, что будет выступать украинский хор или ансамбль, бабушка прекращала готовить обед, белить потолки, стирать белье — снимала репродуктор с гвоздика и ставила его перед собой на стол.

Репродуктор пел или играл на бандуре только для нее одной.

Бабушка вспоминала Украину, село Шишаки, где прошла ее молодость. Вспоминала хату, покрытую камышом-очеретом, убранную внутри травой для запаха. Печь с дымарем и полочкой-закопелкой, на которой была сложена посуда — крынки и горшки. Широкие юбки — спидницы. Протяжный скрип ветряных мельниц. Следы босых ног в пыли вдоль шляхов. Прозрачные ставки, а над ними гусиный крик и хлопанье крыльев. Пшеничный свет звезд. Медную подкову луны, точно выбитую молотом.

Обо всем этом пел бабушке старый бумажный репродуктор, играл на бандуре, рассказывал.

...А потом в сорок первом году этот же старый бумажный репродуктор принес сообщение о войне.

Минька слушал и не понимал еще по-настоящему, что такое война. А бабушка понимала. Она уже видела одну войну с немцами.

Тогда ушел воевать дед. Теперь уйдут ее дети и внуки. Уйдет Борис, может, уйдет и Минька. И не скоро они стукнут ей в темное окно.

Сидела тихая, в переднике, в домашних войлочных туфлях. Положила на колени усталые руки.

Глава XVII

О К О П

Минька выкопал первый окоп. Первый в своей жизни.

Это была щель, в которую следовало прятаться во время налета на город самолетов.

«Щель должна быть при каждом доме!» — так приказал дежурный ПВО.

Борис ушел в армию, дедушка болен, поэтому копает Минька один.

Сверху земля сухая и берется на лопату пыльной горкой. Чем земля глубже, тем она прохладнее и уж берется кирпичиками.

В этих кирпичиках — жуки, быстрые и ловкие сороконожки, гнилые прошлогодние стебли трав и цветов.

Скоблят, царапают лопату мелкие камни. Все глубже и глубже вталкивает ее Минька в бывший огород. Начинают попадаться корни, и он их рубит краем лопаты, как топором.

Может быть, это корни береста, который растет посредине двора? Берест — единственное большое дерево во дворе, и Минька с детства знает его.

Знает шершавость коры, потому что, когда даже еще не умел ходить, Миньку сажали в тень под берест и он гладили его ладонью. И ходить Минька научился возле береста. Он помог ему подняться, встать на ноги, и Минька, держась за ствол, впервые на собственных ногах обошел вокруг береста, как вокруг земной оси, и увидел мир со всех четырех сторон.

Знает Минька запах грозы и дождя, который бывает в

весенних листьях береста. И запах старого вина, который бывает в его листьях осенью.

Знает и то, что где-то на ветке спрятана буква «А», — что значит: Аксюша. Букву вырезал Минька. Давно еще.

Берест «уносит» теперь букву все дальше от Миньки.

Сейчас краем лопаты Минька отсекал бересту корни. Так казалось, что эти корни принадлежат бересту. Твердые, будто провололочные прутья.

Когда Минька ударял по ним краем лопаты, он ударял точно самого себя по пальцам. Но что он мог сделать: дежурный ПВО приказал копать щель именно здесь. И он копает.

Миньке было жарко. Бегал, пил из ковша воду.

Прежде, совсем еще недавно, рядом с ведром стоял не этот ковш, треснутый и с обломанной ручкой, а зеленая эмалированная кружка. Бабушка отдала ее Борису, когда он собирал свой дорожный мешок, чтобы идти на призывной пункт.

Минька вырос при этой зеленой эмалированной кружке, а теперь она уехала вместе с Борисом на фронт. Значит, уехало на фронт и что-то от Миньки самого, от его детства. Он терял что-то старое и приобретал что-то новое.

Пот заливал Миньке глаза, воспалились ладони, горели от напряжения мышцы плеч и спины. Но Минька копал и копал. Уже в этот вечер могут прилететь самолеты. Он понимал, что остался вместо Бориса, и заботился не о себе.

Когда было совсем тяжело, Минька прикладывал ладони к влажной земле, прижимался к ней спиной — и ему делалось легче.

Он стоял и думал, что вот бывает такое в жизни людей, когда они, живые и сильные, должны копать самим себе глубокие ямы. Должны стараться оставить над собой как можно меньше лучшего, что есть на земле, — солнца, неба, ветра, звезд, шелеста деревьев, пения птиц, запаха цветов. Потому что, чем меньше этого лучшего, тем лучше выкопана яма.

Борис с Минькой часто уезжали на старом велосипеде «кузнечике». Уезжали куда-нибудь в окрестности Симферополя. Минька садился на раму, а Борис на седло: «кузнечик» отлично выдерживал двоих.

Казалось бы, Борис все вокруг знает — где какой лес, поляна, речка. Где растет шиповник или терн, где кипят холодные пузыристые ключи.

Но он находил всё новые удивительные места — новый лес, новую поляну, луг. Где раскачивались высокие травы, а в них шумели жуки. Солнце было горячим и пахло мятой. Где со дна реки светились белые ступеньки песка. Ветер застревал среди густых деревьев. И где не было еще проложено никаких дорог или тропинок.

В каждом таком новом месте Борис строил дом, придумывал его, сочинял. Не для себя — для людей.

Минька, Борис и зеленый «кузнечик» лежали в высокой траве. Дымились над ними облака. Летала паутина, будто старые лохматые нитки. Паутину подхватывали ласточки, куда-то уносили. Иногда подкрадывались коричневые удоды, смотрели, чем они здесь занимаются.

Минька лежал рядом с Борисом и слушал его. Минька любил слушать Бориса.

— Вокруг дома обязательно все должно быть красивым, — говорил Борис. — Чтобы росла высокая трава, шумели жуки, стояли над крышей облака. Цвели деревья, бежала речка, звякала о камни. И сам дом обязательно должен быть красивым. Чтобы в нем пахло мятой, вот как здесь, Минька. Чтобы каждая доска была гладко отстругана, ровно отпилена. Стены сложены аккуратно под шнур. Двери и окна были светлыми и легкими. Толкнул — и они открылись. Чтобы каждый гвоздь в доме был согрет солнцем.

Борис говорил все так про дом, потому что все это умел делать: пилить и строгать, складывать под шнур стены, навешивать двери и оконные рамы.

Минька слушал и уже видел в руках Бориса рубанок, как он стелется по доске, выбрасывает из-под ножа желтые пружины стружек. Видел пилу, как она рассекает бревно и льются из-под ее зубьев мягкие отруби опилок.

Видел, как Борис строит дом. Не для себя — для людей.

Борис не вернулся с войны. Не постучал тихонько в окно.

Бабушка долго его ждала, не верила, что погиб. Ей все

казалось, что вот-вот постучит поздно вечером, как стучал обычно, чтобы вышла и открыла калитку.

Но он не стучал, не возвращался.

Минька сам пройдет по всем тем местам, по которым они с Борисом ездили на старом велосипеде-«кузнечике».

Где раскачиваются высокие травы, а в них шумят жуки. Солнце горячее и пахнет мятой. Где со дна реки светятся белые ступеньки песка. Ветер застревает среди густых деревьев. Где еще не проложены дороги и тропинки.

Он отыщет все эти места и покажет людям. Чтобы пришли с рубанками, молотками и пилами. Чтобы полетели желтые пружины стружек, посыпались мягкие отруби опилок. Чтобы люди построили себе дома, в которых каждый гвоздь будет согрет солнцем.

ТО ДАЛЕКОЕ, ЧТО БЫЛО

Рассказ в конце повести

1

Я думал о встрече с детством. С каждым годом становился нетерпеливее. Все острее видел то далекое, что было.

Я закрывал глаза, и — пускай совсем другой, за тысячу километров от Симферополя город — я слышал нездешнее лето, слышал детство. Бахчи-Эль.

Скрипят на крутом повороте колеса трамвая, жуют, встряхивают торбами с овсом лошади, кричит курица — снесла яйцо.

Падают, скатываются по решетке куски угля — просеивают антрацит. Сухо шуршат большие листья — качаются под ветром заросли колючек. Белой проволокой дрожит в степи зной. Расчеркивают небо черными карандашами ласточки. Примусы держат над головой синие колокола пламени.

Я слышал звук виолончели. Это играет Остап Григорьевич, разминает пальцы. Он выступает в оркестре в кинотеатре «Марсель» перед началом вечерних сеансов.

Он старый и добрый. И виолончель у него старая и добрая: гудит на весь двор между синими колоколами припусов.

Я, Ватя и Аксюша сидим на деревянном топчане. Молчим, хочется спать.

Вышел во двор Фимка. Крутит в стакане ложкой, взбивает желток с сахаром. Потом будет ходить испачканный желтком, пока не увидит мать и не умоет.

Один раз, когда Фимка ходил испачканный желтком, его укусила за язык пчела. Фимка загудел, как виолончель соседа.

Стучает нож по доске — это режут на борщ капусту и свеклу.

Борщ умеют готовить в каждом доме. В тяжелых кастрюлях он стоит потом в глубоких подвалах, прячется от солнца. Носить в подвалы борщи — ребячье дело.

Где-то на краю улицы глухо бухает по ковру палка — выбивают пыль.

Лают собаки от двора ко двору. Ближе, ближе. Ходит почтальон или инкассатор, снимает показания с электрических счетчиков.

Наш Эрик тоже знает, почему лают. Вылазит из конуры, ждет своей очереди. Он прекрасно знаком с почтальоном и инкассатором. Но лаять надо. Таков порядок. Будет лаять незлобно, не натягивая цепь.

Если почтальон или инкассатор задерживаются в соседнем дворе, псы от нетерпения взбираются на крышу конуры, выглядывают.

Почтальон — худенькая девочка в пиджачке. Зовут ее Кима. Она совсем не боится собак. Проходит с сумкой перед их носом да еще туфелькой притопнет — цыц! Собакам это очень нравится.

Иногда Кима не заходит в калитки, а бросает почту в открытые форточки: спешила — у нее не было времени. Каждый любит с Кимой поговорить, поэтому со двора быстро не уйдешь.

Мы с Ватей тоже любим Киму. Она дает посмотреть чужие журналы.

Почтовый ящик на нашей улице пахнет розой. Это

придумала Кима. Утром кидала в него лепестки цветов, и они лежали в ящике, пока она не выбирала письма и не относила сдавать на почту.

Вся улица начала кидать вместе с письмами лепестки цветов. И когда письма уходили в другие города, они не пахли штемпельной краской. Они пахли крымскими розами.

Инкассатор толстый. Зовут его Мартын Кириянович. Ходит медленно, вперевалячку. Носит толстую книгу, проложенную бланками счетов.

Мартын Кириянович гораздо больше похож на почтальона, чем Кима.

С собаками он разговаривает, помахивает пальцем, стыдит их. Дает понюхать свою толстую, со счетами, книгу. Собакам это тоже очень нравится.

Мартын Кириянович никогда не спешит. В каждом доме затевает обстоятельные разговоры об урожае, о непослушании детей, о разведении кроликов.

Соседним собакам иногда долго приходится стоять на крышах конуры.

Начало августа. Поспел кизил. Все собираются в лес, вся Бахчи-Эль. Надо пройти восемь километров вдоль Салгира до бывшего имения помещика Весьера.

Выпали недавно дожди, поэтому кизил будет крупный, мясистый.

Я, Ватя, Аксюша, Гопляк, Таська Рудых, Лешка Мусасев берем корзины и рано утром по холодку шагаем к Весьеру.

Сперва мы наедаемся кизила, а потом начинаем собирать.

Идем домой с полными корзинами. Устали, выкупались в Салгире и пошли дальше.

Звенят синие колокола примусов, дымят мангалы: будет из кизила варенье. Кизил стоит в больших зеленоватых бутылках, вместо пробки прикрытых марлей, — будет наливка. Кизил лежит на крышах под солнцем — будет на зиму сушка.

Фимка больше не крутит в стакане желтки — он ест пенки с варенья. Ходит не желтый, а красный, кизиловый и липкий, как бумага для мух. Его теперь умывает каждый, кто увидит.

— Ножи! Топоры! Ножницы!

Это кричит точильщик Беркеш. Он медленно идет вдоль улицы с деревянным станком на плече. На станке укреплены точильные камни, банка с водой, висят лоскуты материи.

Хозяйки выносят Беркешу ножи, топоры, ножницы.

Он пристраивает станок в тень к забору и запускает недалеко точильный камень.

Камень крутится. Летят искры.

Беркеш поет песню.

Изредка взбрызгивает водой из банки нож, топор или ножницы, вытирает лоскутом материи и продолжает давить педаль и петь песню.

Ребятам разрешает подставлять под искры ладони. Ух ты! Жгутся или не жгутся? Подставлять ладони выстраивается очередь.

Про мамонта первой узнала Аксюша. Она ходила в бывшие сады фабриканта Дюпона покупать в совхозе яблоки на повидло.

Вокруг садов были известковые скалы. В них и обнаружили мамонта.

Ребята целыми днями пропадали в садах Дюпона, наблюдали, как из белого известняка археологи осторожно вырубали скелет мамонта.

За воротами на улице протяжный железный шум. Его надо знать, чтобы догадаться, откуда он. Надо самому побегать босиком по дороге по дымной пыли с проволочным крючком. Это ребята катают обручи от бочек, «ездят».

Мы с Ватей тоже катали обручи, «ездили», куда нас посылали, — в аптеку, в магазин, в швейную мастерскую. Сумку приспособили перекидывать за плечи, чтобы не мешала. «Ездили» и просто по тропинкам в степь, по деревянным мосткам через Салгир, даже вкатывали обручи на курганы.

Шум прерывается — это ребята отдыхают. Когда отдохнут и поедут дальше, в пыли останутся большие круглые следы: здесь лежали на дороге обручи, тоже отдыхали.

...Сильный запах кукурузы. Початки сложены в глубокий казан, варятся второй час. А чтобы лучше уварились и потом долго не остывали, прикрыты листьями.

Я жду, когда же початки будут готовы. Стол покрыт клеенкой. На столе — соль, сливочное масло. Струйка пара вылетает из казана, кучерявится под потолком.

Нюхаю пар. Жду. Это первая в этом году кукуруза, тонкая, молодая, напитанная росой и летними прозрачными дождями.

Наконец готова. Казан на столе. Затихает, перестает кучерявиться струйка пара. Под листьями, как под зеленой крышей, лежат кочаны с тугими каплями зерен.

Вытягиваешь из-под крыши кочан. Горячий. Перекидываешь с ладони на ладонь, остужаешь. Не терпится. На клеенку летят брызги воды. Когда кочан можно уже держать, намазываешь его маслом и посыпаешь солью.

Ну вот и дождался — ешь, радуйся.

А это что тихонько журчит и побулькивает? Это заправляют керосином лампу. Лампа висит в сарае, где нет электричества. Еще с нею вечером спускаются в подвал. Пока идешь через двор, вокруг лампы шумят ночные жуки. Они залетают даже в подzemелье подвала. А потом снова провожают лампу через двор.

Мигают сиреневые искры звезд. В садах между деревьями развесил парусину туман. Переговариваются, спрашивают о чем-то друг друга собаки. Жуки улетают куда-то в ночь.

Стенные часы. Куплены еще прадедом. Я до сих пор слышу их тихую, усталую поступь, будто в домашних туфлях. Их негромкое покашливание, перед тем как собираются пробить, отмерить время. Они никогда не останавливались. Только один раз — от землетрясения.

Аксюше подарили шоколад. Но, пока везли из города, он растаял. Переливался в своей серебряной упаковке, как молоко в бутылке. Аксюша огорчилась. Но Ватя придумал: шоколад отнесли в подвал к борщам. Вскоре он застыл, и мы его съели среди борщей, поделив на три части.

...Не знаю, когда это произошло, но я увидел в Аксюше девочку с узкими коленками, едва прикрытыми легким платьем. Увидел маленький нос с ласковой ужимкой, губы, глаза, рыжую гривку встрепанных волос.

Теперь, когда приходили к Салгиру купаться и Аксюша раздевалась, я отворачивался, хотя она была, как всегда, в пестром ситцевом купальничке. Но мне казалось, что я уже не должен на нее смотреть вот так, слишком близко. Что это будет нехорошо по отношению к ней.

Аксюша этого не понимала. Позабыв расстегнуть пуговицы, сдергивала платье и, запутавшись в нем, кричала: — Минька, ну помоги же!

Я помогал, но все равно старался не смотреть, чтобы случайно не увидеть совсем близко ее узкие коленки, худенькие плечи с ленточками купальника, рыжую гривку встрепанных волос.

Правда, в воде я обо всем забывал. Брызгался, хватал Аксюшу за пятки, орал и веселился.

— Штандер! — кричит Ватя.

Ребята останавливаются, замирают. У Вати в руках мяч. Ватя выбирает, кто стоит поближе, делает три шага. Целится. Кидает мяч. Если попадет — будет водить тот, другой. Если промахнется — опять будет водить он.

У кого накопится больше всех штрафных очков, того наказывают: ставят к стене и бьют мячом в спину.

Девочек наказывают тихими ударами, ребят — сильными. Так, что потом видно: ходишь с красной спиной.

Спать ночью во дворе — не просто. Надо быть храбрым, пока не привыкнешь. С вечера долго не спишь, напрягаешься, слушаешь, что где скрипнет, треснет, прошелестит. Мерещится всякая всячина. Ждешь кого-то, опасаешься.

Обязательно приходят кошки, смотрят ночными зелеными глазами. Перепутались тени — не поймешь, какая тень от чего. Попискивает сыч.

Старые люди считают его дурным вестником. Заведется на улице вот такой один и портит настроение. Каждый его прогоняет, и летает он с крыши на крышу.

В приметы можно и не верить, но кричит он действительно как-то тоскливо.

Вернуться в дом стыдно, поэтому крепишься.

Зовешь Эрика. Он спущен с цепи и гуляет во дворе.

Когда Эрик приходит, успокаиваешься. Гладишь, про-
сишь, чтобы не уходил.

И Эрик не уходит, караулит тебя, отпугивает ночь. Помогает стать храбрым. Руку держишь на шее Эрика, пока не замерзнет. Тогда прячешь под одеяло и спокойно засыпаешь.

Утром по тебе разгуливают куры. В ногах спят две или три кошки — тяжелые, как гири. Сыч улетел. Под кроватю громко дышит Эрик.

Тебе весело. И ты встаешь.

Отсюда, с Бахчи-Эли, я увидел войну. Увидел ее вечером с дерева. Мы с Ватей залезли на самый высокий тополь, смотрели в сторону Севастополя. Там, где был Севастополь, сваленные ветром набок, шевелились пожары. Город бомбили немецкие самолеты, эшелон за эшелон.

Мы с Ватей сидели тихие, примолкшие на вечернем тихом тополе. Отсюда, с Бахчи-Эли, ушел на фронт Борис. Ушел через окно. Не хотел, чтобы провожали, расстраивались. Незаметно выпрыгнул на улицу, когда в комнате никого не было. Видел только я один. Случайно.

...Наступила взрослость. Сразу, неожиданно, вместе с бомбами в Севастополе.

2

В свое детство я приехал на трамвае, старом, с открытым прицепным вагоном и звонком, по которому вожатый бьет ногой — и звонок «плямкает».

Спрыгнул на ходу, на том самом крутом повороте, где скрипят колеса и трамвай почти останавливается. «Плямкая», трамвай уехал, а я пошел к своему бывшему дому. На что надеялся — не знаю.

Аксюша здесь уже не жила. Ватя погиб где-то в лагере в Германии. Погибли и Таська Рудых и Лешка Мусаев. Немцы заставляли их первыми входить в дома, которые

казались им заминированными. И Таська и Лешка, в конце концов, подорвались на минах.

Кецу отправили в трудовую колонию, еще вскоре после того, как арестовали старика Аргезова. Гопляк попал к морякам. Участвовал в десантах. Был тяжело ранен. После войны перебрался жить в Херсон.

Я остановился возле почтового ящика. Он был на прежнем месте. Висел на двух загнутых кверху гвоздях. Щель для писем прикрыта металлическим козырьком.

Я сорвал на обочине дороги ромашку и бросил в ящик. Все еще на что-то надеялся.

Вот поверну сейчас за угол и увижу степь, нашу улицу, гранитный камень, церковь вдаль.

Повернул, но ничего этого не увидел. Высокие постройки заняли степь, закрыли улицу. Гранитный камень исчез. Церкви тоже не было.

Прошел немного и увидел новый магазин и водонапорную станцию. Прежде здесь стояла афишная тумба. Возле нее я поцеловал Аксюшу в щеку. Аксюша очень тогда расстроилась. Я тоже очень расстроился. Сюда же, к афишной тумбе, прикатывал тачку продавец мороженого. В белом фартуке и в белых нарукавниках.

Ребята спешили, бежали к нему, сжимая в ладонях серебряные монеты, вытряхнутые из копилков.

Заказывали порции за двадцать пять, пятьдесят и семьдесят пять копеек. С восторгом следили, как продавец намазывал плоской ложкой столбик мороженого на круглые вафли. За двадцать пять копеек — столбик маленький, за пятьдесят — побольше, а за семьдесят пять — совсем большой! На вафлях написаны имена. Гадали, кому какие попадутся.

Поблизости от тумбы для афиш было бревно через канаву. Ватя с него упал и утопил портфель с тетрадами и учебниками. Сейчас — ни канавы, ни бревна.

У этого красного кирпичного забора Беркеш пристраивал свой точильный станок. Давил на педаль и пел песни. Где-то Беркеш теперь? Сюда приезжал со своей бочкой с керосином Шанколини. Где-то теперь Шанколини?

Среди садов поблескивает автострада. Тоже новостройка. Автострада прошла через Цыплячьи Горки, плантацию лаванды, вниз, в город.

По этой автостраде бывший Пашка-трамвайщик, Павел

Михайлович, водит сейчас троллейбус. Из Симферополя в Алушту. Мимо раскопок столицы скифского государства Неаполя Скифского, мимо Института сельского хозяйства, каменоломен и пещер Кизил-Коба, мимо посевов табака — все выше в горы.

Часто в троллейбусе сидят ребята. Такие же, какими были когда-то и мы.

Они любят море и едут к нему. Хотят поскорее увидеть.

И бывший Папка-трамвайщик показывает им море. С Ангарского перевала, где впервые можно догадаться, что видишь его. Оно между двумя кипарисами. Еще не толще полоски из ученической тетради.

А вот здесь, в траве, оставались после дождей лужи. Долго стояли потом тихие и светлые. Напоминали аквариумы.

Тополь, с которого мы с Ватей увидели войну. Нет. Вроде не тот. Может быть, другой? Рядом? Все тополи выросли, и непонятно, какой из них двадцать лет назад был самым высоким.

Отверстие для стока воды в заборе, разохшаяся калитка — я стою у своего бывшего дома.

Заглянул между досок калитки во двор. Дорожки во дворе залиты асфальтом. Двери сарая открыты. Но это уже не сарай, а гараж.

Колодца нет. Засыпали, конечно. Теперь он и ни к чему, если построили водонапорную станцию.

Там, где прежде стоял топчан, стоит детская коляска. Верх у коляски поднят, занавески задернуты.

На пороге дома — резиновые коврики. Никаких скребков для грязи.

Чердак закрыт. Лестница убрапа.

Ну, что? Постучать в окно, как стучал когда-то? Но кому стучать?

Я не приехал в свое детство. Нет. Я приехал в чье-то новое детство, такое же летнее, хорошее, но чужое. Того, кто лежит в коляске, или вон тех ребят, которые напротив на тротуаре прекратили игру и наблюдают за мной.

И я уйду с Бахчи-Эли, оставив в почтовом ящике ромашку.

Уйду обратно, где трамвай почти останавливается на крутом повороте и на него можно вспрыгнуть на ходу.

Я, как и прежде, слушаю детство.

Могу закрыть глаза и видеть то юное, далекое, что было. И каждый раз вспоминать, видеть что-то новое. Я могу оставаться еще мальчишкой, хотя мне уже скоро сорок лет.

Это во мне и со мной.

И от этого всегда хорошо.

Но приехать в свое детство нельзя, даже на старом трамвае.



СОДЕРЖАНИЕ

ДЕВЯТЬ ВОЗВРАЩЕНИЙ. Повесть. <i>Рисунки О. Коровина</i> . . .	3
СВОЕ БУДУЩЕЕ И ПРОШЛОЕ. <i>Рисунки О. Коровина</i> . . .	57
МЛАДШАЯ. <i>Рисунки Д. Хайкина</i>	65
ПРИВЕТ ТЕБЕ, ЛЕНКА! <i>Рисунки О. Коровина</i>	83
НЕСЧАСТЬЕ. <i>Рисунки Д. Хайкина</i>	87
ЗЕЛЕНАЯ РЕКА. <i>Рисунки Д. Хайкина</i>	112
ДВЕ СЕКУНДЫ СВЕТА. <i>Рисунки О. Коровина</i>	121
В ЗИМНЕМ ГОРОДЕ. <i>Рисунки Д. Хайкина</i>	130
СИНЯЯ ПЕСНЯ. <i>Рисунки Д. Хайкина</i>	147
АНТОН ПРИЛЕТИТ ЗАВТРА. <i>Рисунки Д. Хайкина</i>	160
КРАСНЫЕ КАШТАНЫ. <i>Рисунки Д. Хайкина</i>	169
КОГДА ЗАМЕРЗЛИ ДОЖДИ. <i>Рисунки Д. Хайкина</i>	185
МЫ ПРИЕХАЛИ ЛЕНТЯЙНИЧАТЬ. Повесть. <i>Рисунки Д. Хай-</i> <i>кина</i>	192
ДОМ В ЧЕРЕМУШКАХ. Повесть. <i>Рисунки Д. Хайкина</i> . . .	223
ДВОЕ В ДОРОГЕ. <i>Рисунки О. Коровина</i>	257
Я СЛУШАЮ ДЕТСТВО. Повесть. <i>Рисунки О. Коровина</i> . .	273

К ЧИТАТЕЛЯМ

*Отзывы об этой книге
просим присылать по адресу:
Москва, А-47, ул. Горького, 43.
Дом детской книги.*

Оформление Д. Хайкина

ДЛЯ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Коршунов Михаил Павлович

ДЕВЯТЬ ВОЗВРАЩЕНИЙ

Повести и рассказы

Ответственный редактор *И. В. Пахомова.*

Художественный редактор

Т. М. Токарева.

Технический редактор *Н. И. Смирнова.*

Корректоры

Л. М. Короткина и Э. Н. Сизова.

Сдано в набор 9/IX 1970 г. Подписано к печати 5/II 1971 г. Формат 84×108¹/₃₂ 11,5 п. л. Усл. печ. л. 19,32. Уч.-изд. л. 20,21.

Тираж 75 000 экз. ТП 1971 № 332. Цена 74

коп. на бум. № 2. Ордена Трудового

Красного Знамени издательство «Дет-

ская литература» Комитета по печати

при Совете Министров РСФСР. Москва.

Центр, М. Черкасский пер., 1.

Ордена Трудового Красного Знамени

фабрика «Детская книга» № 1 Росглав-

полиграфпрома Комитета по печати

при Совете Министров РСФСР. Москва,

Сушевский вал, 49. Заказ 1222.

74 коп.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»